

*НОВЫЙ
Журнал*

132

*THE NEW
REVIEW*

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 до 1975 редактор Роман Гуль

*С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Г. Андреев, Л. Ржевский*

Тридцать седьмой год издания

РЕДАКЦИЯ:

Г. АНДРЕЕВ и РОМАН ГУЛЬ (главн. редактор)

Секретарь редакции: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, SEPTEMBER 1978

Quarterly No. 132

2700 Broadway, New York, N. Y. 100025

Subscription Price \$20 — for one year

Publisher: New Review Inc.

*Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.*

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>М. Волошин</i> — Дюфлесть поэта	5
<i>С. Беллоу</i> — Будущий отец	6
<i>И. Елагин</i> — Сценарий	18
<i>Р. Гуль</i> — Я унес Россию	22
<i>Л. Владимирова</i> — Стихи	60, 111
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	61
<i>П. Палий</i> — Военнопленный № 7172	63
<i>В. Вейдле</i> — Три стихотворения	85
<i>И. Одоевцева</i> — Стихи	87, 120
<i>А. Величковский</i> — Стихи	105
<i>П. Муравьев</i> — Встречи нигде	106
<i>Б. Орлов</i> — Стихи	112
<i>Ю. Иваск</i> — Воронежский Мандельштам	113
<i>А. Скидан</i> — Александр Черепнин	114
<i>С. Голлербах</i> — Заметки художника	121
<i>В. Синкевич</i> — Стихи	134

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>В. Розанов</i> — Неизвестные опавшие листья	135
<i>Письма М.А. Чехова</i> —	146
<i>П.Б. Струве о судьбах России</i>	161
<i>Письма И.А. Бунина</i> (Публикация А. Зверса)	175

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>А. Федеосеев</i> — Национализации и свобода	183
<i>Игумен Геннадий</i> — Евразийство как пореволюционное славянофильство	200
<i>Б. Прянишников</i> — Маршал Василевский и Сталин	212
<i>С. Войцеховский</i> — Новое о Тресте	222

ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

<i>Д. Иванов</i> — О.А. Шор	232
-----------------------------------	-----

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

<i>Н. Бузова</i> — Григорий Сковорода	236
<i>С. Пушкарев</i> — О судьбе Тайвана	240

БИБЛИОГРАФИЯ: *Р. Плетнев* — Повести *В. Распутина*. *Т.*

Фесенко — Архиеп. Иоанн Шаховской. Биография юности.

Ю. Иваск — О. Ивинская. В плену времени. *Н. Зернов* —

С.М. Соловьев. Жизнь и творческая эволюция *Вл. Соловье-*

ва. Б. Нарциссов — В. Андреев. На рубеже. *В. Перелешин* —

Эйс Криге. Баллада о великом мужестве 242

ДОБЛЕСТЬ ПОЭТА

Править поэму, как текст заокеанской депеши:

Сухость, ясность, нажим и на-чеку каждое слово.

Букву за буквой врубать на твердом и тесном камне:

Чем скупее слова, тем напряженной их сила.

Мысли заряд волевой равен замолчанным строфам.

Вытравить из словаря слова: Красота, Вдохновенье, —

Подлый жаргон рифмачей... Творцу же — понятья:

Правда, конструкция, план, равносильность, сжатость и
точность.

В трезвом тугом ремесле — вдохновенье и честь поэта:

В глухонемом веществе заострять предельную зоркость.

Творческий ритм от весла, гребущего против течения,

В смутах усобиц и войн постигать целокупность.

Быть не частью, а всем; не с одной стороны, а с обеих.

Зритель захвачен игрой — ты не актер и не зритель —

Ты соучастник Судьбы, раскрывающей замысел драмы.

В дни революции быть Человеком, а не Гражданином:

Помнить, что знамена, партии и программы —

То же, что скорбный лист для врача сумасшедшего дома.

Быть изгоем при всех царях и народоустройствах;

Совесть народа — поэт. В государстве нет места поэту.

Максимилиан Волошин, 17. X. 1925.

Из т. н. СССР мы получили с оказией подборку ненапечатанных стихотворений покойного Максимилиана Александровича Волошина. Мы печатаем одно. Другие будут напечатаны в кн. 133 "Н. Ж.". РЕД.

Copyright by The New Review, New York, 1978

БУДУЩИЙ ОТЕЦ

Роджину лезли самые странные мысли в голову. Ему шёл тридцать второй год, выглядел он недурно; чёрные коротко подстриженные волосы, небольшие глаза, высокий, открытый лоб. Работал он в химической лаборатории и слыл серьёзным, положительным человеком. Но когда в снежный воскресный вечер он в своём сверху донизу застёгнутом непромокаемом пальто, обтягивавшем его коренастую фигуру, шагал косолапой походкой к собвею, непривычное смятение владело им.

Роджин собирался поужинать с невестой. Она недавно позвонила ему и сказала:

"Постарайся по дороге кое-что купить".

"А что нам понадобится?"

"Немного ростбифа, это во-первых. Четверть фунта я купила, когда шла домой от тёти".

"Почему только четверть фунта, Джозн?" — сказал Роджин, почувствовав сильное раздражение. — "Этого хватило бы только на один хороший сандвич".

"Так вот тебе придётся забежать в гастрономическую лавку. У меня не хватило денег".

Ему хотелось спросить: "А что с теми тридцатью долларами, что я дал тебе в среду?" Было, однако, ясно, что говорить об этом не следует.

"Я должна была дать деньги Филлис для уплаты за уборку квартиры", сказала Джозн.

Филлис, двоюродная сестра Джозн, была молодая, очень

Reprinted by permission of Russell & Volkening, Inc. as agents for the author; copyright, 1955, by Saul Bellow.

Автор этого рассказа — Сол Беллоу — известный американский прозаик, нобелевский лауреат по литературе в 1976 году. — Ред.

богатая женщина, разошедшаяся с мужем. Джозн и Филлис поселились в одной квартире.

"Ростбиф", — сказал он. — "Что ещё?"

"Шампунь, милый. У нас ничего не осталось. И поторопись, голубчик, я весь день по тебе скучала".

"И я скучал по тебе", — сказал Роджин. Правду говоря, целый день терзали его заботы. У него был младший брат — студент, которого он должен был содержать. Нуждалась в помощи и мать — инфляция и налоги съедали его годовой доход. У Джозн были долги, и он помогал ей их выплачивать, потому что у нее не было заработка — никак не удавалось найти подходящую работу. И на самом деле — ей ли, с её красотой, образованностью, торчать за прилавком или демонстрировать новинки сезона в магазине мод? (Роджин и сам не хотел, чтоб она этим занималась, считая, что это делает женщину тщеславной. Джозн не годилась, разумеется, ни в кельнерши, ни в кассирши. Чем бы, собственно, могла она заняться? Ладно, — думал Роджин, — что-нибудь найдётся — пока нечего жаловаться. Он платил по её счетам — дантисту, в универсальный магазин, врачу, психоаналитику. На Рождество Роджин едва не сошёл с ума: Джозн купила ему домашний бархатный жакет с застёжками, прекрасную трубку и кисет. Филлис она подарила гранатовую брошку, шёлковый итальянский зонтик и золотой мундштук. Другим друзьям — датскую оловянную кружку и шведскую стеклянную посуду. Не закончив покупок, она уже успела истратить пятьсот долларов, которые получила от Роджина. Приходилось скрывать боль — он слишком любил Джозн. Он считал, что по своей натуре она гораздо лучше его. К деньгам она была вполне равнодушна. У нее был превосходный характер, она всегда была весела — психоаналитик ей нисколько не был нужен, и она ходила к нему только потому, что его пациенткой была Филлис, и это возбуждало интерес. Ей никак не хотелось отставать от кухни, дочери человека, который нажил миллионы на продаже ковров.

В то время как женщина в аптеке заворачивала в бумагу бутылку с шампунем, в мозгу Роджина внезапно возникла отчётливая мысль: жизнь засыпает нас заботой о деньгах, как смерть засыпает землёй. Подчинение гнёту — всеобщий закон.

Кто ему не подлежит? Никто. Никто не свободен от забот, всё в мире живёт под гнётом — скалы, воды, звери, дети — каждый несёт своё бремя. Мысль эта сначала казалась ясной, потом стала смутной, но не потеряла своего значения: ему казалось, что он получил ценный дар (не такой как бархатный жакет, который он не мог заставить себя надеть, или трубка, от курения которой он начинал задыхаться). Сознание, что все мы живём под гнётом, не огорчило его, а привело в хорошее расположение духа. Удивительно, что он почувствовал себя счастливым и одарённым новой зоркостью: его глаза открылись на всё окружающее. Он испытывал теперь удовольствие, наблюдая за тем, как женщина, заворачивающая бутылку с шампунем, улыбаясь, флиртовала с аптекарем; её озабоченное лицо стало весёлым, а аптекарю, со впалыми дёснами не мешал этот физический недостаток рассыпаться в любезностях. В гастрономической лавке тоже многое привлекало внимание Роджина; он чувствовал себя счастливым.

В воскресные вечера, когда все другие магазины закрыты, гастрономические лавки дерут за продукты чуть ли не вдвое. Обычно Роджин был настороже, но сегодня он платил почти не задумываясь. Запахи солёных огурцов, колбасы, горчицы, копчёной рыбы казались чудесными и жаль было людей, купавших салат из курицы и рубленую селёдку: плохое зрение мешало им разглядеть покупку — они не замечали толстых слоёв перца на курице, не видели, что селёдочная масса состояла главным образом из чёрствого хлеба, размоченного в уксусе. Кто стал бы это покупать? По-видимому, люди, привыкшие поздно вставать, или одиночки, которые, проснувшись в послеобеденной темноте, находят свои холодильники пустыми. А может быть и те, у кого за неуплату выключили газ. Ростбиф был хорош — Роджин попросил отвесить фунт.

Владелец магазина резал мясо и покрикивал на порто-риканского мальчишку — тот протянул руку к мешочку с шоколадным печеньем. "Ты что, брат, хочешь стянуть вниз всё, что я выставил? Ты, chico, немного обожди". Этот лавочник, с глазами жабы и сильными руками, как будто созданными для того, чтобы пускать в ход висящие на животе пистолеты, выглядел как бандит из шайки Панчо Виллы, как один из тех молодцов, кото-

рые мазали своих врагов сиропом и сажали их на кол в муравейник. Но в сущности он был неплохим человеком. Роджин, будучи родом из Албани, понимал, что хозяин лавки, став жителем Нью-Йорка, попросту ожесточился в атмосфере злоупотреблений, совершавшихся в городе, и привык подозревать каждого встречного. Однако в своих собственных владениях, за прилавком, умел быть справедливым и даже гуманным человеком.

Порториканский парнишка выглядел настоящим ковбоем: зелёная шляпа с белыми галунами, револьверы, кожаные штаны, сапоги со шпорами, рукавицы; но по-английски говорить он не умел. Роджин снял с крючка целлофановый мешочек с твёрдыми, круглыми печеньями и дал ему. Мальчик разорвал целлофан зубами и начал грызть твёрдый шоколадный бисквит. Роджин понимал его состояние — осуществление жаркой мечты детства: когда-то он сам находил эти сухие бисквиты очень вкусными. Теперь у него не было охоты съесть даже один бисквит.

"Чего бы ещё могло захотеться Джозн? — подумал Роджин, ощущая прилив нежности, — немного клубники?" "Дайте мне замороженной клубники. Нет, малины, она это больше любит. И сливок. И немного булочек, сливочного творога и немного коришонов".

"Каких?"

"Этих, тёмно-зелёных, глазастых. Пригодилось бы и мороженое".

Он старался придумать какой-нибудь комплимент, удачное сравнение, выражение нежности, чтобы встретить этим Джозн, когда она ему откроет дверь. Не сказать ли что-нибудь про цвет ее лица? Нет, ничто не шло в сравнение с этим милым, смелым, тонким, застенчивым, вызывающим, нежной формы лицом, которое он так любил! Как трудно было с ней ладить и как хороша она была!

Когда Роджин очутился в плену у тяжёлых металлических запахов собвея, его отвлекло от собственных мыслей странное признание, сделанное одним из пассажиров другому. Это были люди высокого роста; казалось, что их бесформенные зимние пальто скрывали под собой кольчуги. Один спросил другого:

"Так вот, сколько лет мы с тобой знакомы?"

"Двенадцать лет".

"Ладно, я хочу кое в чём признаться", — продолжал первый. — "Я решил, что должен это сделать. В течение долгих лет я много пил. Ты об этом не знал. Фактически, я был алкоголиком".

Его собеседник не высказал удивления, сразу ответив: "Да, я это знал".

"Ты знал? Это немыслимо. Как это случилось?"

Почему немыслимо? — подумал Роджин. — Разве это можно было скрыть? Ведь стоило только взглянуть на это длинное, суровое испитое лицо, на этот пьянством разрушенный нос, на кожу возле ушей, похожую на индюшкьи серёжки, на глаза, ставшие унылыми от тяготения к рюмке.

"Ладно, как бы то ни было, я знал об этом".

"Ты не мог знать. Я этому не верю". Он был расстроен, а приятель, по-видимому, не намерен был его успокаивать. "Но теперь всё в порядке", — сказал он, — "я хожу к врачу и принимаю пилюли, это новое средство, оно произвело переворот в науке, его открыли в Дании. Это чудо. Я начинаю верить, что эти пилюли могут вылечить от любой болезни. Датчане стали в науке авангардом. Для них нет ничего невозможного. Они могут превратить мужчину в женщину".

"И тем же способом добились они того, что ты перестал пить?"

"Нет. Думаю, что нет. Моё лекарство нечто вроде аспирина. Это какой-то сверх-аспирин. Они называют его аспирином будущего. Когда вы начинаете его принимать, вы перестаёте пить".

В то время как людской поток в собор двигался взад и вперёд, и сцепленные вагоны, прозрачные как рыбы пузыри, неслись подземными ходами, Роджин, ощущая ясность мысли, пытался понять: возможно ли, чтоб человек думал, что можно скрыть от других людей то, что очевидно для каждого? Его стал интересовать, как химика, вопрос о составе датского лекарства. Он начал размышлять о разных своих изобретениях: о синтетическом альбумине, о самозажигающейся папиросе, об удешевлённом горючем для мотора. Но, Господи, как нужны ему были теперь деньги! Как никогда раньше. Что бы предпринять? Мать с каждым днём становилась более требовательной. В пятницу

вечером она не потрудилась разрезать для него мясо на ломти, ему это было обидно. Она неподвижно, сурово, с миной многолетней страдальцы сидела за столом, предоставляя ему самому резать мясо — этого она почти никогда раньше не делала. Она всегда баловала его, вызывая зависть у его брата. Но чего же она ждала теперь? Бог ты мой, как он должен был её вознаградить? Ему ведь раньше не приходило в голову, что за такие вещи придётся платить.

Заняв место в вагоне, Роджин почувствовал, что к нему вернулось спокойствие, хорошее настроение и ясность мысли. Заботиться о деньгах, значило выполнять требования, которые предъявляли к нему окружающие, и перестать быть хозяином своей судьбы. Когда люди говорят, что они отказываются от чего-либо, движимые любовью или корыстными побуждениями, это значит, что страсть к женщине и страсть к деньгам противоположны одна другой. Он продолжал размышлять о том, что люди мало об этом знают, что они проводят жизнь в спячке и что человеческое сознание светит слабым светом. Бритое, курносое лицо Роджина светилось, а в сердце его билась радость: радостно было сознавать, что у него были такие глубокие мысли о нашем несовершенстве. Ну вот, возьмём, например, этого пьяницу — в течение целого ряда лет он думал, что ближайшие друзья не подозревают, что он пьёт. Роджин оглядывался вправо и влево — ему хотелось опять увидеть внушительную символическую фигуру, но пассажира не было.

Между тем не было недостатка в предметах для наблюдения. Неподалеку сидела маленькая девочка с новенькой белой муфтой; в муфту вшита была голова куклы, и ребёнок был счастлив и горд этим. Тем временем отец её — человек тучный и мрачный, с огромным, угрюмым носом — то и дело поднимал свою дочку и пересаживал с места на место — он будто старался превратить её в другое существо. Потом появился другой ребёнок — его привела мать, и у этого ребёнка была такая же муфта с кукольной головой. Это вызвало недовольство родителей обеих девочек. Мать, женщина на вид обидчивая и неуживчивая, увела свою дочку подальше. Роджину казалось, что каждая из девочек так была увлечена своей муфтой, что даже не замечала другой; у него была слабость: он считал себя знатоком

детской души.

Вскоре его внимание привлекла семья иностранцев. Он решил, что это люди из Центральной Америки. С одной стороны сидела мать, пожилая, темнолицая, усталая; с другой — сын, с руками человека, занимающегося мытьём посуды — чистыми, пористыми. Но кем был карлик, сидящий между ними — был то сын или дочь? У этого существа были длинные вьющиеся волосы и гладкие щёки, но мужская рубашка и галстук. Пальто было женское, но башмаки, башмаки вызывали недоумение. Коричневые полуботинки казались мужскими, но "Baby Louis" каблуки выглядели как женские. На подъёме была полоска материи, как на женской обуви. Чулок не было, это ещё больше смущало. Пальцы карлика унизаны были кольцами, но обручального кольца не было. На щеках карлика были небольшие унылые впадины. Опухшие глаза, казалось, что-то скрывали, и Роджин был уверен, что если бы карлик захотел, он мог бы открыть странные вещи; не было сомнения, что это было существо, обладавшее исключительной проницательностью. Много лет лежала у Роджина книга "Memoirs of a Midget" де ла-Мара, теперь он решил её прочесть. Но едва он принял это решение, как пропал жгучий интерес к полу карлика, и он стал приглядываться к человеку, сидевшему рядом.

В собвее человека часто одолевает множество мыслей — оттого ли, что он всё время в движении и кругом много народа, или оттого, что поезд с грохотом несёт его под улицами, под реками, под фундаментами огромных домов, — обострённая впечатлительность появляется у пассажиров. Роджин был странно возбуждён. Из бумажного мешка, который он держал в руках, шёл запах хлеба и маринованных огурцов. Он думал о химии пола, о хромосомах X и Y, о наследственности, о женской матке, наконец, стал думать о том, что, содержа брата, мог бы платить меньше налога. Тут он вспомнил о двух снах, приснившихся в прошлую ночь. В первом — гробовщик предложил ему подстричь волосы, но он отказался; в другом он нёс на голове женщину. Грустные сны, очень грустные. Что это была за женщина — Джоэн или мать? А кто такой гробовщик — не адвокат ли? Он глубоко вздохнул и вернулся к привычным размышлениям о синтетическом альбумине, которому предсто-

яло революционизировать индустрию.

Размышляя, он продолжал приглядываться к пассажирами принялся изучать человека, сидящего рядом. Это был человек, которого он никогда раньше не видел, но с которым — он это сразу почувствовал — был связан всю свою жизнь. Это был здоровый мужчина средних лет, со светлой кожей, с голубыми глазами. Руки у него были чистые, правильной формы, но Роджину они не нравились. Пальто, которое тот носил, несомненно дорогое, из синей клетчатой материи — такое, какого Роджин бы никогда себе не купил. Он не стал бы носить ни эти синие замшевые башмаки, ни эту отличную шляпу с широкой плотной лентой. Бывают дэнди разного рода, не все они пустые щеголи; встречаются дэнди респектабельные — попутчик Роджина принадлежал к их числу. У него был прямой нос, красивый профиль, но красота не шла ему впрок — вид у него был скучный, говорящий людям о том, что он ничего общего с ними не хочет иметь. Обутый в отличные замшевые башмаки, он никак не мог подвергать себя риску, что кто-нибудь наступит ему на ногу. Подчёркивая свою привилегированность, он дал понять окружающим, что они должны заниматься своими делами, не мешая ему читать газету. В руках у него была "Tribune," но едва ли он читал её. Прозрачная кожа щёк, голубые глаза, прямой римский нос, даже то, как он сидел, — всё это упорно напоминало Роджину одного человека — Джоэн. Он старался заглушить мысль о сходстве, но ничего поделать не мог. Сосед походил не только на отца Джоэн, которого Роджин терпеть не мог, но даже на саму Джоэн. Лет через сорок её сын — если только у неё будет сын — может так выглядеть. Её сын? Он сам, Роджин, может стать отцом такого сына. У него самого нет характерных черт лица, дети от него ничего не унаследуют и, вероятно, будут похожи на мать. Да, надо представить себе, что пройдёт сорок лет, и такой человек, как тот, кто сидит теперь плечом к плечу с ним в этом с шумом несущемся поезде, один из его собратьев, пассивных участников огромного собвейного карнавала, — такой человек станет продолжением того, кем был Роджин.

Вот почему Роджин почувствовал, что связан с ним всей своей жизнью. Что значит сорок лет по сравнению с вечностью? Ему казалось: прошло сорок лет, и он смотрит на своего

собственного сына. Вот он. Роджин был испуган и расстроган. "Сын мой! Сын мой!" — повторял он, и ему хотелось плакать от жалости к самому себе. Священные и грозные силы, от которых зависит наша жизнь и смерть, создали это существо. Мы были их орудием. Мы работали, осуществляя планы, которые ошибочно казались нам собственными. Какая вопиющая несправедливость! Страдать, трудиться, прокладывать дорогу через препятствия, пробираться через самые тёмные ущелья, через самое скверное, гнуть спину под бременем материальных забот, добывать деньги, — и всё это ради того, чтоб стать отцом третьесортного светского человека, такого, как этот пассажир с плоским чисто умытым, румяным, неинтересным, самодовольным лицом типичного мещанина! Какое проклятие — иметь сына-тупицу, такого, как этот, сына, который никогда не поймёт своего отца! Ничего, абсолютно ничего общего нет между ним, Роджином, и этим аккуратным, круглолицым, голубоглазым человеком. Он был так доволен всем — думалось Роджину — всем тем, что ему принадлежало, и тем, что в жизни своей совершил, так доволен сам собой, что ему не хотелось даже размыкать губы. Стоило только поглядеть на верхнюю губу, вздёрнутую кверху, чтоб понять — перед вами человек, который не ответит вам, если спросите, который час. Возможно ли, что такое поведение станет обычным сорок лет спустя? Быть может, люди будут становиться холоднее по мере того, как земля будет стареть и охлаждаться. Роджина волновала мысль о бесчувственности. Подумать только — ничего общего между отцом и сыном! Ужасно! Жестоко! Чем была наша жизнь на земле? Личные планы человека были ничем, иллюзией. Силы, управляющие жизнью, вели нас к осуществлению своих велений — подавляя наши гуманные чувства, делая нас похожими на динозавров и пчёл и пользуясь нами для собственных нужд. Жестоко эксплуатируя любовь, они заставляли нас принимать участие в общественных процессах, в труде, в борьбе за существование, подчиняться принуждению, соглашаться на обман.

Роджин спросил себя: откуда эта вспышка гнева? Ему не хотелось стать отцом человека, похожего на Её отца как две капли воды. Образ седого, тучного, раздражительного старика, с его некрасивыми, неприветливыми голубыми глазами, вызывал в

Роджине раздражение. И вот ведь может оказаться, что внук будет похож на деда! Джозн, о которой Роджин тоже думал теперь с растущим раздражением, тут была бессильна. Для неё это неизбежно. Но должно ли это казаться неизбежным и ему? Эх, Роджин, дурень этакий, нечего тебе становиться проклятым орудием судьбы. Уходи, пока не поздно!

Однако было уже поздно. Поздно потому, что он уже испытал это странное чувство, чувство, что рядом с ним сидел его сын, сын его и Джозн. Он продолжал всматриваться в него и ждал, что тот скажет что-нибудь, но предполагаемый сын холодно молчал, хотя не мог не заметить, что Роджин в него всматривается. Оба они сошли на одной и той же остановке — на Shergidan Square. Когда они очутились на платформе, сосед Роджина, даже не взглянув на него, зашагал в противоположную сторону. В некрасивом синем клетчатом пальто. Его румяное лицо по-прежнему казалось неприятным.

Вся эта история расстроила Роджина, и когда он подошёл к дверям квартиры Джозн и услышал, что Хенри, собачонка Филлис, залаяла ещё перед тем, как он успел постучать, лицо его стало раздражённым. "Я не позволю себя эксплуатировать, — сказал он самому себе, — у меня есть право на жизнь. Джозн должна быть поосторожнее — у нее есть склонность обходить важные вопросы, такие, которым я сам придаю большое значение. Она уверена в том, что на свете не бывает ничего необычного, внушающего тревогу". Роджин сам не мог позволить себе роскошь такой беззаботности — он должен был прилежным трудом зарабатывать на жизнь, чтобы предотвратить нарушение равновесия. Впрочем, в данный момент ничего нельзя было изменить, и в сущности он не думал о деньгах; ему хотелось одного — начать сомневаться в том, что Джозн может оказаться матерью такого сына, как сосед из собвея, и что у неё не большое семейное сходство с отвратительным отцом. В конце концов Роджин сам мало был похож на своих родителей и совсем не похож на брата.

Джозн отворила дверь. На ней был один из дорогих халатов Филлис — он был ей очень к лицу. При первом взгляде на её счастливое лицо Роджину бросилась в глаза лёгкая тень сходства с другим человеком, и хотя оно казалось еле заметным,

почти призрачным, Роджин вздрогнул всем телом.

Она стала целовать его, говоря: "О, дитя моё, ты весь в снегу. Почему ты без шляпы? Вся моя милая головка в снегу". (Она любила, ласкаясь, говорить с ним в третьем лице.)

"Ну ладно, дай мне поставить куда-нибудь этот мешок с провизией и дай снять пальто", — ворчал Роджин, уклоняясь от объятий. Неужели она не могла подождать с проявлениями нежности? "Здесь невыносимо жарко — моё лицо горит. Как можно жить в такой жаре? И этот проклятый пёс не перестаёт лаять. Если бы ты не держала его взаперти, он бы не был таким избалованным и шумным. Почему никто не берёт его на прогулку?"

"Да нет, здесь вовсе не жарко. Просто ты с холода пришёл. Скажи, тебе не кажется, что этот халат лучше сидит на мне, чем на Филлис, особенно в бёдрах? Она тоже так думает. Возможно, что она его продаст мне".

"Надеюсь, что она этого не сделает", — сказал Роджин, повышая голос.

Она принесла полотенце и стала вытирать его короткие чёрные волосы, мокрые от тающего снега. Неожиданный снегопад взбудоражил Хенри, и Джоэн заперла его в спальне. Там он настойчиво прыгал с разбегу на дверь, царапая по дереву.

Джоэн сказала: "Ты принёс шампунь?"

"Вот он".

"Тогда я перед ужином вымою тебе голову".

"Не хочу мыть голову".

"О, идём", — сказала она, смеясь.

Она совсем не чувствовала себя ни в чём виноватой, и это его поражало, казалось непонятным. И эта комната с коврами, мебелью, занавесями, лампами, тоже казалась ему чем-то непонятным. Он был раздражён, чувствовал себя в роли обвинителя, но ощущение боли и горечи становилось необъяснимым: на самом деле его начала смущать мысль, что он готов забыть причину этого состояния.

В ванной Джоэн помогла ему стянуть с себя пиджак и рубашку и наполнила водой умывальную раковину. Роджина терзало беспокойство: теперь, стоя с обнажённой грудью, он чувствовал, что оно растёт, и говорил себе: "Настала пора поговорить с ней. Я не позволю не считаться со мной. Что ты

думаешь', скажу я ей: 'я был создан для того, чтобы мне одному нести бремя, возложенное на всех? Ты думаешь, что я рождён для того, чтобы стать чьим-то орудием, стать жертвой? Ты думаешь, что я принадлежу к числу таких созданий природы, как залежи каменного угля, нефтяные источники, или рыбный садок? Знай, что если я — мужчина, это не значит, что мне суждено всю жизнь гнуть спину под тяжким бременем. У меня душевных сил не больше, чем у тебя.

"Отними внешнее, мускулы, низкий голос и прочее, ну и что останется? Две почти одинаковых души. Так почему им не быть равными? Я не могу всегда быть более сильной стороной".

"Садись, — сказала Джоэн, придвигая к умывальнику кухонную табуретку. — Какие спутанные волосы!"

Он сидел, прикасаясь грудью к холодной эмали, подбодродком к краю миски. В зелёной, горячей, светящейся воде отражалось стекло и кафель, а душистый, прохладный шампунь лился на его голову. Джоэн принялась за мытьё.

"У тебя здоровая кожа на голове, — сказала Джоэн, — совсем розовая".

Он отвечал: "Да что ты, она должна быть белой. Видно со мной что-то неладно".

"Всё у тебя в порядке", — сказала Джоэн и прижалась к нему, стоя позади, обнимая его и осторожно поливая водой его голову, и ему начало казаться, что струйки льются изнутри, тёплые струйки его затаённой нежности; зелёные и пенистые, они заполняют раковину умывальника, и он забыл слова, которые столько раз мысленно повторял. Испарилось раздражение, вызванное мыслями о будущем сыне. Он вздохнул и, погрузив голову в наполненную водой миску, сказал: "У тебя, Джоэн, всегда замечательные идеи. Знаешь, такой инстинкт — это настоящий дар".

*Сол Беллоу,
перевод Джеммы Бидер*

СЦЕНАРИЙ

Человек на дороге
В римской тоге,
Иль в рыцарском панцире,
Иль в гимнастерке,
Иль оборванцем
Убогим
В опорках...

По сторонам — пожарища
Его провожающие.

Что это — Рим,
Подожженный Нероном,
Иль это мы горим
В Киеве обреченном?

Человек на пожаре.
Медный блеск облаков.
Написан сценарий
Для всех веков.

Дом, отпылавший факелом,
Дымом квартал заволакивал.

Мечутся по мостовой
Люди с жалкой поклажей.
Ветер кривой
Кидается сажей.

Рыцарь в броне,
Что там погребло в огне?
Герб родовой на стене?

Или тот самый
Шелковый шарф,
Вышитый дамой
Под звоны арф?

Шла татарва
Городищем спалённым.
Сухая трава

Горела по склонам.
Что там в пылающей грамоте,
Писанной на пергаменте?

Я видел, как щебнем и прахом
Валился очаг.
Как люди стояли со страхом
В очах.

Я на земном шаре
Жил и стоял на пожаре.
Топот тысяченогий
Катится по дороге.

Точно земля задрожала,
Гроном потрясена.
Что там — слоны Аннибала
Иль пушки Бородина?

Ночью кошмарной
Землю трясет пальбой.
Битва на Марне
Или Полтавский бой?

Или персидский Дарий
От скифских бежит полков?
Написан сценарий
Для всех веков.

Слышишь шаги солдата?
Крови сегодня течь.
Очередь автомата
Или короткий меч.

Много войною взято,
Да не велик итог.
Высится над солдатом
Крохотный бугорок.

Вот он — огромный, темный,
Головоломный провал.
Наверно уже не помнит,

За что и с кем воевал.

Были они да сплыли,
Скошенные войной.
Веточка на могиле
Зазеленеет весной.

Из времени, как из дыма,
Выйдя шагом стальным,
Солдаты проходят мимо
И снова уходят в дым.

Города ураганный
Артиллерийский обстрел.
Мне и поныне странно,
Что я тогда уцелел.

Человек на дороге.
Гор потемнели отроги.

А позади — стража
У городских ворот.
Ночью идти страшно,
Но человек идет.

С родины изгнанный,
В драной хламиде, замызганный,
На берегу Дуная
Стоит человек, вспоминая
Город солнцем обрызганный.

Или в карете черной
Скачет из княжества,
Пока не уляжется
Какой-то скандал придворный.

Берег уже отдален.
Встала волна-громада.
А позади — Альбион,
А впереди — Эллада.

Или в вагоне,
Иль в самолете.

И о погоне
Ветер поет на высокой ноте.

Или на паре
Лихих рысаков.
Написан сценарий
Для всех веков.

Некуда деться,
А надо куда-нибудь деться.
Что позади — Флоренция,
Иль позади Одесса?

И от грудного стука
В мокрых глазах качанье.
А позади — разлука,
А позади — прощанье.

А позади — застава,
А позади — граница,
И все, что ты там оставил,
Будет до смерти сниться!

Люди уходят в дым,
Тонут в дыму, седея.
Снится одним — Крым,
Снится другим — Вандея.

Мне ж маячат во мраке
Беженские бараки.

Иван Елагин

Я УНЕС РОССИЮ

ГЛАВА 2. РОССИЯ В ГЕРМАНИИ*

Как я начал писать

Это было в 19-м и 20-м годах. Жили мы в лагере Гельмштедт, провинция Брауншвейг. Жили с братом Сергеем, обоих нас вывезли из Киевского Педагогического Музея. До Гельмштедта прошли через лагерь — Дёбериц, Альтенау, Клаусталь, Нейштадт. Три последних в живописнейшей местности Германии — в Гарце. В мировую войну тут сидели военнопленные офицеры: русские, англичане, французы.

Наш и неожиданный и недобровольный эшелон из Киева был первым. После него в Германию прибыли четыре эшелона офицеров и нижних чинов, уехавших по желанию. Всего скопилось несколько тысяч. Из лагерей в Гарце всех — через Англию — стали отправлять на фронты гражданской войны: к ген. Деникину — на юг, к ген. Миллеру — на север, и в северо-западную армию ген. Юденича. Ведала этим Русская Военная миссия в Берлине во главе с генералом Монкевицем.

Ехать в гражданскую войну я отказался, заявив об этом русскому лагерному начальству в Клаустале — гвардии-полковнику Ключки фон Ключенау (он был вроде Хованского). Меня поддержал брат, четыре офицера: Шумский, Строганов, Татунько, Луковенко и вольнопер Мороз. Остальные, по-моему, ехали по какой-то инерции, подчиняясь року, почти на верную смерть. Отказ мой был воспринят удивленно и с начальственным негодованием. Но ни поколебать меня, ни насильно отправить было нельзя ("угрозы" были).

Мне предложили подать письменное объяснение в Русскую

*См. кн. 131, гл. 1-я.

Военную миссию. Я подал: почему не хочу (и не могу) участвовать в гражданской войне. Копия сохранилась еще в моем архиве. После этого вызвали для устного объяснения в Берлин, в Военную миссию, возглавлявшуюся, как я сказал, генералом Монкевицем. Я приехал. Но принял меня, к сожалению, не он. К сожалению, потому, что впоследствии обнаружилось, что генерал Монкевиц — глава Белой Военной миссии — советский агент. Он бежал в Москву после пребывания во Франции в окружении вел. князя Николая Николаевича. И я жалею, что не видел живьем эту личность.

В Военной миссии меня принял генерал Минут — суконный, непримечательный. Спросил: почему и как? Я изложил и видел, что Минут откровенно не понимает меня, да и понимать не хочет. Так я настоял и остался в Германии, став чернорабочим на лесоповале под лагерем Гельмштедт.

Лагерь Гельмштедт был уже не военный, а — для "перемещенных лиц", тогда их скверно называли — беженцы. В Гельмштедте мы добывали средства к существованию трудами рук своих. Кто — в шахтах, кто — на лесоповале. Об этом я писал в "Коне рыжем" и не хочу повторяться. А расскажу, что меня толкнуло писать. В лагере со времени войны была скудная русская библиотека, и в свободное от работы время я перечитал два рассказа Всеволода Гаршина: "Из воспоминаний рядового Иванова" и "Четыре дня". В былые времена они потрясли воображение русской интеллигенции "ужасами войны" ("внимая ужасам войны"...). Но перечитав, я подумал: да какие же это ужасы? По сравнению с гражданской войной это не так уж и страшно. Вот если бы я просто протокольно записал, что видел в гражданской — это были бы ужасы. И эта мысль — записать — засела в меня. Но если писать, — думал я, — писать надо совершенно правдиво-оголенно. Где геройство — пусть геройство, личного геройства в Добровольческой армии было не занимать стать. На моих глазах мои же товарищи и совершали геройства и умирали геройски. А там, где зверство — пусть будет зверство, где доблесть — пусть доблесть, а где грабеж — пусть грабеж.

И в свободное от лесной работы время я стал писать. Мы в лесу обдирали кору особыми скрябками с поваленных сосен. Писал я долго, ибо не умел, и не думал, что писать — так

трудно. Чтоб проверить, я читал по вечерам отрывки брату и друзьям. Все они прошли гражданскую войну: одни на Дону, другие на Украине, все хорошо ее знали. И я видел, что написанное действует. Даже брат — самый суровый критик, говорил: продолжай, пиши. И друзья: пиши, пиши, всё это обязательно надо записать. Так я и написал свою первую книгу "Ледяной Поход", которая позднее стала известна в литературе о гражданской войне.

Но когда я кончил, пришлось думать: что же делать с рукописью? В лагере мы получали русскую ежедневную газетку "Голос России", выходившую в Берлине под редакцией Самуила Яковлевича Шклявера, с которым я позднее познакомился. Газетка была не Бог весть что, но из нее я узнал, что в Париже В.М. Зензинов издает какой-то антикоммунистический журнал на французском языке "Pour la Russie". Зензинова по имени я знал: эсэр, приятель Керенского. Решил попросить совет: что делать с "Ледяным Походом"? Владимир Михайлович (с ним много позднее я познакомился в Париже при постановке моей пьесы "Азеф" в "Русском Театре", а еще позже в Америке и подружился), к моему изумлению, ответил быстро и дружелюбно. Но ничего утешительного. Ободрял, писал, что правдивая книга о гражданской войне, конечно, нужна, но не видит возможности ее где-нибудь напечатать. Письмо В.М. Зензинова на бланке "Pour la Russie" все еще хранится в моем архиве.

Через некоторое время в той же газетке я прочел, что в Берлин приехал Владимир Бенедиктович Станкевич, бывший верховный комиссар Ставки при нач. штаба Верховного Главнокомандующего генерале Н.Н. Духонине, которого, как известно, самосудом разорвали матросы. Матросский эшелон прибыл в Ставку в Могилев одновременно с прибытием известного большевицкого псевдонима — "товарища Абрама" (прапорщика Н.В. Крыленко), который долженствовал быть ленинским "Верховным Главнокомандующим".

Станкевич позднее рассказывал, что, видя в Ставке полное разложение, он убеждал генерала Духонина бросить Ставку и уехать. Духонин колебался, но генерал Дидерихс высказался против, говоря, что нач. штаба Главнокомандующего Российской Армии покинуть свой пост не может. Духонин остался. Он,

вероятно, думал, что "товарищ Абрам" его арестует. Но вряд ли думал, что его попросту насмерть растопчут озверелые крыленкины матросы.

Как хорошо, что лет через 20 этого кровавого "государственного обвинителя", "прокурора республики", "товарища Абрама" Сталин зверски отправил на тот свет, да еще перед расстрелом низдевался над ним всласть. Крыленко заслужил свою казнь сполна.

До войны В.Б. Станкевич был приват-доцент Петербургского университета по кафедре уголовного права, во время войны добровольцем поступил в Павловское военное училище и вышел в офицеры, в саперы. По национальности В.Б. был литовец, из дворян. По-литовски предки его были — Станка. Но со временем фамилия полонизировалась в — Станкевич. А Станкевичи русифицировались. По политическим убеждениям В.Б. был народный социалист. Эта партия была "буфером" между кадетами и эсэрами. Кадеты были конституционные монархисты, эн-эсы склонялись к республиканизму. Но будучи народнического корня, они все же отталкивались от эс-эров из-за их террора. В революцию Керенский, став главковерхом, назначил офицера-сапера Станкевича Верховным Комиссаром Ставки.

В "Голосе России" сообщалось, что Станкевич в Берлине хочет сплотить группу под названием "Мир и труд" и издавать двухнедельный журнал "Жизнь". По опубликованным пунктам программы "Мира и труда" такой пасифизм мне не очень нравился, но я думал, что с Станкевичем можно поговорить о "Ледяном Походе" и решил написать ему. В письме я спрашивал, можно ли хотя бы в отрывках напечатать книгу в его журнале?

Очень быстро от Владимира Бенедиктовича пришел ответ. Он писал, что заинтересован рукописью, но хотел бы, чтобы я приехал в Берлин, чтобы мы обо всем, как он писал, договорились. В Берлин мне приехать было нелегко, я был классический пролетарий, а поездка стоила денег. Тем не менее я решил ехать, брат одобрял: езжай, езжай, письмо хорошее, может что-то и выйдет. И я поехал.

В.Б. Станкевич и журнал "Жизнь"

В 1920 году вся Германия была нищая, аккуратно-обтрепанная, полуголодная. Живя в России, я не представлял себе, что страна может дойти до такого изнурения войной. Мы, эмигранты, по сравнению с немцами были даже в привилегированном положении, ибо нам в лагерях помогала Антанта из оставшихся в Германии продуктовых складов для военнопленных. Мы получали "керпакеты", одежду. У меня поэтому был некий костюм из английского одеяла. Одеяло — серое, ворсистое. И сельский портной-немец сшил мне из него довольно странную одежду: однобортную куртку, вроде сталинской, и какие-то полугалифе, потому что на длинные штаны материала не хватило. Полугалифе же заканчивались английскими обмотками, а на ногах были здоровенные американские буцы, подкованные на носках и на каблуках. Так я и поехал в Берлин.

Приехал на Штеттинский вокзал. Около него остановился где-то очень дешево. Но Станкевич жил совсем в другой части столицы, в довольно фешенебельной, около Виттенбергплац, на Пассауерштрассе в пансионе Паули. Доехал я туда на трамвае, позвонил. Открыл дверь Владимир Бенедиктович. С первого взгляда он мне очень понравился. Среднего роста, плотный, стриженный, с большой уже лысиной блондин, с подстриженными светлыми усами, мягкий в манерах, в разговоре, но глаза очень острые, пытливые. Он провел меня в свой кабинет, познакомил с женой Натальей Владимировной, рожденной Прокудиной, и с семилетней дочкой Леночкой. В кабинете мы с Владимиром Бенедиктовичем приступили к "большому разговору". А Наталья Владимировна пошла приготовить чай.

Говорили мы о многом. Владимир Бенедиктович рассказал о своем проекте журнала "Жизнь", о "Мире и труде" и под конец высказал настоятельное желание, чтобы я переехал в Берлин, работать в редакции "Жизни". Он обещал какое-то скромное вознаграждение, на которое я все-таки мог прожить. Его предложение было и неожиданно и приятно, я только подумал: а как же брат? Мы с братом были очень дружны. И я сказал Владимиру Бенедиктовичу, что отвечу из лагеря, поговорив с братом. С этого дня я подружился со всеми Станкевичами на всю жизнь.

Мне страшно подумать, что я всех их пережил. Все они — и В.Б., и Н.В., и Леночка — умерли после Второй мировой войны в Вашингтоне в Америке.

Когда в Гельмштедте я рассказал все брату, он был не в восторге, что я уеду в Берлин. Но я сказал, что приложу все усилия, чтобы вытащить и его в Берлин или под Берлин. Надо сказать, что брат мой Сергей по характеру был человек крайне своеобразный. Внешне Сережа был яркий блондин с серыми глазами. Пепельные, чуть волнистые волосы он зачесывал назад. Лицо очень белокожее с хорошим румянцем. Ростом был ниже меня, но крепче сложен. По характеру пошел в обоих дедов сразу: страшно вспыльчивый, до "потери сознания", но быстро отходил. Любил всяческое опрощение, ненавидел города, признавал жизнь только в деревне, причем трудовую. Был страстный охотник. Он почти окончил Московский Университет по юридическому факультету, оставались только государственные экзамены. Но в Москве жил только первый год — при жизни отца. А потом все время — в имении. Учился юридическим наукам по учебникам и в Москву приезжал лишь сдавать экзамены, сдавая их "на весьма". Думал стать мировым судьей и жить только в имении, которым и управлял. Но не с балкона или из кабинета, а сам с рабочими с зарей выезжал в поле и шёл первым плугом. Он любил простой физический труд. И за это крестьяне его уважали, как "странного барина". Только в революцию — помню рассказ Сережи — выехал он как-то в поле пахать. Пашет. А на соседнем поле, тоже пахущий, мужик вдруг остановился да как заорет во все горло в сторону Сережи: "Пора кончать е.... мать!" Сережа рассказывал об этом со смехом, но скоро пришлось ему бросить любимое дело — землю. Уехал в Пензу и поступил вольноопределяющимся в Приморский Драгунский полк.

В эмиграции Сережа наотрез отказался идти работать — как работало множество русских эмигрантов — шофером такси, официантом в ресторане и пр. — "Чтобы мне какая-нибудь сволочь давала на чай?! Да пропади они пропадом! (Сережа выразился, конечно, резче и нецензурно). Я лучше всю жизнь чернорабочим буду!" — Это было, разумеется, барство. Но своеобразное. И Сережа работал на лесоповале, в глубине — в

шахтах, на какой-то каменоломне. И был доволен.

В Берлин я переехал в 20-м году. Вокруг журнала В.Б. Станкевича "Жизнь" и организации "Мир и труд" собрались очень разнородные люди. В.В. Голубцов, пожилой, весьма обывательский родственник В.Д. Набокова, до революции был, кажется, чиновником министерства финансов. Н.Н. Переселенков — бывший адвокат, желчный холостяк. Юрий Викторович Офросимов, москвич, окончивший там Императорский Николаевский (Катковский) лицей, но юриспруденцией совершенно не интересовавшийся. В гражданскую войну он попал в Прибалтику, в "армию" Бермонда-Авалова. Изасел там в каком-то лагере. По просьбе Голубцова Станкевичу удалось достать ему визу в Берлин, что было тогда нелегко. Юрий писал об этом так: — "я попал в Берлин, побывав в несколько странной "освободительной армии", которая, воодушевленная приказом командующего "бей в морду как в бубен, за все отвечаю!", вместо Москвы захватила одну из столиц Прибалтики, к счастью, бескровно. Но и этого для меня было достаточно, и я, кое-как в остатках военного обмундирования, с помощью доброй руки, протянутой из Берлина совершенно до тех пор не знакомого мне В.Б. Станкевича, — осел в Берлине". Юрий был очень талантлив. Наружностью был цыганистый, мать его была Рахманинова. Характер — очень русский — до Обломова. Полная богема и поэт Божьей милостью. В "Жизни" он дебютировал стихами, некоторые из которых я запомнил:

Разве позорно забыть
Громовых орудий раскаты,
Разве преступно быть
Снова другом и братом?
Говорить простые слова,
Вдыхать просторы безбрежно,
Смотреть, как растет трава
И думать: я снова прежний.

И другое:

Я принимаю злобы тьму,
Разбой, убийства, издевательства,

Как искупленье и страданья,
Как послух духу моему.
И верю я, чрез много лет
Блеснет невидимый доныне,
Как над поруганной святыней,
Над ликом тихим — Тихий Свет.
И пусть про то не нам узнать,
Узреть не нашими глазами,
Но все же никогда камнями
Не брошу я в больную мать.

Стихи эти необычайно нравились Станкевичу уже по одному тому, что для "Жизни" были "программны". Но у Офросимова были лирические стихи гораздо интереснее. Своими стихами он сразу выделился в русском литературном Берлине и вскоре издал сборник "Стихи об утерянном". Это была хорошая книжка, но, к сожалению, чудовищно ленивый Юрий, когда кончилась "Жизнь", перешел в газету "Руль" и стал там писать театральные рецензии, которые ничего ему не давали (кроме грошей на жизнь), а стихи забросил на всю жизнь, хоть и сильно грустил об этом. Умер он страшно в Палермо, в Сицилии, в кафэ от сердечного припадка, 19 октября 1967 года, в возрасте 73-х лет.

Я опубликовал в "Жизни" отрывки из "Ледяного Похода", которые имели известный успех, но далеко не у всех, ибо по своему тону отличались от той литературы о Белой Армии, которая стала появляться в русской зарубежной печати.

В "Жизни" печатался (но мало) молодой прозаик Александр Михайлович Дроздов. По натуре он был совершенно чужд "Жизни". В былом, в Петрограде, был связан с известной газетой "Новое Время". Жена его, Люлька, которую все мы очень любили, была дочерью Леонида Юльевича Гольштейна, а Гольштейн в "Новом Времени" и "Вечернем Времени" играл роль и молодому зятю покровительствовал. О Гольштейне один остроумный еврей говорил, что не верит ему ни на грош потому, что он даже из собственной фамилии украл букву "д". (Гольштейн не считал себя евреем, был женат на светской даме — Марии Сергеевне Дурново). В революцию Дроздов очутился в Белой армии, но не в строю, а где-то в Осваге. Потом — эмиграция,

Берлин, где первое время в русской печати он имел литературный успех, издал у Ефрона книгу рассказов под ударным заглавием "Подарок Богу", потом еще книг десять в других русских берлинских издательствах, роман "Девственница". Литературной техникой Дроздов владел вполне. Я почему-то даже запомнил одну "эффектную" концовку его рассказа: "С полей войны не возвращаются помолодевшими". Но техника техникой, а беда Дроздова была в отсутствии у него внутренней темы. Зинаида Гиппиус в рецензии правильно писала: "бесхребетный писатель". И так у Дроздова было не только в литературе. Несмотря на молодость, он был душевно опустошен и циничен. И я не так уж удивился, когда этот ультра-правый литератор в 1923 году внезапно, бросив жену и ребенка, уехал в Сов. Россию. Причем там, вопреки всякой логике, эдакий белобандит сразу был введен в рядколлегию какого-то "толстого" журнала. Это скверно освещало его скрытый от всех, скоропалительный отъезд. В Сов. России Дроздов ничего не написал, сильно пил (так же как и в эмиграции) и преждевременно умер в Ясной Поляне, женившись на тамошней учительнице.

Еще сотрудником "Жизни" был Федор Владимирович Иванов, человек совсем другого склада и характера. Родился в Симбирске, учился в Петербургском Университете на юридическом факультете, попал в Белую армию генерала Миллера, был тяжело ранен в область сердца, и рана, как осложнение, дала сердечную болезнь, от которой он в Берлине вскоре и умер. Федор Иванов выступил, как эссеист и беллетрист. Писал он довольно талантливо. Был человеком петербургской "Бродячей Собаки". По "Собаке" хорошо знал Адамовича, Георгия Иванова, Льва Канегиссера. По личной судьбе был человек глубоко несчастный и умер трагично: упал (сердце) на берлинской улице и скончался в госпитале. После него осталась книга литературных эссе "Красный Парнас" и книга рассказов "Узор старинный".

Направленчески "Жизнь" держалась только на одном В.Б. Станкевиче. В. Голубцов опубликовал какие-то до одури скучные "клички воспоминаний". Н. Переселенков — две-три бледных статьи. Оба были не литературные люди. Был в "Жизни" интересный, случайный материал: статья известного художника

Бориса Григорьева о современном русском искусстве, театральные воспоминания барона Дризена. Но все это было лишь "орнаментом" вокруг пасифистских статей В.Б. Станкевича. В №1 "Жизни" В.Б. писал: "Период опустошения и разрушения близок к концу. С каждым днем ярче предчувствуем мы приближение творческого периода русской революции, который несомненно наступит, какой бы вывеской ни прикрывалась власть". Политически "Жизнь" выражала желание внутреннего замирения России вместо гражданской войны. Это желание разделяли все сотрудники. Разделял его и я. Но несмотря на большое уважение к В.Б. и на дружбу, я всегда чувствовал некую мировоззренческую разность с ним. В.Б. был пасифист во что бы то ни стало — при всех обстоятельствах. От такого пасифизма я внутренне отталкивался. Он казался мне противоположным человеку, "интеллигентской выдумкой". Но эта разность не мешала большой дружбе с В.Б. и Н.В. Мы были дружны всю нашу жизнь.

Отмечу в какие дебри политической парадоксальности заводил дорогого В.Б. его пасифизм. В №11 "Жизни" (15 сент. 1920 г.) В.Б. писал: — "Ни к красным, ни к белым! Ни с Лениным, ни с Врангелем!" — так звучит лозунг русской левой демократии. Но если можно отрицать всю Россию, то почему же нельзя ее всю принять и признать? Что если рискнуть и вместо "ни к красным, ни к белым!" поставить смелое, гордое и доверчивое: — "и к красным, и к белым!" — И принять сразу и Врангеля, и Брусилова, и Кривошеина, и Ленина!". Дальше В.Б. слал панегирики и "гению и гиганту" Ленину, "сотрясающему мир", и чудесному герою Врангелю. "А разве Врангель не чудесный герой, сумевший, базируясь на клочке Крыма, спасти национальную идею, организовать власть и поднять борьбу с всеторжествующим большевизмом в минуту, когда у самых смелых опустились руки?.. Идеализм, возразят многие. 'Наивный, гимназический!' Ну, да, конечно..." И тем не менее В.Б. не сдавался, проповедуя — "и к красным, и к белым!" Разумеется, это было донельзя химерично. Но, как с улыбкой говорил Юрий: "ничего не подлаешь, наш лидер любит смелые парадоксы".

Журнал "Жизнь", естественно, просуществовал недолго — с апреля по октябрь 1920 года. Издатель Г.А. Гольдберг не захотел на парадоксах Станкевича нести убытки. В.Б. пробовал

найти другого издателя. Я ездил с ним к некому Отто Винцу, онемеченному русскому еврею, уже плохо изъяснявшемуся по русски. У него было издательство "Восток", выпускавшее и русские книги. Не вышло. Ездили к В.П. Крымову. Визит был неприятен. Никакого издателя В.Б. не нашел и в ноябре 1920 года "Жизнь" приказала долго жить. Сотрудники разбрелись кто куда. В. Голубцов с женой занялись чем-то кулинарным. Н. Переселенков, в совершенстве владевший немецким, поступил в немецкую фирму. Офросимов — в ежедневную газету "Руль", редакторами которой были известные кадеты — И. В. Гессен, бывший редактор петербургской "Речи", известный правовед и член Государственной Думы В.Д. Набоков и экономист профессор А. Каминка. Ф. Иванов пробивался литературными гонорами — в газете "Голос России" (ежедневной), "Время" (еженедельной), в журнале "Сполохи", редактором которого стал А. Дроздов.

В.Б. Станкевич вскоре стал соредактором (вместе с С.Я. Шклявером) издательства "Знание". Это было предприятие архибогатейшего немецкого издательского концерна Рудольф Моссе, захотевшего выпускать русские книги, в надежде легкого их сбыта в Сов. Россию. Другое столь же гигантское немецкое предприятие — издательство Ульштейн — уже до того, с той же эфемерной целью создало издательство русских книг "Слово", во главе которого стал И. В. Гессен. Для русской зарубежной литературы оба издательства сделали много, в особенности "Слово", выпустившее сотни прекрасных книг. Но в Сов. Россию эти книги если и просочились, то лишь в "запретные фонды". Русских книг из-за рубежа псевдонимы не пустили.

Хочу сказать о какой-то сверхработоспособности Владимира Бенедиктовича. Редактируя "Жизнь", он тогда же написал известную книгу "Воспоминания", вышедшую в 1921 году в Берлине. Это была *первая* книга воспоминаний о революции русского политического деятеля. Она цитируется по сей час всеми пишущими о революции. За ней В.Б. выпустил — "Судьбы народов России", которая тоже была первым серьезным трудом по этому вопросу. Затем — "Менделеев — великий русский химик", "Фритиоф Нансен".

У Станкевичей я часто встречал интересных людей: некоторых лидеров российской "революционной демократии", играв-

ших в февральской революции большую роль: — В.М. Чернов, И.Г. Церетели, В.С. Войтинский, даже с приехавшим в Берлин из Сов. России Н.Н. Сухановым (Гиммером) дважды встречался.

Виктор Михайлович Чернов — типичнейший русак. Он и был — тамбовский. Хотя крайне правая печать всегда писала, что никакой он не Чернов, а "еврей Либер", но это только говорило о мозговой неизобретательности этой печати. Чернов был кряжист, здоровенный, вероятно, очень сильный. Черты лица очень русские, говор — тамбовский. Косматая шевелюра — серо-седая (в молодости, говорят, был рыж, теперь седел). Этот "друг Азефа", долголетний член ЦК партии эсэров, один из ее основателей, лидер ее центра в 1917 году, циммервальдец, во Временном Правительстве "селянский министр", председатель двухдневного Всероссийского Учредительного Собрания, — не вызывал во мне большой симпатии. Может быть, отталкивала его позиция в Феврале. За чайным столом у Станкевичей он всегда был весел, рассыпчато-разговорчив, иногда подпускал в речь народные поговорки. Не нравились и быстрота его речи, и быстрота жестов, какой-то рядческий смешок и общая его жовиальность. Сопровождала его всегда одна из очередных жен (третья) — худюшая эстонка Ида Самойловна Сармус. Выводя Чернова в своем романе "Азеф",* я его, конечно, окарикатурил. Так как по справедливости надо признать, что Чернов был и умен, и образован, и "человек с своей биографией" (что не часто встречается), вообще — персонаж недюжинный. После Октября Чернов и его партия были объявлены "вне закона". Чекисты сбились с ног, разыскивая Чернова. И — найди они его — Чернову пришлось бы плохо. Но, старый конспиратор, он ушел в подполье, жил нелегально, пиша свои мемуары, и в конце концов подался на Запад, который хорошо знал по своей прежней долголетней эмиграции.

В Берлине в издательстве Гржебина Чернов выпустил написанные в подполье мемуары — пухлый том под названием "Записки социалиста-революционера".** Это, разумеется,

*Роман Гуль. "Азеф". Исторический роман. Изд. 4-е. Изд-во "Мост". Нью Йорк. 1974.

**В.М. Чернов. "Записки социалиста-революционера". Изд-во З.И. Гржебина. Берлин. 1922.

ценный исторический документ. Но писал Чернов всегда как-то разгонисто-водянисто и писания его меня не увлекали. Зато в Берлине тогда В.М. "со товарищи эс-эры" издал замечательную книгу: "ЧЕ-КА"* . Она и сейчас важна для истории ленинского террора.

Противоположностью Чернову — в смысле человеческого облика — был Ираклий Георгиевич Церетели, известный социал-демократ (меньшевик), член Государственной Думы, каторжанин, лидер Петроградского Совета Рабочих Депутатов в 1917 г., министр Временного правительства и член правительства независимой Грузии. Высокого роста, скромно, со вкусом одетый (я его помню всегда в темно-синем костюме, белая рубашка и темно-красный галстук), этот хорошо воспитанный, красивый грузин был немного из тех, о ком Верховенский говорил Ставрогину: "аристократ, когда идет в демократию, обаятелен". В Церетели было это обаяние, хотя он не был таким аристократом, как, например, кн. П.А. Кропоткин, но был старинного грузинского дворянского рода: барин — социал-демократ. У Станкевичей мое знакомство с И.Г. было "мельком". Позже, во Франции я узнал его ближе. А подружился с ним в Нью Йорке, в Америке, одно время он даже жил у нас летом в Питерсхэм, в Массачусетсе. Об Ираклии Георгиевиче я еще много напишу. У меня есть что о нем сказать.

Владимир Савельевич Войтинский был близкий друг Станкевича и Церетели. По чертам лица и всей внешности был похож на русского мужичка, а никак не на еврея. Некрасивый, курносый, рыжеватый, очень живой, В.С. тоже был "человеком с биографией". В молодости — большевик, знававший Ленина, прошедший тюрьмы и ссылку, в революцию — антибольшевик, оборонец, комиссар Временного Правительства на Северном фронте, где боролся с ленинцами и разложением армии. После Октября отсидел у большевиков в Петропавловской крепости. При помощи Церетели уехал в Грузию, а оттуда на Запад.

В Берлине у Гржебина В.С. выпустил воспоминания под чуть

*"Че-ка". Материалы по деятельности чрезвычайных комиссий. Изд. Бюро партии социалистов-революционеров. Берлин. 1922.

плакатным заглавием "Годы побед и поражений"* (я заметил, что революционеры любили такие некрасовско-надсоновские плакаты). Но воспоминания В.С. весьма поучительны. Особенно в них ценны зарисовки Ленина. Вот, например, некий "кадр". В 1907 году Войтинский (большевик) был членом Исполкома Совета безработных и поехал к Ленину в Куокала за разъяснениями насчет допустимости тактики террора. Приехал. "Я рассказал о настроении среди безработных, о "мстителях", о их намерении бросить бомбу в заседание Городской Думы. Ленин слушал чрезвычайно внимательно, вставляя время от времени — Вот как? Это крайне интересно! — Затем начал расспрашивать: — Вы думаете люди у них найдутся? — Несомненно. — Надежные? — Вполне. — Тогда Ленин сказал раздумчиво: — А может быть это было бы недурно. Встряхнуло бы..."

Западные либералы не то делают вид, не то действительно не "допонимают", откуда сейчас по всему миру идет террор (и "Красных бригад" и прочих "мстителей")? А он идет именно от этого ленинского: "недурно". Это Ильич своими ленинцами "встряхивает" мир.

"Любимой темой агитации Ленина, — вспоминает Войтинский, — была талантливая проповедь революционного нигилизма. Революция дело тяжелое, — говорил он, — в беленьких перчатках, чистенькими руками ее не сделаешь. Партия не пансион для благородных девиц... иной мерзавец для нас и полезен тем, что он мерзавец... в обыкновенных уголовных преступниках он (Ленин) видел революционный элемент".

Как симпатично и симптоматично для нашего времени, что международная Организация Объединенных Наций хотела чествовать Ленина, как великого гуманиста.

Воспоминания Войтинского вышли и на иностранных языках. Но не этим русский эмигрант Войтинский создал себе имя. Он выдвинулся как экономист восьмитомным трудом "Мир в цифрах", по-русски вышедшим в издательстве "Знание" в Берлине и переведенным на все главные европейские языки. А потом уж в Америке, в Вашингтоне, В.С. Войтинский занял как

*В. Войтинский. "Годы побед и поражений". Воспоминания. В 2-х томах. Изд-во З.И. Гржебина. Берлин. 1922

экономист большое положение.

Н.Н. Суханова (Гиммера), автора известнейших "Записок о революции", вышедших в Берлине у Гржебина в семи томах, я видел у Станкевичей дважды. И не жалею, что не больше. С виду какой-то нечистоплотный, с красноватым, лоснящимся, неприятным лицом, невоспитанный, в разговоре бестактный Суханов произвел на меня отталкивающее впечатление. Кроме "Записок" он оставил русской истории еще и тот исторический факт, что на его квартире большевицкая верхушка во главе с Лениным приняла окончательное решение идти на Октябрьский переворот. Его, Суханова, якобы не было дома, а квартиру для решающего заседания конспиративно дала жена (большевичка). Но историческое "предоставление квартиры" Суханова не спасло. Сталин в каком-то "политизоляторе" все-таки убил его.

Из писателей я познакомился у Станкевичей с известным поэтом-сатириком Сашей Черным (Александр Михайлович Гликберг). Он приехал в Берлин в начале 1921 года. Саша Черный производил очень приятное впечатление. Среднего роста, худощавый, правильное, я бы даже сказал, красивое лицо, седоватые короткостриженные волосы. Держался сдержанно, был мало разговорчив, но под этой сдержанностью вы чувствовали и характер, и твердые убеждения.

Его талантливые стихи-сатиры я читывал еще в России. Кое-что почему-то даже запомнилось навсегда:

"Губернатор едет к тете
Желто-кремовые брюки.
Пристяжная на отлете
Вытанцовывает штуки..."

Или:

"Царь Соломон сидел под кипарисом
И ел индюшку с рисом..."

В своей автобиографии В. Маяковский писал, что одно время единственный читаемый им поэт был Саша Черный: "радовал его антиэстетизм". Меня Саша тоже чем-то радовал. Сейчас я с ним познакомился за чайным столом у Станкевичей в Берлине на Пассауерштрассе.

Станкевич, естественно, хотел его привлечь к сотрудничеству в журнале "Жизнь", но Саша это — очень мягко по форме, но твердо по сути — отклонил. Это была не его линия. В Саше Черном жила огненная ненависть к большевизму. Такая была разве что у Бунина времен "Окаянных дней". Да даже и у Бунина она не была так огненна.

Позднее я встретился как-то с Сашей Черным в студенческом ресторане и тут он выговорился. Он с раздражением и отталкиванием говорил о позиции Станкевича и "Жизни", ибо ни в какую эволюцию или возможность смягчения режима не верил. Тогда он с несдерживаемой злобой, очень красочно рассказал мне, как переезжал советскую границу и как на границе какой-то безграмотный чекист осматривал чемодан с его рукописями: некоторые на его глазах рвал, другие куда-то отбрасывал, а некоторые оставлял. — И все это глупо, невежественно, безграмотно, — говорил Саша Черный, — только чтоб свою власть над тобой показать. У меня в душе кипела такая ненависть, что если б была сила, я бы ему горло перегрыз.

Саша Черный везде бывал вместе с женой, Марией Ивановной, рожденной Васильевой. Мария Ивановна была из писательских жен — ангелов-хранителей — таких я встречал много. По каждой мелочи было видно, как она охраняет и боготворит своего Сашу.

В Берлине Саша Черный задержался недолго. Но все-таки издал здесь несколько книг — и сатиру-стихи, и прозу, но все (надо честно сказать) было не на прежней высоте. Я думаю, что А.М. Гликберга надо отнести к людям, совершенно раздавленным революцией. Он любил Россию, русскую культуру, русскую литературу страстно любил и этим жил. Надо было слышать, с каким почти благоговением и любовью он говорил об Иване Бунине, как о "последней сосне российского сведенного бора". О Бунине он написал стихотворение (надо сказать, очень плохое), которое кончалось (помню) тем, что в свободной России:

"Вы будете одним из самых близких
Из самых близких и родных..."

Как-то я сказал Саше Черному, что всегда любил его стихи и даже (сказал) некоторые помню наизусть. Но Саша (неожиданно для меня) недовольно сморщился, как лимон надкусил, и пробормотал: — "Все это ушло и ни к чему эти стихи были..." Большевиком и творчески и душевно раздавил бывшего сатирика. Он переиздал в Берлине три тома своих сатир. Но все то, что писал внове было — не то. Видно сатирическому таланту Саши Черного уже не на что было опереться. Он стал писать детские книги, в изд-ве "Слово" издал "Детский остров" с рисунками известного художника Бориса Григорьева (тогда тоже эмигранта в Берлине). Но все, что писал Саша Черный, прежней силы не достигало:

"Я индейский петух!
Ф-фух!
Самый важный,
Нос трехэтажный,
Под носом сережки
И сизые брошки.
Грудь кораблем
Хвост решетом,
Персидские ноги —
Прочь с дороги!..
Ф-фух!"

Вскоре Саша Черный с Марией Ивановной уехали в Париж, потом поселились в небольшом французском городке Борм. И здесь 5 августа 1932 года Саша Черный скончался: неподалеку от них вспыхнул пожар, Саша, как и другие соседи, бросился помогать, волновался, что-то таскал, кому-то помогал, а вернувшись домой почувствовал себя дурно и от сердечного припадка умер. Там его и похоронили на кладбище Лаванду.

Марина Цветаева

В Берлине с Мариной Цветаевой познакомил меня Эренбург. Было это вскоре после приезда ее из Москвы. Она остановилась в том же Прагер-пансионе, где жили Эренбурги. И как-то Эренбург сказал, что Цветаева хочет со мной встретиться. Я

пришел. Постучал в дверь комнаты. Услышал — "войдите!". Вошел. Марина Ивановна лежала на каком-то странном предмете, по-моему, на сундуке, покрытом ковром. Первое, что бросилось мне в глаза — ее руки — все в серебряных браслетах и кольцах (дешевых), как у цыганки.

Разговор начался — с Москвы, с ее приезда. Свое первое впечатление от облика Цветаевой я ярко запомнил. Цветаева — хорошего (для женщины) роста, худое, темное лицо, нос с горбинкой, прямые волосы, подстриженная челка. Глаза ничем не примечательные. Взгляд быстрый и умный. Руки без всякой женской нежности, рука была скорее мужская, видно сразу — не белоручка. Марина Ивановна сама говорила о себе, что умеет только писать стихи и готовить обед (плохой). Вот от этих "плохих" обедов и тяжелой московской жизни руки и были не холёные, а рабочие. Платье на ней было какое-то очень дешевое, без всякой "элегантности". Как женщина Цветаева не была привлекательна. В Цветаевой было что-то мужественное. Ходила широким шагом, на ногах — полумужские ботинки (особенно она любила какие-то "бергшуэ").

Помню, в середине разговора Марина Ивановна неожиданно спросила: — Вы любите ходить? — Люблю, много хожу. — Я тоже. Пойдемте по городу? — И мы вышли из пансиона. Пошли помню, по Кайзераллее, шли долго, разговаривая. Я больше слушал рассказы о Москве, о тяжелой жизни там. Я предложил зайти в кафе. Зашли. Кафе было странное — большое, белое, с греющим негритянским джаз-бэндом. Негры в Берлине были редкостью. Откуда они сюда залетели?

В кафе мы просидели, проговорили долго. Марина Ивановна прочла мне свои последние стихи. Видимо она была внимательный и наблюдательный собеседник. Во всяком случае она открыла у меня какой-то жест, о котором я не имел понятия. Оказывается, слушая ее, я иногда проводил рукой по волосам. Этот жест Марина Ивановна мне "вернула", извинившись "за масть": я блондин, а в стихотворении, присланном мне, она окрасила мои волосы в "воронову" масть:

"Вкрадчивостью волос,
Вгладь и в лоск,

Оторопью продольной
Синь полуночную масть
Воронову. Вгладь и всласть
Оторопи вдоль — ладонью”.

Это (не Бог весть какое) стихотворение я опубликовал в “Новом Журнале” в письмах ко мне Цветаевой из Праги в Берлин. Оно вошло и в последнюю зарубежную книгу Цветаевой “После России”.

С Мариной Ивановной отношения у нас сложились сразу дружеские. Говорить с ней было интересно обо всем: о жизни, о литературе, о пустяках. В ней чувствовался и настоящий, и большой, и талантливый, и глубоко чувствующий человек. Да и говорила она как-то интересно-странно, словно какой-то стихотворной прозой что ли, каким-то “белым стихом”.

Помню, она позвала меня к себе, сказав, что хочет познакомиться с только что приехавшим в Берлин ее мужем Сергеем Эфроном. Я пришел. Эфрон был высокий, худой блондин, довольно красивый, с правильными чертами лица и голубыми глазами. Отец его был русский еврей, мать — русская дворянка Дурново. В нем чувствовалось хорошее воспитание, хорошие манеры. Разговор с Эфроном я хорошо помню. Эфрон весь был еще охвачен белой идеей, он служил, не помню уж в каком полку, в Добровольческой армии, кажется, в чине поручика, был до конца — на Перекопе. Разговор двух бывших добровольцев был довольно странный. Я в белой идее давно разочаровался и говорил о том, что всё было неправильно зачато, вожди армии не сумели сделать ее народной и потому белые и проиграли. Теперь — я был сторонником замирения России. Он — наоборот никакого замирения не хотел, говорил, что Белая армия спасла честь России, против чего я не возражал: сам участвовал в спасении чести. Но конечной целью войны должно было быть ведь не спасение чести, а — победа. Ее не было. Эфрон возражал очень страстно, как истый рыцарь Белой Идеи. Марина Ивановна почти не говорила, больше молчала. Но была, конечно, не со мной, а с Эфроном, с побежденными белыми. В это время у нее был уже готов сборник “Лебединый стан”:

”Не лебедей это в небе стая:
Белогвардейская рать святая
Белым виденьем тает, тает:
Старого мира последний сон:
Молодость — Доблесть — Вандея — Дон...”

И как это ни странно, но всем известно, чем кончил апологет белой идеи Сергей Эфрон в эмиграции. Вскоре он стал левым евразийцем (не с мировоззренческим, а политическим уклоном, как кн. Д. Святополк-Мирский, П. Арапов и др.), потом — председатель просоветского Союза Возвращения на Родину, и ультра-советский патриот, а потом стряслось нечто страшное: его связь с какими-то заграничными чекистами и Эфрон принял участие в убийстве в Швейцарии беглого троцкиста-невозвращенца Игнатия Райса. Я уверен, что Марина Ивановна *не была посвящена ни во что* из этой жуткой, грязной и мокрой истории Эфрона. Жена Азефа не знала, что ее муж — долголетний предатель и убийца множества своих товарищей. А Марина? На допросе ее парижской полицией — после убийства Райса и бегства Эфрона в Сов. Союз — полицейские сразу увидели ее полную неосведомленность в том, что делал ее муж Эфрон, и отпустили ее на все четыре стороны. Бежавшего “на Родину” (с большой буквы) Сергея Эфрона чекисты не сразу, а года через полтора расстреляли: по-деловому, по-гангстерски: убил, а теперь — “концы в воду”, и шлёпнули его на его “евразийской родине”.

Бывая у Марины Ивановны я видел ее дочь Алю. Аля производила впечатление странного ребенка, какого-то диковатого, держалась с людьми молчаливо, неприветливо. Она вернулась в Сов. Россию еще раньше Эфрона и отбыла там ни за что ни про что большой срок в концлагере.

Когда Марина Ивановна (в тот же год нашей встречи) переехала из Берлина в Мокропсы, под Прагой, у нас завязалась переписка. Но длилась не очень долго. В “Новом Журнале” я опубликовал некоторую часть ее писем, считая что другие печатать не нужно. Марина Ивановна вечно нуждалась в близкой (очень близкой) дружбе, даже больше — в любви. Этого она везде и всюду душевно искала и была даже неразборчива, желая

душевно полонить всякого. Я знаю случай, когда она нежно переписывалась с одним русским берлинцем, которого никогда в жизни не видела. Из этой переписки ничего, разумеется, кроме ее огорчений не вышло. Мне писать Марина Ивановна стала довольно часто. Я отвечал, но вероятно не так, как она бы хотела. И в конце концов переписка оборвалась после письма Марины Ивановны, что больше она писать не будет, ибо чувствует, что мне отвечать ей в тягость.

Но одно время Цветаева попросила, чтобы я пересылал ее письма в Москву для Бориса Пастернака (прямо писать не хочет, чтобы письма не попадали "в руки жены"). Борис Пастернак тогда приезжал в Берлин, тоже сидел с Эренбургом в Прагердилле. В Берлине в изд-ве "Геликон" он выпустил "Темы и вариации", "Сестру мою жизнь". Марина его никогда не видела. Но полюбила страстно и как поэта, и ей казалось, что любит его и как женщина. Цветаева написала тогда (в Чехии) громокипящий панегирик Пастернаку — "Световой ливень". Письма, которые она присылала для Пастернака, я должен был отсылать своему знакомому в Москве, верному человеку, а он — передавать по назначению. Причем Марина Ивановна просила, чтоб я эти письма обязательно читал. Я читал все эти письма. Они были необычайным *литературным* произведением, причем эта литература была неистовой. Помню, в одном из писем Марина Ивановна писала, что у нее родился сын (это Мур, во время войны расстрелянный в СССР за какой-то воинский проступок, кажется за опоздание с возвращением в воинскую часть) и что этот Мур родился *от Пастернака* (которого Марина не видела, но это неважно, Цветаева любила — мифы, неистовства, и расставание тут роли не играло).

Марк Слоним, который очень дружил с Мариной в Праге, в воспоминаниях о ней рассказывает о том же вечном неутолении любви, о жажде дружбы до конца. Дружа со Слонимом Марина внутренне требовала от него большего, чем дружба, а Слоним... Слоним этого дать ей не мог: он женился на очень милой, интересной женщине Татьяне Владимировне. Это — как "измена" — вызвало взрыв негодования Марины, вылившийся в блистательное, по-моему, самое замечательное ее стихотворение "Попытка ревности":

"С пошлой бессмертной пошлости,
Как справляетесь, бедняк..."

Думаю, что в Марине было что-то для нее самой природно-тяжелое. В ней не было настоящей женщины. В ней было что-то андрогинное и так как внешность ее была не привлекательна, то создавались взрывы неудовлетворенности чувств, драмы, трагедии.

После того как наша переписка прекратилась, я увидел Марину Ивановну уже в Париже в 1933 году. Она давала вечер своей поэзии. Мы с женой пошли. Я уже знал, что Эфрон ультра-советский, поэтому не хотел встречаться и с Мариной. Но мы все-таки встретились, когда после вечера случайно вместе выходили на улицу. Марина Ивановна мне сказала, -- Приезжайте как-нибудь к нам, я буду рада, -- и дала адрес. Но я не поехал к ней, ибо не хотел встречаться с Эфроном.

Дальнейшее... Оно теперь общеизвестно. Материально тяжелая жизнь Марины в Париже кончилась трагически. После бегства Эфрона, оставшись одна (с сыном Муром) Марина решила ехать в Сов. Союз, возвращаться. Не знала, что дочь в концлагере, а муж скоро будет расстрелян. В Сов. Союзе власти встретили ее недоброжелательно, а потому и писатели -- по генеральной линии сверху -- тут же отнеслись недоброжелательно. Асеев даже отказался ее принять (перестраховывался чересчур!). Многие ее не приняли и не помогли. Под конец -- Марину Цветаеву -- знаменитого русского поэта -- загнали в дикую глухомань, в Елабугу, где она должна была мыть посуду в какой-то столовке. Кончилось -- петлей и безымянной могилой. А ведь незадолго до отъезда эмигрантка Цветаева писала: "мои русские вещи... и волей не моей, а своей рассчитаны на множества... В России как в степи, как на море есть откуда и куда сказать... Там бы меня печатали -- и читали..." В России -- да. Но Цветаева приехала в иную страну, которая называется -- Союз Советских Социалистических Республик, и здесь ей вместо "печатали и читали" предложили повиснуть в петле (за ненадобностью).

Что сказать о Цветаевой? Цветаева, конечно, большой поэт и большой образованный, блестяще-умный человек. Общаться с

ней было действительно подлинным платоническим наслаждением. Но иногда у Марины Ивановны, как у всякого смертного, проскальзывали и другие, сниженные черты. Когда-то Адамович, полемизируя с ней, написал, что в творчестве Цветаевой есть что-то не вечно-женственное, а вечно-бабье. Не знаю, можно ли было такую вещь написать, в особенности Адамовичу. Но не в творчестве, а в жизни у Цветаевой вырывалась иногда странная безудержность. Например, она мне писала в одном письме какие-то не долженствующие быть в ней, сниженные вещи о том, как у нее начиналась "большая дружба" с Эренбургом, как им "были сказаны все слова", но как Эренбург предпочел ей другую ("плоть!") женщину. Это были вульгарные (для Цветаевой) ноты. Но Адамович-то был неверен в своей грубости, ибо писал о Цветаевой-поэте. А в творчестве своем Цветаева наоборот была, я бы сказал, мужественна. Женственные ноты в ее лирике прорывались не часто, но когда прорывались, то прорывались прекрасно. Я больше всего люблю лирику Цветаевой, а не ее резко-ритмические, головные поэмы (хотя Белый восхвалял именно ее "малиновые ритмы").

Ну, вот. Конец. Осталась у меня в памяти Цветаева, как удивительный человек и удивительный *поэт*. Она никак не была *литератором*. Она была каким-то Божьим ребенком в мире людей. И этот мир ее со всех сторон своими углами резал и ранил. Давно, из Мокропсов она писала мне в одном письме: — "Гуль, я не люблю земной жизни, никогда ее не любила, в особенности — людей. Я люблю небо и ангелов: там и с ними я бы сумела". Да, может быть.

"Ледяной Поход"

Конец "Жизни" для меня был финансовым крахом. Гроши, что получал за статьи в "Голосе России" или "Времени" у милейшего Григория Наумовича Брейтмана (быв. редактора киевских "Последних Новостей" и автора потрясающих бульварно-детективных рассказов), — были грошами. Но голенький ох, за голеньким Бог. В "Архив Русской Революции", вышедший толстенными томами под редакцией И.В. Гессена, я продал свои воспоминания о Киеве — "Киевская эпопея" (см. том

2). Русские издательства тогда прилично платили и это была передышка. А за сим издательству С.А. Ефрона продал "Ледяной Поход". Семен Абрамович Ефрон, приятный, пожилой, с сильной проседью, тяжеловатый (по весу) человек был издателем еще в России. И став эмигрантом, начал издавать книги в Берлине. Другого ничего делать не умел. Тогда в Берлине было около 30-ти русских издательств.

Когда я пришел к С.А. с "Ледяным Походом", он принял меня любезно и, взяв рукопись, сказал, чтоб я зашел за ответом недели через две. Две недели я жил "в тревожном ожидании". Мне было 25 лет. Будучи по природе человеком (по-моему) скромным, я просто не верил, что у *меня выйдет книга!* Через две недели придя за ответом, я, разумеется, волновался. Сели. С.А. говорит: -- Знаете что, Роман Борисович, рукопись ваша, конечно, интересна и я бы ее издал, но есть одно "но". -- Какое же? -- Видите ли, у вас очень много неприличных слов. -- Я обмер. -- Ну, Семен Абрамович, -- говорю, -- они же обозначены многоточиями? -- Да, многоточиями, но читатель все-таки понимает, что это за слова, и читателю это неприятно. Вот, например, я дал прочесть нашей секретарше, Марии Абрамовне Шайкевич, так она, представьте себе, не могла даже дочитать, была шокирована.

Разумеется, и Семен Абрамович и тем более Мария Абрамовна никакой гражданской войны не видали и не знали, что этот "неприличный" язык (а он действительно неприличен!) был обиходным языком гражданской войны. На этом языке мы говорили и в мировую и в гражданскую. Но С.А. был по-своему, очевидно, прав. К тому же он -- "капиталист", он сильнее.

-- Знаете что, Р. Б., -- сказал Ефрон, -- возьмите-ка вы рукопись и попробуйте выправить именно в этом смысле, а тогда приносите.

Я взял рукопись. Но духом пал: не издаст, думал я. Выправляя я недели две, удаляя все "скверные многоточия", кое-где лишь оставил. И через две недели принес С.А. Он обещал дать быстрый ответ. Через несколько дней вызвал меня. На столе лежал -- договор, приятный уже тем, что был *первым договором на книгу*, и тем, что я получал аванс, кажется, в тысячу марок. Для меня это было целое состояние. И книга и деньги. Я

был неописуемо радостен.

Вскоре "Ледяной Поход" вышел. Книга имела (скажу без скромности) большой успех, но особый. Многие бывшие военные отнеслись к ней неприязненно. Я-де сгустил краски, я-де слишком много пишу о темных сторонах и т.д. Это были круги РОВСа (Российского Общевоинского Союза). Но я этого и ждал. Эти круги я хорошо знал и многого в них не любил. (Я уважал таких генералов, как Головин, Врангель, Деникин, Кутепов, Миллер, были и офицеры с которыми дружил. А не любил я те круги, из которых вышла пресловутая "Внутренняя линия", они то и верховодили в РОВСе.).

Были и приятные отзывы. Как-то мне сказали, что приехавши* в Берлин Максим Горький будто читал "Ледяной Поход" и хорошо отозвался. Я написал Горькому, спрашивая, действительно ли он читал мою книгу? И быстро получил ответ очень краткий: "Уважаемый г-н Гуть, я действительно читал Вашу интересную книгу..." и еще несколько слов. Меня эта "интересная книга" очень обрадовала. Я — мальчишка, первая книга, а тут — *сам Максим Горький*, мировая знаменитость, "всероссийский гигант", автор всяких Буревестников, Челкашей, Мальв, Песней о соколе и прочее, пишет — "интересная книга".

Был и такой факт. Встретился я как-то с издателем З.И. Гржебиным. Он тогда в Берлине начал грандиозное издательское дело в уверенности, что книги пойдут в Сов. Россию. Там он ворочал "Всемирной Литературой". Ему ворожили Горький, Луначарский, кто-то еще. Гржебин был вхож в сановные советские круги. И вот, когда я с ним здоровался, он с улыбкой говорит: "А я ведь вашу книгу в России еще видел". — "Где же ее видели?" А Гржебин, улыбаясь: — "На столе у В.И. Ленина". Я онемел, ибо не ожидал, чтоб моя книга попала на стол к самому псевдониму №1. Правда, в газетах я читал, в интервью с каким-то иностранным корреспондентом на вопрос, чем он сейчас занимается, Ленин с усмешкой сказал: — "Читаю книги господина Шульгина", и добавил: — "Надо изучать своих врагов". Вероятно, после "изучения" Лениным Шульгина его "1920 год" и был переиздан Госиздатом в Москве. А о книге Аркадия Аверченко "Дюжина ножей в спину революции" Ленин даже высказался публично и какую-то книгу Аверченко тоже переиздали с предис-

ловием Ленина. Стало быть "изучалась" и моя скромная книга. Это неплохо.

О "Ледяном Походе" было много отзывов (и устных и печатных). Но самым приятным был отзыв Юлия Исаевича Айхенвальда. Произошло это так. Айхенвальд, автор в свое время известной книги "Силуэты русских писателей" (и автор несправедливого отзыва о стихах Валерия Брюсова -- "преодоленная бездарность"*) приехал в Берлин среди высланных из России 44-х известных ученых, писателей и журналистов (всего выслали больше 100!). В Берлине уже существовал тогда русский "Дом Искусств", председателем коего был эдакий старичок-живчик поэт Николай Максимович Минский. Сначала "Дом Искусств" собирался еженедельно в кафе "Ландграф" на Курфюрстенштрассе, потом в кафе "Леон" на Ноллендорфплац. Я бывал там всегда. В этот раз пришел почему то рано, но там уже сидела некая поэтесса Татида, в свое время приятельница Макса Волошина. С Татидой все мы дружили -- Офросимов, Иванов, я, Корвин-Пиотровский. Как всегда Татида сидела у входа -- члены "Дома Искусств" проходили бесплатно, а с "фармацевтов" бралась плата. И вот в зал первыми входят два человека. Татида хочет взять с них, как с "фармацевтов". Я же сразу узнал Айхенвальда, которого запомнил еще по лекциям в России, и бросился к Татиде предотвратить неприличие. "Татида, -- говорю, -- это же Юлий Исаевич Айхенвальд!" Татида стала извиняться. Айхенвальд, улыбаясь, повернулся ко мне: -- "А откуда вы меня знаете?" -- "Как откуда? Вас, Юлий Исаевич, вся Россия знает!" -- Айхенвальд засмеялся. -- "А, простите, как ваша фамилия?" -- Я назвал и вдруг Айхенвальд удивленно: -- "Роман Гуль? Автор "Ледяного Похода"? Я в Москве читал вашу книгу -- прекрасная книга!". Я что-то благодарно промямлил, а

*Как многие писатели Брюсов был злопамятен и этого отзыва, оказывается, не забыл. В эмиграции Ю.И. Айхенвальд писал Влад. Ходасевичу: -- "О Брюсове. И сам я меньше всего склонен его идеализировать. Он сделал мне не мало дурного и, когда сопричислился к сильным мира сего, некрасиво, т.е. экономически мстил мне за отрицательный отзыв о нем в одной из моих давнишних статей. Самая высылка моя -- я это знаю наверное, из источника безукоризненного -- произошла при его содействии" (письмо от 5 авг. 1926 г. см. "Некрополь" Ходасевича).

он: — "Книга там имеет успех, но *они, наверху*, ее пошло расценивают, как какое-то разоблачение белого террора, по сути же она против гражданской войны вообще, а это вода вовсе не на их мельницу!"

Отзыв Ю.И. был приятнее всех других потому, что он прочел мою книгу *так, как я ее писал*. И Ю.И. был прав о воде и мельнице. Когда "Ледяной Поход" переиздали в Сов. России, у читателей он имел успех, но власти скоро сообразили на чью мельницу эта вода и "Ледяной Поход" исчез с книжного рынка и из библиотек, попав в "запретные фонды". После Второй мировой войны, в 1950 году, я получил из Германии, от советского перебежчика майора Бориса Олышанского* письмо, которое начиналось так: "Многоуважаемый г-н Гуль, прошу простить за мое обращение к Вам, но, во-первых, Вы являетесь для меня одним из немногих русских людей в эмиграции, имя которых я привык уважать давно, живя еще в Советском Союзе. Там мне пришлось прочесть вашу книгу "Ледяной Поход" (С Корниловым), появившуюся в 20-х годах в советском издании..." Этот отзыв мне был ценен.

В Берлине Ю.И. Айхенвальд сотрудничал в газете "Руль" как литературный критик. Писал под псевдонимом — Кременецкий. Но Ю.И. недолго прожил. Он был очень близорук, :: однажды, неудачно пытаясь перейти улицу, попал под колеса трамвая. Так, на берлинской улице погиб русский известный писатель, выброшенный на чужбину "псевдонимами".

"Новая Русская Книга"

Прожив гонорар за "Ледяной Поход", я раздумывал: что же делать? Но опять подвернулся случай. Профессор А.С. Яшенко предложил работать секретарем редакции в его библиографическом журнале "Новая Русская Книга". А.С. Яшенко сначала издавал библиографический журнал "Русская Книга" в издательстве книжного магазина "Москва" А.С. Закса. В писательских и

*Б. Олышанский на Западе выпустил книгу "Мы приходим с Востока". Через некоторое время попал в советскую ловушку и через Канаду был увезен в СССР, где и погиб.

интеллигентских кругах журнал имел успех. Дошел даже до Александра Блока, удивившегося: "Откуда они все знают?!" В

журнале печатались сведения о судьбах и работах русских ученых и писателей как российских, так и зарубежных. Тогда еще "железного занавеса" не было и вести получались легко.

Но "Русской Книги" Яшенко выпустил всего девять номеров и издание перешло к издательству И. П. Ладыжникова. Это было старое эмигрантское издательство. И.П. Ладыжников перепродал его Б.Н. Рубинштейну, русскому еврею, натурализованному немцу. Нам отвели удобное помещение на Аугсбургерштрассе. Это был какой-то склад книг, но для нас выделили и обставили хорошую комнату. Так началась "Новая Русская Книга". Редактор — А.С. Яшенко. Я — секретарь.

Профессор международного права А.С. Яшенко был колоритной фигурой. И полной противоположностью В.Б. Станкевичу, типичному интеллигенту, немного не от мира сего. Яшенко

крепкий *жилец*, без всяких интеллигентских "вывихов". Среднего роста, крепко сшитый, физически сильный, с лысым черепом и невыразительным лицом, Яшенко был уроженец Кубани. Не то казак, не то иногородний, не знаю. Но подошел бы к запарожьям, которые у Репина "пишут письмо султану". Яшенко — грубоват и довольно бестактен ("Киндерштубэ" у него не было), но — деловой. Он никогда не расставался с кривой трубкой и любил

говорить о себе. Окончил семинарию, потом университет и в конце концов стал профессором международного права, сначала в Пермском Университете, а потом, когда либеральных, независимых профессоров правительство "потеснило", Яшенко заменил в Петербурге знаменитого философа права профессора Л.И. Петражицкого. Яшенко был человек циничный и как-то сам мне рассказывал: — "Знаете, что обо мне один раз написали? Что Яшенко имел нахальство занять кафедру профессора

Петражицкого!" И Яшенко громко хохотал. Про себя я думал, что написали довольно справедливо, ибо обладая профессорскими чинами Яшенко никаким талантом и идеями не блистал. И облик свой как-то в разговоре метко обрисовал сам. Он рассказывал, что когда был студентом-первокурсником, взял как-то словарь иностранных слов, открыл наугад и попал на слово "оппортунист" "человек, приспособляющийся к обсто-

ятельствам". Громко смеясь, Ященко говорил: — "И вы знаете, я прямо чуть не закричал — эврика! так ведь это же я!". Это правда. Ященко был оппортунист. Так он не задумываясь, сменил в Петербурге профессора Петражицкого. Так попал и за границу, — очень рано, весной 1918 года — в Германию.

Официально это была "научная командировка за границу," от Пермского университета, а на самом деле, как он рассказывал, Ященко приехал с советской делегацией Иоффе для обсуждения с немцами каких-то дополнительных параграфов к Брест-Литовскому миру. В составе делегации были Менжинский, Красин, Ларин, кажется Бухарин и еще кто-то. Но когда делегация должна была возвращаться восвояси, Ященко неожиданно "выбрал свободу", заявив, что остается в Германии. "На последнем заседании, — рассказывал он, — я Менжинскому прямо сказал: — а все-таки русский народ вам когда-нибудь оторвет голову! — А Менжинский, говорит, повернулся ко мне и так презрительно процедил: — До сих пор не оторвал и не оторвет". Увы, Менжинский, к сожалению, оказался прав и через 60 лет.

В январе 1922 года в №1 "Новой Русской Книги" А.С. Ященко писал: "Мы поставили себе задачей собрать и объединить сведения о русской и заграничной издательской и литературной деятельности. По мере сил своих мы стремимся создать из "Н.Р.К." мост, соединяющий зарубежную и русскую печать... Служить объединению, сближению и восстановлению русской литературы ставит себе задачей "Н.Р.К.".

Надо сказать, что "Н.Р.К.", по-моему, была прекрасным журналом. А редакция ее — интереснейшим местом. К нам приходило множество писательского народа: и высланные из Сов. России профессора и писатели, и писатели-эмигранты, ставшие берлинцами, и писатели, приезжавшие из Сов. России на время. Помню, вскоре после приезда в Берлин высланных из Сов. России профессоров, в редакцию пришла их группа: Бердяев, Кизеветтер, Сергей Гессен, Айхенвальд и еще кто-то. Ященко принял их очень радушно, но у него был грех — любил говорить, не давая собеседнику вымолвить слово. И тут началось именно такое словоизвержение на любимую тему — об отношении к революции. Я эту рацию Ященко слышал раз двенадцать, ему она очень нравилась. Вставляя меж слов длительное

"эээ", Ященко громогласным и безапелляционным басом говорил: — "Революция, это как — подхватившая тройка. И, по-моему, просто глупо пытаться эту тройку сдержать. Что же делать? А взять плетъ и нахлестывать по всем по трем. Пусть скачет. Врет — умается. И когда тройке придет крышка, вы спокойно берете вожжи и выезжаете на дорогу..." — Я видел, что высланным из России профессорам эти не очень блестящие речи о тройке были и неинтересны и даже могли восприниматься, как бестактность. Из вежливости они молчали. Но вдруг Кизеветтер, как-то неловко ерзая на стуле, перебил Ященко знаком руки, и вежливо говорит: — "Простите, пожалуйста, скажите, можем ли мы видеть профессора Александра Семеновича Ященко?" Ященко, конечно, понял тонкий ход, и лицо и лысина его покраснели, но он деланно захохотал, проговорив: — "Так неслъ это же я и есть, Ященко!" — "Ах, это вы, извините, пожалуйста!", — мягко сказал Кизеветтер. Пришедшие засмеялись вместе с Ященко, но после интервенции Кизеветтера красноречие Ященко кончилось, и все перешли к делу. Оказывается, они пришли за информацией об ИМКА, к кому там обратиться и прочее. А Ященко был в курсе дел, ибо в ИМКА вел какую-то работу по заочным курсам и всех там знал.

Помню, как пришел в "Н.Р.К." только что приехавший из Сов. России Владислав Ходасевич. Он был страшно худ с неприятным лицом вроде голого черепа и с довольно длинными волосами. С Ященко они были хороши еще по Москве, по каким-то литературным сборищам у Брюсова. Встретились очень дружелюбно, разговор пошел о том о сем, потом, помню, Ходасевич говорит: — "А знаете, Александр Семенович, я кажется опять сделал глупость". — "Какую?" — "Да вот женился опять". — "На ком же?" — "Да на поэтессе на одной, начинающей. Мы как-нибудь зайдем вместе". И пришли. "Поэтесса" была малоприятным, толстоватым существом с довольно злым лицом. Присидела не вымолвив слова.

Ходасевич заходил часто в "Н.Р.К.". Один раз он меня крайне удивил, сказав Ященко: — "Александр Семенович, только пожалуйста... если будут у вас рецензии о моих книгах, чтобы никаких неприятных резкостей. Я же ведь хочу возвращаться". Ходасевич всерьез хотел вернуться в РСФСР, но из этого,

помимо его воли, ничего не вышло. В Москве его разнес, как "врага народа", какой-то казенный критик, а потом сам Лев Давыдович Робеспьер отозвался о Ходасевиче крайне презрительно. Так что, к счастью для русской поэзии (и для самого Ходасевича), положение в смысле "вернуться" пошатнулось. Вместо РСФСР Ходасевич из Берлина ездил по Германии, по Италии, а потом завалился гостить к Горькому в Сорренто, откуда в 1925 году — в Париж. И там, став настоящим эмигрантом, Ходасевич дал русской поэзии прекрасную "Европейскую ночь", а русской прозе — "Державина" и "Некрополь".

Очень часто в "Н.Р.К." приходил Алексей Толстой, переехавший в Берлин из Парижа. С Яценко они были старые, неразрывные друзья. Толстой называл Яценко — Сандро, а Яценко его Алешка или Алексей. Душевно, натурно они были очень схожи, оба циники, оба "жильцы". Все что Бунин в "Воспоминаниях" пишет о Толстом — "Третий Толстой" — верно. С Толстым в Берлине я довольно часто встречался, бывал у него и на Курфюрстендамм и на Бельцигерштрассе. Надо сказать, художественно-талантлив Толстой был необычайно. Во всем — в писании, в рассказе, в анекдотах. Но в этом барине никакой тяги к какой бы то ни было духовности не ночевало. Напротив, при внешнем барском облике, тяга была к самому густопсовому мешанству, а иногда и к хамоватости. Бунин верно отмечает Алешкину страсть к шелковым рубашам, роскошным галстукам, к каким-то невероятным английским рыжим ботинкам. А также — к вкусной еде, дорогому вину, ко всякому "полному комфорту". Помню, Толстой, рассказывая что-то смешное Яценке, сам говорил: — "Признаюсь, Сандро, люблю "легкую и изящную жизнь" (это он произносил в нос, изображая фата), для хорошей жизни и сподличать могу..." и он заразительно-приятно хохотал барским баритоном.

"Дольче вита" могла с Толстым сделать все что угодно. Тут он и рискнул вернуться в РСФСР, и халтурил там без стыда и совести, и даже лжесвидетельствовал перед всем миром, покрывая своей подписью чудовищное убийство Сталиным тысяч польских офицеров в Катыни. Je m'en fous — было любимой присказкой Толстого в разных трудностях жизни. Переводить по-русски его присказку не решаюсь: — весьма нецензурна.

Помню, как-то мы с Ященко шли по Курфюрстендамм к нашей редакции на Аугсбургерштрассе. Навстречу — Толстой. Ященко, смеясь, говорит: — "Ну, что, Алешка, выкинули тебя за "Накануне" из Союза писателей и журналистов?" — Толстой (он всегда был немножко актер и хороший актер) удивленно установился на Ященко, будто даже не понимая о чем тот говорит. Потом харкнул-плюнул на тротуар, проговорив: — Je m'en fous. И верно, зачем они ему нужны, все эти голоштаннные писатели-эмигранты, когда он уже взял прицел на Москву?

Как-то в редакции Ященко рассказал мне мелкий смешной эпизод из его дружбы с Толстым. Толстой собирал трубки, это была страсть. Ященко — тоже. У Толстого была какая-то трубка "Донхилл", которая нравилась Ященко, и Ященко наконец ее выпросил. В слабую минуту Алешка дал, но потом затосковал. И вот, говорит Ященко, как-то утром вдруг приходит ко мне Алешка ни свет ни заря. Я еще в постели. Вижу — начинает он по сторонам зыркать, я сразу сообразил, зачем он пришел. И только успел я вскочить с постели, как Алешка бросился к этой трубке. Но я, говорит, успел ее у него вырвать.

В Берлине Толстой издал много своих книг. Он был необычайно трудолюбив, работал каждое утро, писал сразу на пишущей машинке, потом редактировал и снова переписывал. Ященко говорил, что Толстой почему-то при работе повязывал голову полотенцем. Здесь он переиздал три тома прежних вещей ("Хромой барин", "Лихие годы" и др.), издал "Избранные сочинения", "Повесть о многих превосходных вещах", "Хождение по мукам" (ч. I), "Аэлита", "Рукопись найденная среди мусора под кроватью", "День Петра", "Лунная сырость", "Утоли моя печали", "Китайские тени", "Любовь книга золотая", "Горький цвет", "Нисхождение и преображение" и др.

Расскажу, как в "НРК" Ященко мирил Толстого с Эренбургом. Эренбург бывал у нас часто. Я тогда с ним был в хороших отношениях. Встречался и в Прагердилле на Прагерплац, где он жил наверху в пансионе с женой Любовью Михайловной. Иногда бывали вместе в ресторане. Тогда Эренбург был совсем не то, что много позднее. Это был Эренбург "Хулио Хуренито". Этот роман он тогда закончил. Напомню о "Хуренито" хотя бы одной цитатой: — "После длинных раздумий

Хуренито решил — это было 17 сент. 1912 г. — что культура — зло, и с ней надлежит всячески бороться, но не жалкими ножами пастухов Запаты, а ею же вырабатываемыми орудиями. Надо не нападать на нее, но всячески холить ее язвы, расплзающиеся и готовые пожрать полугнилое тело. Таким образом этот день является датой постижения Хуренито своей миссии — быть великим провокатором”.

Насколько Эренбург тогда был свободомыслен, показывает хотя бы такой факт. Были мы как-то в ресторане “Шваннен Эк” большой компанией, был с нами и известный немецкий писатель Леонард Франк, очень милый человек. Кто-то завел разговор о “дон-жуанском списке” Ленина, об Инессе Арманд и пр. Саркастически улыбаясь, Эренбург сказал: “Достаточно посмотреть на Крупскую, чтобы понять, что Ленин никогда не смотрел на женщин”. Все рассмеялись. Тогда такое кощунство у Эренбурга было естественно. Впоследствии о “великом кормчем” он писал как о “гении человечества”.

Известно, что в довоенной эмиграции в Париже Эренбург часто встречал Ленина и, как говорится, “терпеть его не мог”. Ленин, в свою очередь, терпеть не мог “этого лохматого”, как презрительно называл Эренбурга (о чем свидетельствует Крупская). Что Эренбург был всегда лохматый, грязноватый (да и к тому же без передних зубов) — сущая правда. В Париже во времена ленинской эмиграции Эренбург издавал собственный журнальчик под названием “Тихое семейство” и там писал о Ленине беспощадно. Однажды поместил даже карикатуру, изображавшую “великого кормчего” в фартуке с метлой в руке, и с подписью: “старший дворник”, а о “великом труде” Ленина об эмпириокритицизме Эренбург писал: “Пособие, как в шесть месяцев стать философом”. Журнал “Тихое семейство” Эренбург писал от руки и размножал на гектографе. Так что от авторства никак не отвертишься. В архиве Б.И. Николаевского (а теперь, наверное, в Гувер Лайбрери) был полный комплект “Тихого семейства”, который я с удовольствием проштудировал. Но “Тихое семейство” выходило в “те баснословные года”... К позднему Эренбургу, ставшему не только панегиристом “старшего дворника”, но, думаю, и просто порученцем НКВД (за что говорят некоторые факты), я еще вернусь.

В Берлине Эренбург издал много книг: "Хулио Хуренито", "Трест Д.Е.", "Жизнь и гибель Николая Курбова", "13 трубок", "Неправдоподобные истории", "Шесть повестей о легких концах", "Звериное тепло", "Отречения", "Золотое сердце", "Лик войны", "А все-таки она вертится" и др.

А теперь — поучительная история, как Яшенко помирил Толстого с Эренбургом. Помирил ловко, зная и того и другого, и вообще недуги писательских душ. Толстой Эренбурга ненавидел, а когда-то были хороши. Помню, раз придя в редакцию, Толстой говорит мне: — "Роман Гуль (он почему-то меня всегда так называл), зачем вы пишете хвалебно об этой сволочи? (Я напечатал несколько положительных рецензий в НРК). Вот так ведь и делается реклама, а он же и не писатель вовсе, а плагиатор и имитатор. Хотите знать, как он написал свой "Лик войны"? Попросту содрал всякие анекдоты, "пикантности" и парадоксы с корреспонденций французских газет и получился — "Лик войны". Это же фальшивка!"

Эренбург не оставался в долгу и о Толстом говорил не иначе, как с язвительной иронией — старомоден. Для их примирения Яшенко избрал такой метод. Приходит Толстой. Тогда сё. Яшенко вдруг так, к слову, роняет: "Вот, Алешка, ты ругаешь Эренбурга, а он у нас вчера был и говорит: знаете, я Толстого не люблю, но последняя его вещь, должен сказать, превосходна! Ничего не скажешь!" Я молчу, но вижу, что Толстой верит, и ему приятно, хоть для приличия и говорит: "Ты прешь, Сандро?" — "Да вот Роман Борисович свидетель". Толстой что-то хмыкает, но я вижу, что клюнул.

Заходит Эренбург. Разговор о том о сём, и в разговоре Яшенко запускает другого ерша: — "Вот, Илья Григорьевич, вы ругаете Толстого, говорите, что старомоден и все такое. И он это знает, а вот вчера он был здесь и говорил: — Ты знаешь, не люблю я твоего Эренбурга, но последняя его вещь — надо сказать — замечательна! "Хулио Хуренито" — это класс!" И я вижу, что Эренбург верит. И ему приятно.

В конце концов Яшенко добился своего: у Толстого и Эренбурга отношения возобновились, и Яшенко, хохоча, говорил мне, что у него это для писателей проверенный метод, ибо все слабоваты в "этом самом местечке".

В "Новой Русской Книге" я познакомился с Андреем Белым. Он приходил довольно часто, печатал в журнале статьи, дал свою автобиографию. Среднего роста, ни худой, ни полный, с полудлинными пушистыми волосами, раздуваемыми при его резких движениях, с большим лбом, переходящим в лысину, с какими-то блуждающе-разверстыми глазами, Белый производил странное впечатление, причем чувствовалось, что в эту "странность" он еще слегка и подыгрывает. В Сов. России Василий Казин писал о нем:

Все жесты жесты у него,

От жестов вдохновенно пьяный...

Это верно: в общении Белый держался "на жесте". Может быть, с близкими людьми он был и попроще, хотя вряд ли у Белого даже могли быть "действительно близкие" люди. Казалось, что Белый из тех, кто рожден "одиночкой". Люди ему м.б. вовсе и не нужны. Н.В. Валентинов (Вольский) в молодости очень близко знававший Белого как-то, смеясь, говорил мне: "Белый ведь, как ангел — голова, кудри, плечики, начало туловища, а дальше ничего нет!". При всем том Белый был, конечно, замечателен и "уникален". Интересно рассказывает о тогдашнем Белом Марина Цветаева. На Белого все "смотрели, верней: его смотрели, как спектакль, сразу бросая его одного, как огромный Императорский Театр, где остаются одни мыши". Вот в Берлине они залетели куда-то, на какую-то большую высоту, на какую-то башню. "Стоим с ним на какой-то вышке, где — не помню, только очень, очень высоко. И он, сразлету беря меня за руку, точно открывая со мной мазурку:

— Вас не тянет броситься? Вот так (младенческая улыбка...) кувыркнуться? — Честно отвечаю, что не только не тянет, а от одной мысли мутит. — Ах? Как странно! А я, я оторвать своих ног не могу от пустоты! Вот так, — сгибается под прямым углом, распластывая руки... Или еще лучше (обратный изгиб, отлив волос) вот так..."

Страшный "потрясатель основ российской империи", славословящий буревую стихию революции, скиф, "левый эс-эр", Белый в Берлине, увидав у Марины Цветаевой на столе фотографию царской семьи, взял ее, говоря: "Какие милые... милые, милые, милые!... люблю тот мир..."

В Берлине тогда Белый был в особо взвинченном и трагическом душевном состоянии. Прежде всего он сам не знал: возвращаться ему в РСФСР или оставаться в эмиграции. В припадке душевной и духовной затормашенности (это его выражение) он вызвал тогда из Швейцарии свою жену Асю Тургеневу, антропософку, рьяную последовательницу Рудольфа Штейнера, "доктора", как раздраженно Белый называл его впоследствии. Правда, Тургенева где-то напечатала, что никогда "женой Белого" не была, что это все создало воображение Белого, но в Берлин приехала и их встреча обернулась для Белого пушей трагедией. Ася в Берлине увлеклась совсем уж не антропософом "ни с какой стороны", поэтом-имажинистом А. Кусиковым, тогда приехавшим из Москвы, ни на Штейнера, ни на Белого вовсе не похожим. Так, встреча с Асей лишь усилила неуравновешенность Белого.

Выразилось это странно: в сумасшедшем увлечении танцами. Тогда в Берлине в любой пивной молодежь танцевала шибер, яву, джимми — это все прародители рок энд ролла. И Белый на старости пустился в отчаянный пляс — по пивным, по танцулкам. Он, конечно, подвел под это некую философическую "мистику", так что Марина Цветаева назвала танцы Белого "хриstopляской". По-моему же это было просто обыкновенное несчастье необыкновенного человека. Я, слава Богу, не видел танцующего Белого. И не жалею. Те, что его танцы видели, говорили, что это было весьма грустное зрелище.

И в то же время Белый в Берлине очень много работал: он выпустил новые редакции своих знаменитых романов "Петербург", "Серебряный голубь" и "Глоссалолию. Поэму звуков" в русском изд-ве "Эпоха". В изд-ве "Геликон" — "Записки чудака", "Путевые заметки", в парижских "Современных Записках" опубликовал "Преступление Николая Летаева", выпустил несколько стихотворных сборников: "После разлуки", "Стихи о России", толстый том своих старых стихотворений и замечательную поэму "Первое свидание" (в изд-ве "Слово"), опубликовал и множество статей, всегда двоящихся, как, например, "Культура в современной России" ("НРК" №1): "Культурная жизнь современной России представляет собой пеструю смесь противоречий и крайностей; красота переплетается с безо-

бразием, головные утопии с конкретнейшими достижениями в области искусства, забота о куске хлеба, одежде, дровах переплетается с мыслями о Вечности и Гробе; смерть и воскресение, гибель и рождение новой культуры — все это столкнуто...

Как-то раз мы вместе с Белым вышли из редакции "Н.Р.К.", жили мы примерно в одном районе, недалеко от Викториа-Луизен плац. На Тауенцинштрассе Белый показал мне кивком головы на какого-то седовласого немца в черной крылатке, проговорив: "Взгляните, настоящий рыцарь Тогенбург!" Мне пришлось "более-менее" согласиться. Когда мы дошли до дома Белого, он неожиданно проговорил: "Зайдемте ко мне, я хочу подарить вам мои книги!" Я поблагодарил. Мы поднялись в какой-то пансион. Комната Белого была завалена книгами. "Что вы хотите, чтоб я вам подарил?". Я не был скромн, взял два тома "Петербурга" и "Серебряного голубя". Белый присел к столу и надписал по-русски преувеличенно: — "Дорогому и т.д.", хотя никаким "дорогим" я ему не был, но русские писатели (в противоположность иностранным) любят такие гиперболы. Я поблагодарил и вскоре ушел, ибо видел, что этот "жест" не должен длиться. Жалею, что книги Белого пропали: я их (вместе с другими ценными) дал "в залог" в Тургеневскую библиотеку в Париже, ибо денег у меня не было. А во время войны вступившие в Париж немцы увезли всю библиотеку в Германию, и она погибла там при бомбежке. А была замечательная, основанная еще И.С. Тургеневым.

В Берлине Белый выступал несколько раз с публичными докладами. Публики всегда было много. Но когда Белый касался политических вопросов, начиналась несусветимая какофония. Он готов был и проклинать большевиков и восславлять. И ничего понять толком было нельзя. И все, думаю, потому, что он сам не знал куда же ему, Андрею Белому, в этой мировой катастрофе деваться?

Россия, Россия, Россия

Безумствуй, сжигая меня!

Она его и сожгла. По-моему, Белый был безволен, как ребенок, как юрод. Он умолял Марину Цветаеву, уехавшую из Берлина в Прагу, устроить ему там правительственную стипендию для дальнейшей литературной работы. И как это ни

странно, сама столь непрактичная, Марина через кого-то устроила Белому и квартиру и стипендию, и с радостью послала ему телеграмму. Но телеграмма опоздала: *в этот день Белый уехал... в Москву*. Его "убедила", приехавшая в Берлин из Москвы Клавдия Васильева, старый друг по антропософским увлечениям, ставшая в Сов. России его женой. Конечно, большевицкой Москве Белый был вовсе ненужен, даже обременителен (антропософов большевики всех пересажали в тюрьмы и концлагеря). Но *факт отъезда* Белого из эмиграции в Москву был, разумеется, большевикам нужен. И проведен ловко. В Сов. России Белый был вынужден писать несвободно, искаженно, представлять себя каким-то революционером, "родственным марксизму", и все написанное им там носит эту печать внутренней несвободы, рабства. Условия жизни заставили Белого писать письмо советскому "прокурору Катаняну". Дошел Белый и до унижительного письма Иосифу Виссарионовичу: "Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, заострение жизненных трудностей и бесплодных хлопот вызвало это мое письмо к Вам, если ответственные дела не позволят Вам уделить ему внимание, Вы его отложите, не читая...". Незадолго до смерти Белый написал письмо и "В Совнарком", всё в заступничестве за преследуемых друзей-антропософов (и в частности, за свою жену Клавдию Николаевну Васильеву).

В "Новой Русской Книге" я напечатал литературно-критическую статью о творчестве Белого, но сокращенную. Полностью она вышла брошюрой в берлинском издательстве "Манфред". Знаю, что Белый ее в Берлине читал и она ему не понравилась. Да и не могла. А вот Владислав Ходасевич, встретив меня на улице, сказал: "Прочел вашу работу о Белом. Помоему, вы там верно что-то в нем нащупали". В те дни я увлекался эротическим подходом к литературе. Но когда позднее я написал такую же работу о Ходасевиче и ему о ней пересказала, уже в Париже, его старый друг Нина Ивановна Петровская (с которой я тоже дружил, и об этой "Ренате" из "Огненного Ангела" я еще буду говорить), Ходасевичу это вовсе не понравилось. Статью о нем я долго не решался публиковать и напечатал только в Нью Йорке в 1973 году, в своем сборнике статей "Одвуконь", да и то в смягченном и расплывчатом варианте,

изменив заглавие (неудачно, по-моему). Первоначально она называлась лучше, но уж очень как-то "медицински".

(Продолжение следует)

Sauth Jamesport. N.Y.

Роман Гуль

Постскриптум. Здесь печатается только часть подглавки "Новая Русская Книга". Окончание будет в книге 133 "Н.Ж." вместе с подглавками: "Бегство матери из Сов. России", "Русский Берлин", "Дом Искусств", "Сменовеховство и 'Накануне'" и др. Так как рукопись моей книги непомерно разрастается, то я буду вынужден выпустить "Я унес Россию" в трех томах с подзаголовками: "Россия в Германии", "Россия во Франции", "Россия в Америке". Хочу добавить, что текст в книге будет кое-где отличаться от журнального, ибо для "Н. Ж." мне, к сожалению, приходится иногда сокращать. *Р. Г.*

*

Я душу, словно дочь свою,
Тихонько за руку беру,
И с ней гуляю по двору,
И утешаю, и пою...

Она и в горе хороша,
Но глазки смотрят всё ясней,
И тихо властвует над ней
Иная, старшая душа.

Лия Владимирова

Да ну вас, да ну вас, да ну вас
 (Закат, предпоследний, погас).
 Житейская глупость и грубость
 Уже не касается нас.

Касаются влажные ветки
 Твоей побледневшей щеки.
 Заботы, как серые белки,
 Умчались по веткам, легки.

И где уж, и где уж, и где уж
 Нам выжить в житейской борьбе?
 А души — не ищут, надеюсь,
 Зерна, вроде тех голубей?

Да что там, да что там, да что там —
 И мне, и тебе все равно:
 К иным, нежитейским заботам
 Пускай добавляют зерно.

Пока что — ни много, ни мало,
 Я в парке часок постою,
 Где черная кошка поймала
 Прилежную белку мою.

"Занимательная грамматика":
совершенно возможно
неопределенное наклонение
в будущем времени:
У М Е Р Е Т Ь .

Или — это пример
более определенного наклонения?
форма безусловного будущего?
Пиши: умереть — инфинитив
(сравнить английское инфинити,
бесконечность).

Есть занимательная математика:

возьмем

неопределенное уравнение

энной степени

с четырьмя неизвестными:

СМЕРТЬ = X

(словами: равняется иксу,

не Христу, а — равняется иксу)

плюс, может быть, вечность,

бесконечность,

ноль в периоде или же — два три неизвестных,

абсолютно, мой друг дорогой, неизве — неизвестных,

в энной степени.

Неопределенное положение

в высшей степени.

Игорь Чиннов

ВОЕННОПЛЕННЫЙ № 7172

Хаммельбургский лагерь был действительно огромный. Одни говорили, что здесь не меньше 25-ти тысяч пленных, другие считали эту цифру сильно преуменьшенной. На большой территории у подножия невысоких гор был старый военный городок, состоящий из полутора десятка мрачных кирпичных казарм, административных зданий, конюшен, складов и других помещений.

Лагерь имел много отдельных блоков и отделений. Жили там и пленные союзных армий, жили, по рассказам знающих, не плохо... во многих местах, питание получаемое от лагеря, просто выливали, а жили продовольственными посылками международного Красного Креста. Там были и площадки для игры в мяч, и библиотеки, и даже кино-театр... всё, о чём рассказывали немцы в поезде, там было, но не в блоках, где содержались офицеры из Советского Союза. Лагерь имел кодовый номер С-212.

Паёк был голодный, значительно хуже, чем последний месяц в Лысогорах. Три раза в день, утром в 8, днём в 12.30 и вечером в 6, выдавалось мизерное количество пищи, каждый оставался голодным... Никаких занятий, никаких развлечений, только мечта о том, чтобы хоть как-нибудь успокоить вечно сосущее чувство голода.

Через неделю после приезда в Хаммельбург все прибывшие опять проходили регистрацию. Иногда регистраторы, в большинстве немцы в гражданском платье, ограничивались двумя-тремя вопросами, а иногда почему-то заинтересовавшись отдель-

ным пленным, подолгу беседовали с ним и даже устраивали нечто вроде экзамена. Так случилось и с Шеговым.

С Шеговым разговаривал немец, говорящий по-русски довольно правильно, но с сильным акцентом. Он назвал себя инженером Мейхелем и минут пятнадцать расспрашивал Шегова о его практической работе после окончания института. На следующий день Шегова опять вызвали, и тот же Мейхель продолжал расспросы. Он положил на стол чертежи каких-то механизмов и попросил Шегова рассказать, что он видит на этих чертежах.

— А как вы сами чертите, господин Шегов? — спросил Мейхель.

— Без излишней скромности, хорошо. Кроме того, что я инженер-механик, я ещё и не плохой график.

— Вот вам бумага, карандаш и вот эта вещь, — Мейхель вынул из портфеля довольно сложной конфигурации деталь какой-то машины. — Можете сделать грамотный эскиз от руки в трёх проекциях и с разрезом вот в этой плоскости?

— Могу, конечно. — Шегов сделал эскиз, Мейхель остался очень доволен.

— Прекрасно, очень грамотно сделано, мы с вами ещё увидимся, господин Шегов, до скорого свидания.

На следующий день Шегова переселили в другой барак в комнату, где как оказалось были собраны все те, кто имел долгие разговоры с инженером Мейхелем. Это была отобранная группа для работы в каком-то конструкторском бюро. Полковник Горчаков, который сделался комендантом блока, назначил Шегова старшим комнаты.

В комнате было двадцать восемь инженеров, с опытом в работе по проектированию, все были инженеры-механики. Дни проходили за днями, было уже отправлено на работы не мало рабочих команд, а "чертёжники" продолжали сидеть в своей комнате, о них как бы забыли.

Уехал на какой-то завод Тарасов, уехали Алёша Бондаренко и Передерий. У Шегова образовался новый круг приятелей в комнате, где он был старший. Изредка он встречался с Горчаковым, но у того теперь было другое общество полковников и генералов. Здесь в Хаммельбурге оказались генералы из Замостья

и генерал-лейтенант Карбышев был среди них. В генеральском бараке некоторое время жил и Яков Джугашвили, сын Сталина, но его скоро куда-то увезли. В генеральский барак простым смертным ходить не разрешалось. Полиция в лагере была, но вела себя очень корректно, среди них было много вполне порядочных людей, но среди пленных, переживших террор полицаев в лагерях зимой в Польше, к полициям и переводчикам отношение было настороженное.

Каждое утро на проверке вызывалось человек 20-30, по кем-то составленным спискам и эти бригады уходили на работу. Иногда они попадали на работу к окрестным крестьянам, тогда они возвращались вечером в лагерь сытые, посвежевшие и повеселевшие.

В комнате Шегова составила "пулька" преферансистов. Сам Шегов, капитан Мельников, майор Бедрицкий и лейтенант Шмаков иногда играли целый день напролёт, до полного обалдения, лишь бы хоть как-нибудь убить время.

Как-то после утренней проверки "преферансисты" сидели перед баракom и лениво перебрасывались словами. Все были вялые, даже карточная игра не привлекала. Всё надоело, всё осточертело и пустые желудки всё время напоминали о себе. Шегов точил два лезвия для безопасной бритвы, пользуясь занятым для этого у Горчакова стаканом. Он сбрил бороду, но оставил усы прикрывающие шербину во рту, после потери двух зубов в памятный день избиения его в 13-м бараке.

-- Который час? Кто знает? -- спросил Бедрицкий. -- Сегодня как-то особенно жрать хочется... просто терпения нету...

-- Скоро обед. Сейчас уже без четверти 11, -- ответил Мельников.

-- А ты откуда знаешь? Да ещё так точно "без четверти 11"? -- заинтересовался Шегов. -- Как-будто на часы глянул.

-- Почти что так. Вот видишь тень от этого столба касается тех светлых камней? Когда тень будет вправо от них, чуть-чуть вправо, будет ровно одиннадцать. Я проверял по часам у переводчика Владшевского... а когда тень коснётся края клумбы, будет ровно 12, -- объяснил Мельников.

Да? Это интересно, вроде как солнечные часы, значит.

-- Не вроде, а настоящие, примитивные, но точные.

— Подожди Мельников... а что если мы сделаем по-настоящему солнечные часы? Понимаешь? По-настоящему, с цифрами, с теневой стрелкой с циферблатом. Можно будет до минуты читать время, если хорошо сделать. Ей Богу, это идея! И интересная и вполне достижимая и полезная для всего блока... Кто за?

— Да, ну, чепуху выдумал... какой смысл тратить последние силы? Я не получаю столько калорий, чтобы зря расходовать энергию, — недовольно заметил Мельников, кряхтя, поднимаясь. — Брось людей смешить, Шегов.

— Эй... а я думаю, что это не плохо придумано. Я "за", — сразу согласился Шмаков. — Как ты, Ваня? — обратился он к своему другу.

— Присоединяюсь, предлагаю свою помощь, — согласился Ваня Ларионов.

— А... с ума вы сходите, "господа офицеры". Кому это нужно? — сказал Мельников и с явным раздражением ушёл.

— Ну так как? Займемся этим делом? Я поговорю с Владшевским и узнаю, можно ли это делать, позволят ли немцы. А если мы разрешение получим, то можно сделать вот как... — и Шегов с увлечением стал рассказывать, как он думает устроить эти солнечные часы.

После обеда Шегов поговорил с главным переводчиком блока Владшевским. Станный человек был этот Владшевский. Он безукоризненно говорил и по-немецки и по-русски, без всякого перескакивания с одного языка на другой. Переводы его были мгновенны и точны. Человек высокого роста, плотного сложения с большой лысиной. На вид ему было лет 40-45, а может и больше. Собственно странность его заключалась в его лице, оно было лишено всякого выражения... Иногда даже неприятно было смотреть на него, как будто он надел на себя маску. Холодные голубые глаза никогда не меняли своего спокойно-наблюдательного выражения, губы никогда не улыбались и голос его всегда звучал одинаково спокойно, тихо, но внятно. Если он не выполнял своих прямых обязанностей, то всегда лежал на спине, на скамейке у дверей своей отдельной комнаты в конце 3-го барака и смотрел в небо. Откуда он был, из каких частей, какого чина, когда он попал в плен, никто не знал.

Немцы явно относились к нему с уважением, полиция и русская комендатура тоже. Он ни во что не вмешивался и не хотел играть никакой роли в жизни лагеря, всем своим видом и поведением подчёркивая, что он переводчик и только переводчик... переводящий автомат.

Когда Шегов подошёл, Владшевский лежал на своём месте в излюбленной позе и, чуть-чуть повернув голову в направлении Шегова, спросил:-- Ну? Говорите.-- Шегов рассказал ему об идее устройства солнечных часов и попросил узнать можно ли этим заняться.

-- Узнаю.

-- И тогда скажите мне. Мы хотим устроить эти часы на склоне против 5-го барака.

-- Хорошо, скажу Вам когда узнаю.

-- Спасибо, господин Владшевский.

-- Пожалуйста, господин Шегов. -- И Владшевский снова стал смотреть в небо.

Перед раздачей ужина, Владшевский сказал, что ни немцы, ни русская комендатура не возражают против идеи Шеговских солнечных часов.

Весь вечер Шегов с Шмаковым и Ларионовым занимались проектом часов. Начертили схему, окончательно выбрали место, посмотрели, где и какие камни можно использовать для цифр и минутных отметок, даже когда легли спать, еще долго шопотом переговаривались, вызывая раздражённые замечания Мельникова. Шегов так увлёкся проектом, что долго не мог заснуть, представляя себе, каковы будут его часы в готовом виде.

Утром "энтузиасты" рьяно принялись за свой проект. К ним присоединился и майор Бедрицкий, все четверо проработали до самого обеда, вызывая насмешки и замечания всех, а в особенности Мельникова, иронически окрестившего место работы "строительной площадкой".

-- А ведь здорово получается? -- сказал Ваня Ларионов. -- Правда, "главинж"?

-- Без сомнения! Очень здорово! -- ответил Шегов удовлетворённый тем, как начал вырисовываться циферблат часов.

После обеда, когда Шегов со своими помощниками стали снова возиться с камнями, неожиданно один немецкий ефрейтор

предложил свои часы для разметки и стал давать советы и предложения, но так как его плохо понимали, он вызвал Владшевского. Ефрейтор потом ушёл и вскоре вернулся, неся в руках большой котелок обеденного супа с немецкой солдатской кухни.

— Я знаю, что вы все голодны, вот поешьте. А идея мне очень нравится... и я помогу вам, — сказал он.

Как только ефрейтор ушёл, сразу появилось много желающих помогать и принять участие в работе. Вчерашние иронизирующие и насмехающиеся скептики сделались доброжелательными, симпатизирующими и жаждущими хоть как-нибудь услужить. Они предлагали помощь — и... мешали работе. "Строительная площадка" теперь была окружена плотным кольцом зрителей и "помощников". Даже Мельников пристал к Шегову.

— Говори что делать! Если платят, то и я могу камешки раскладывать.

Шегов оказался в трудном положении, такое количество помощников было не нужно, но и отказать было трудно. Порция немецкого супа была большой ценностью. Положение спас тот же ефрейтор. Он снова появился, разогнал всех мешающих, вызвал Владшевского и через него спросил Шегова,

— Сколько людей нужно, чтобы закончить работу завтра?

— Ещё четыре, — подумав, ответил Шегов.

— Выбирайте себе этих людей.

Шегов позвал Мельникова и ещё трёх из своего барака. Ефрейтор приказал Владшевскому сделать список и поставил одного из полицейских охранять порядок на "строительстве".

— Неожиданный успех, всеобщее признание и всеобщая зависть! Вот что может сделать один котелок с остатками супа с немецкой кухни! — смеялся Шегов, — даже специальная охрана поставлена! Уверен, друзья, что этот шваб и завтра принесёт суп на всю братию.

Ожидания Шегова и всей группы "часовщиков", как их стали называть в лагере, оправдались. На следующий день, как только они пришли на работу, появился и их новый шеф-ефрейтор и принес большую буханку хлеба и восемь кусочков колбасы. Кроме того, он дал каждому по четыре сигареты и пообещал на

обед принести суп из солдатской кухни. Работа продвигалась быстро. В лагере было много камней разного размера и разной окраски. Весь циферблат выложили плоскими желтовато-серыми камнями, он представлял собой почти три четверти круга с разметкой времени от 6-ти часов утра до 8-ми часов вечера. Цифры были почти из красного камня, а прочие детали, как ограничивающие линии, десятиминутные отметки и другие из сине-зелёного. В центре была сооружена красочная груда камней, поддерживающая наклонный шест, дающий теневую стрелку часов. Шест аккуратно выструганный и выкрашенный в красный цвет принёс сам "шеф".

Во всё время работы вокруг толпились любопытные и... завидующие. Конечно, если бы не постоянное присутствие полицейского, то работу пришлось бы прекратить. Приходили посмотреть на "строительство" и немцы из лагерного управления и свои же из русской комендатуры, приходил и полковник Горчаков, даже Владшевский, без вызова появился раза два. Шеговские часы превратились в "сенсацию дня".

После обеда, на этот раз двойного, т.к. ефрейтор выполнил своё обещание принести "экстру", работа приближалась к концу. Шегов и Бедрицкий кончали укладку цифр, сосредоточенно подбирая последние кусочки камней по форме и цвету. Шегов с увлечением занимался этим подбором, насвистывая что-то и не замечая окружающего. Вдруг Бедрицкий резко встал.

— Ты что, майор, кончил? — не поднимая головы от своего занятия спросил Шегов. — Мне нужно ещё десяток среднего размера, можешь подобрать их?

— Шегов, посмотри... — как-то особенно веско сказал Бедрицкий. То что Шегов увидал, подняв голову, заставило его тоже быстро подняться на ноги.

В нескольких шагах от них стояла группа отутюженных, накрахмаленных и блестящих сапогами и портупьями немецких офицеров. Впереди всех стоял сам "Герр Ротмистр", верховный начальник всех Хаммельбургских лагерей. "Герр Ротмистр" был высокий старик, с моноклем в левом глазу и короткими "кайзеровскими" усами под крупным костлявым носом. Мундир кавалерийского офицера безукоризненно сидел на его худощавой фигуре, на шее висел рыцарский крест. Сияющие

нестерпимым блеском сапоги со шпорами, кавалерийский стек под мышкой, а на голове надетая чуть набекрень, помятая, выдавшая виды, с грязным жёлтым околышем, кавалерийская фуражка старого прусского образца. До сих пор, Шегов видел его только один раз и тогда. его появление в блоке вызвало целый хор истерических воплей немецких унтеров и русских полицейав: Ахтунг! Штиль гештанген! Ахтунг!

По примеру Бедрицкого, Шегов встал и отдал честь. — Как это так случилось, что он так тихо подошёл? Почему полиция не предупредила всех? — подумал он. Ротмистр что-то сказал и из его свиты вышел молодой офицер.

— Господин комендант хочет задать вам несколько вопросов, — сказал он по-русски с некоторым акцентом. Весь дальнейший разговор продолжался при помощи этого офицера.

Как ваше имя и ваш ранг?

Шегов, Николай. Майор инженерных войск.

Кадровый?

Нет, мобилизованный.

— Эти часы, ваша идея?

В основном...

— Почему вы начали это делать?

— Наверно от того, что устал от безделья.

Ротмистр усмехнулся и что-то сказал, в группе офицеров раздался смех. Ротмистр, чуть прихрамывая, обошёл "строительство", и разговор продолжался.

Вы и раньше когда-нибудь делали подобную работу?

— Нет... не приходилось.

— Вы хорошо придумали и красиво сделали. Господин комендант благодарит вас и ваших помощников. — Шегов промолчал. Ротмистр опять что-то сказал, обращаясь к своим офицерам. Те одобрительно закивали головами, а один из них, шелкнув каблуками, сказал: — Йа вольт, герр комендант!

— Вы по специальности инженер?

— Да.

Какой инженер, строитель?

— Нет, механик.

— Вы любите музыку?

— Да... — Шегов с недоумением посмотрел на Ротмистра.

— Что вы насвистывали, когда мы подошли?

— Насвистывал?... не помню... а впрочем, кажется Кампанеллу Бизе...

— А немецких мастеров вы знаете?

— Некоторые... -- Шегову начал надоедать этот разговор в присутствии такого большого количества молчаливых слушателей. Вокруг "строительства" собралось наверно всё население блока.

— Можете назвать некоторых по памяти?

— Вагнер, Шуман, Бетховен... -- Шегов пожал плечами, -- Шуберт, Гайдн.... до известной степени Моцарт и Штраус, тоже были немцами...

— Вы сами играете на рояле?

— Очень любительно.

Ротмистр внимательно посмотрел на Шегова и медленно поднёс руку к козырьку своей фуражки: "Ауф видерзеен, майор", — сказал он и пошел к воротам блока, а за ним вся его свита и лагерное начальство.

Шегов и его приятели сделались знаменитостями, до самого ужина в блоке только и говорили о "часовщиках" и о посещении Ротмистра. Все были уверены, теперь "часовщикам" будет выдаваться "экстра" и что к ним будет особое внимание и особое отношение со стороны администрации. Но когда ничего особенного не случилось и при раздаче ужина Шегов и все остальные его товарищи по работе получили свой обычный тощий рацион, -- было общее разочарование и даже злорадство.

— Даром спину гнули! Награда: Данке зер и жри свою баланду! Ну, и можешь играть на "губариках" Шопена... на сладкое, если приспичит!

Но сам Шегов всё же был доволен, часы получились прекрасно и было приятно, что это его идея и его выполнение.

Перед самым отбоем, даже Владшевский сам подошёл к Шегову и сказал.

— Довольно удачно получилось, майор Шегов... известное украшение в блоке, и камни очень хорошо подобраны.

Шегов лёг на свою койку и хотел подумать о каком-нибудь новом проекте, но скоро заснул, не придумав ничего.

Но на этом история с солнечными часами не закончилась...

она получила совершенно неожиданное продолжение.

Утром на проверке, когда вызывали назначенных на работы, Шегов вдруг услышал своё имя, "Шегов, Николай!"

— Ну майор, начинаешь получать прибыль на капитал! Повезло наконец... что и говорить удачная была идея соорудить эти часы... но мысль эту тебе я подкинул... с тебя могарыч причитается! — сказал Мельников, когда Шегов выходил из строя.

— Свою долю получишь... я знаю, "долг платежом красен!" — ответил Шегов и подошёл к группе назначенных на работы.

Получилось всё как-то странно. Рабочие группы ушли, а Шегова отдельно вывели за ворота блока и привели в барак, где помещалась общелагерная полиция. Пришёл один из старших полицейских.

— Вы, майор, назначены на работу по специальному приказу коменданта лагерей. — Он критически осмотрел Шегова с ног до головы. — Я сейчас принесу вам чистый комплект обмундирования... У вас вшей нет? Вот и прекрасно... побрейтесь... вот тут бритва и мыло...

Через 20 минут, Шегов побритый и одетый в чистую, правда, не совсем новую и слегка помятую гимнастёрку, в английские брюки и в совершенно новых, рыжей кожи, грубых ботинках, ехал на маленьких дрожках, сидя рядом с солдатом на заднем сиденьи. Правил лошастью мальчишка лет 14, а может даже и меньше. Ехали довольно долго по горной лесной дороге, поднимаясь всё выше и выше. В одном месте выехали на край обрыва и открылся замечательный вид. Далеко в долине лежал город Хаммельбург, ещё покрытый утренним туманом, ближе к обрыву, как на ладони был виден весь лагерь военнопленных. Только сейчас Шегов увидал сверху, какую большую территорию занимает лагерь.

— Да... можно поверить, что здесь не менее 30, а то и 35-ти тысяч, на попечении герра Ротмистра... — подумал он. — Какая же работа ожидает меня? Солнечные часы делать для герра Ротмистра? Или может играть одним пальцем Лунную Сонату, ему для увеселения... Во всяком случае жрать дадут и наверно не плохо...

Дорога снова стала подниматься и делать крутые повороты. Послышался сзади рожок автомобиля, и дрожки обогнал

маленький спортивного типа экипаж с двумя женщинами, потом уже дрожжи, обогнали два больших воза с сеном. Ещё несколько поворотов и свернули к большим каменным воротам. На старых заржавевших решётках ворот были какие-то гербы и эмблемы. По короткой дороге выехали на широкую площадку и остановились перед... замком! Да это был настоящий средневековый замок... небольшой, но замок! Широкое крыльцо, высокие окна за коваными тяжёлыми решётками, надстройки, башенки, огромные дубовые двухстворчатые двери, обитые железом. Вся постройка была из местного серовато-жёлтого камня, того самого, из которого сделали циферблат часов, там в лагере.

Шегов не успел хорошенько рассмотреть постройку, как двери открылись, и он со своим конвоем оказался в широком двусветном помещении, вроде большого вестибюля. Всё внутри было из тёмного массивного дуба. Справа и слева широкие пологие лестницы. Резные дубовые панели на стенах, большие неясные картины в тяжёлых золочёных рамах, тёмные портьеры с шнурами и кистями, с потолка на цепи спускалась многопудовая люстра. Вся стена напротив входа была с огромными окнами, сквозь них были видны горы, широкие дали и безграничное небо. По обе стороны дверей в этой стеклянной стене стояли две фигуры рыцарей в латах и шлемах с перьями. Шегов с интересом осматривался. Первый раз в жизни он попал в такое место. Всё было похоже на декорации или старинные гравюры... или на видение во сне. Над окнами была высечена на камне стены какая-то надпись, Шегов вспомнил что такая-же надпись была и на наружной стене над входом. Но долго не пришлось осматриваться. С лестницы спустился вчерашний молодой лейтенант, говорящий по-русски, и довольно приветливо улыбнулся.

— Здравствуйте, майор. По приказу господина Ротмистра, вы проведёте весь сегодняшний день здесь. — Он подошёл к стене с окнами и широко открыл дверь. — Под охраной этих двух рыцарей, — офицер с усмешкой показал на фигуры. — Идите сюда, майор. Здесь на этой террасе вы будете до 7-ми часов вечера. Вам будут приносить еду... мой совет, будьте умеренны, я знаю, что последний год вы не имели достаточного питания... Вот здесь патефон, электрический, вы знаете как управлять им? — Шегов кивнул головой. — Прекрасно, вот

несколько дисков... разная музыка... классика, преимущественно...

— Вы хорошо говорите по-русски. Вы русский? — спросил Шегов.

— А вот журналы и книги, — продолжал лейтенант, как бы не услышав вопроса, — к сожалению, всё немецкие, а впрочем, вот одна русская. Одним словом — отдыхайте. Если вам понадобится что-нибудь, позвоните, вот звонок... понимаете, например, пойти в уборную...

— Этот дом, вернее замок, принадлежит господину Ротмистру?

— Всего хорошего, — опять не ответил на вопрос лейтенант. — Отдыхайте.

— Но что я должен делать? Мне в лагере сказали, что я назначен на работу.

— Они ошиблись, никакой работы от вас не требуется. До свидания, — немец вышел, но в дверях повернулся снова к Шегову. — Вас будет обслуживать один старик, он немного понимает по-русски и даже может сказать несколько слов.

Он вышел, плотно притворив за собой двери, и сразу на всех окнах первого этажа, выходящих на террасу, изнутри закрылись шторы. Шегов остался один.

— Не захотел разговаривать! Ну и дьявол с ним. — Шегов подошёл к барьеру и замер от неожиданности.

Замок был построен на краю скалы, а сама терраса метра на два выступала над обрывом. Перегнувшись через барьер, Шегов глянул вниз и у него даже голова немного закружилась. Далеко внизу шумела небольшая горная речка, обрыв был почти вертикальный, до дна было наверняка метров 150, не меньше. Влево от террасы под углом уходил фасад замка и ровная гладкая стена его опиралась на скалу. На первом этаже окон не было, в конце фасадной стены была построена выступом круглая башня и на самом вершине ее, очевидно, была площадка, там был виден большой солнечный зонтик ярко-оранжевого цвета. — Совсем как на пляже в Одессе... — подумал Шегов. Значительно ниже уровня террасы, прямо в скале были проделаны два окошка и дверь, выходящая на маленький железный балкончик, а рядом с балкончиком какое-то странное сооружение с барабаном на оси и

торчавшими рукоятками. Присмотревшись, Шегов понял, что это свёрнутая лестница на цепях. — Ишьты! Запасный выход, прямо вниз к речке... ловко придумано. — Вправо от террасы была глухая стена во все три этажа и угол этой стены, выступая вперёд, скрывал за собой эту сторону постройки. На террасу из вестибюля выходили высокие в два этажа окна, а над ними ещё один ряд окон третьего этажа.

На террасе было несколько стульев, три шезлонга и разные столики. На одном из них у окна стоял патефон и в отдельном ящике несколько пластинок, на другом у одного из шезлонгов, была аккуратно сложенная стопка журналов и несколько книг. Вдоль барьера и у стен в больших каменных вазонах росли незнакомые деревца, сплошь покрытые лиловыми крупными цветами.

Противоположная сторона ущелья была более покатая, сплошь покрытая лесом, а за лесом снова поднимались голые скалы. Влево открывался широкий вид на долину. Утро было не особенно ясное и лёгкий туман скрывал детали, только неясно была видна линия железной дороги, постройки около неё и мост через речку при выходе её из ущелья, остальное внизу терялось в сероватой дымке, но небо было голубое, ясное, с белыми облаками и совершенно необъятное.

— Хорошо, Николай Петрович, давайте интеллигентно разберёмся в создавшейся ситуации... "Что мы имеем на сегодняшний день?" — как принято выражаться на собраниях актива, — думал Шегов, присев на один из шезлонгов. — Военнопленный советский майор Шегов, произвёл впечатление на "герра Ротмистра", и тот решил наградить этого бывшего инженера, придумавшего построить солнечные часы в подведомственном "герру Ротмистру" лагере законсервированных солдат вражеских стран, и знающего, что Бетховен и Вагнер были немцы... десятичасовым отдыхом от шумного, грязного и голодного лагеря, одиночным заключением с, будем надеяться, усиленным питанием, патефонной музыкой и красивыми картинками в журналах в своём родовом замке... Любопытно! Но так как всё это сделано без пропагандной шумихи, без "широковещательной рекламы", тихо и, очевидно, из наилучших побуждений... спасибо, господин Комендант! Принимаю!

Шегов лёг на спину и стал смотреть на плывущие облака.

— А эта одиночка не плохо устроена, отсюда не сбежишь, только покончить жизнь самоубийством очень легко. **Прыжок** и... капут! Только мешок с костями останется, если и он не лопнет при падении с такой высоты. Ну да я ещё поживу... уж если Замостье пережил, то хуже вряд ли может быть. Поживём мы с вами, дорогой Николай Петрович... должна же когда-то мадам Судьба и улыбнуться мне, по теории вероятности... не всё же ей плевать, щипаться, пихаться и бить меня несчастного по мордам...

Скрипнула дверь. Шегов сел и повернулся на звук. Из дверей вышел маленький старичок с большим подносом в руках. Он поставил поднос на стол, пододвинул стул и, взглянув на Шегова, сделал приглашающий жест:

— Нех пан жовнир сядзе цум ессен... розуме пане?

— Розуме, спасибо.

Попытки Шегова поговорить с стариком не увенчались успехом. Или старик плохо понимал, или не хотел вступать в разговоры, а может быть, это было ему запрещено. На все попытки Шегова, старик отвечал совершенно невразумительным мычанием.

— Фу-ты, ну-ты... вот это да... — Шегов с недоумением и восхищением посмотрел на завтрак, сервированный на столе, как в хорошем ресторане: два горячих яйца в "рубашечке", поджаренный хлеб, масло, сыр, варенье в вазочке, сдобная булочка и настоящий ароматный кофе со сливками и сахаром. — Я уже и забыл, когда я ел такой завтрак! — Пока Шегов наслаждался едой, старик стоял у барьера и смотрел вдаль, не поворачиваясь к Шегову, но едва Шегов кончил и вытер губы кремовой салфеткой, старик, как будто у него были глаза на затылке, сразу подошёл, собрал посуду и поспешно нырнул в двери.

— Не плохо... не плохо. В такой одиночке можно и посидеть. Это не то, что в НКВД на Чернышевской в Казани! — Шегов стал рассматривать пластинки, их было восемь штук: Бетховен, вальсы Штрауса, Чайковский, Вагнеровская "Тристан и Изольда", пластинки немецкой народной музыки и Сен-Санс. Для начала концерта Шегов поставил Штрауса, и когда разда-

лись знакомые звуки "Венского вальса", начал пересматривать книги.

Снова появился старичок и принёс с собой графин с какой-то розовой водой и две пачки сигарет. Молча поклонился и снова скользнул в двери.

-- Ну, это ещё лучше, закурим значит... -- но спичек не оказалось, забыл их в кармане старых брюк. Пришлось позвонить. Старик появился мгновенно, он наверно был у самых дверей, за портьерой.

-- Пристально наблюдает! -- подумал Шегов. -- Спички, запалки... фойер... понимаете? -- попросил он, показывая сигарету и делая соответствующие жесты.

-- Пшепрашем пане, пшепрашем, -- старик вынул из кармана жилетки плоскую зажигалку и передал её Шегову.

-- Данке зер, -- поблагодарил Шегов.

-- Битте...битте... -- и старик снова исчез.

Шегов закурил и, переменив пластинку, снова вернулся к книгам. Томик стихов неизвестного еще автора, не то научные, не то философские трактаты, напечатанные мелким готическим шрифтом, роман очевидно из рыцарских времён, с иллюстрациями, большая толстая книга с большим количеством схем, таблиц, диаграмм и фотографий, с простым и понятным названием: "Металл" и книжонка на русском языке. "Общие руководства и полезные советы для русских путешественников по Баварии". Книжка была выпущена издательством "Вольф" в городе Сячкт Питербурге в 1907 году... Кроме того, на столе лежало порядочное количество разрозненных журналов "Die Woche" и "Der Jagd", почти все журналы были ещё довоенного времени. Шегов не знал немецкого языка, он с трудом и очень медленно мог читать, но без словаря почти ничего не понимал. Он взял несколько журналов и "Общие руководства..." и с комфортом улёгся на шезлонге. "Общие руководства" начинались фразой:

"Прекрасные, покрытые лесом горы, кристаллически чистые и бурные потоки и ручьи, приятный климат, вежливое и предупредительное обслуживание в местных гостиницах и пансионах, делают путешествие по горной Баварии непрерывной цепью приятностей..."

Советы относящиеся к уже ушедшим временам, отдавали запахом нафталина. Шегов просмотрел несколько страничек. В одном месте он прочёл:

"Рекомендуется не вступать в споры и пререкания с полицейскими чинами, ибо сие обычно чревато неприятными последствиями". -- Вот это правда, это знает каждый пленный... Полицейские чины могут досадить "неприятными последствиями", по собственному опыту знаю, -- усмехнулся Шегов. На другой страничке, его внимание привлёк ещё один совет:

"Желательно иметь при себе немецкие деньги, марками именуемые, и при расходовании их, проверять цены покупаемого товара у осведомлённых людей, во избежание обščёта и недо-разумений" -- Ну это неважно... пленные живут на социалистических основаниях... "Каждому по потребности и от каждого по способности!"... потребности у нас минимальны: хоть на одну треть наполненный желудок, а все способности атрофировались.

Самой интересной частью книжки были фотографии и краткие пояснения к ним. Перелистывая эти страницы, Шегов натолкнулся на фотографии замка, в котором он находился. На фото был снимок фасада, около входной лестницы был виден экипаж, запряженный парой лошадей, и несколько человеческих фигур, а под картинкой пояснение:

"Замок Рюнберг, родовое имение баронов Рюнгольм, построенный в 1796 году на месте старого, оригинального замка уничтоженного пожаром в 1754 г. Барон Рудольф Вольфганг фон Рюнгольм построил этот замок, сохранив архитектуру и общее расположение старого замка, несколько уменьшив пропорции". Вторая фотография показывала вид замка со стороны долины, внизу была надпись: "Орлиное гнездо баронов Рюнгольм".

На фасаде замка, можно было прочесть надпись, заинтересовавшую Шегова:

RÜNBERG — ANNO MDCCXCVI

-- Теперь всё понятно, наверно герр Ротмистр потомок славного рода баронов Рюнгольм, баварских рыцарей... чем они, его предки. занимались, я не знаю, но сам герр Ротмистр на службе у "фюрера", и должность его у меня не вызывает чувства восхищения. Времена меняются и баварские бароны-рыцари, превращаются в тюремных надзирателей... может вынужденно.

”скачи враже, як пан каже!”, так ведь говорится.

Шегов закрыл глаза и хотел подремать, но непривычно сытный завтрак, начал чувствоваться... пришлось позвонить. Старик, как и в первый раз, сразу появился в дверях и, не ожидая слов Шегова, сделал приглашающий жест, идти за ним.

— Понятливый старикан! — подумал Шегов, следуя за стариком через вестибюль. Вернувшись после визита в ”места не столь отдалённые”, Шегов снова улёгся на шезлонге подремать, но спать уже не хотелось. Он стал листать журналы, рассматривая иллюстрации, стараясь разбирать надписи. Случайно посмотрев вверх, он увидел, что на верхней площадке круглой башенки, под оранжевым зонтиком стоят две женщины и одна из них наблюдает ёго в бинокль. Это была та же женщина, которая сидела за рулём маленького автомобиля, обогнавшего бричку на дороге к замку. Он узнал её по цвету её голубого платья.

— Наблюдают, как зверя в зоопарке! — стало неприятно. Он встал, подошёл к краю площадки и помахал женщинам рукой. Обе мгновенно исчезли. Шегов передвинул шезлонг так, чтобы его можно было видеть только из окон вестибюля. — Хватит одного зрителя... по должности, а не любопытствующих дамочек! — Шегов снова лёг и задремал.

Его никто не тревожил. Было уже за полдень, когда Шегов проснулся. Выпил стакан розовой воды из графина, оказавшейся очень приятным на вкус лимонадом, закурил и снова подошёл к барьеру террасы. Было так тихо и спокойно. Дали всё ещё скрывались в лёгком, теперь ставшем лиловатым, тумане. Из ущелья доносился шум потока, да изредка были чуть слышны гудки паровозов. Ни одного живого существа, только высоко над лесом два коршуна, а может и орла, не шевеля крыльями, описывали широкие круги, высматривая добычу. Небо было бледно-голубое, пронизанное солнечными лучами. Внизу, наверно, было жарко, но здесь на террасе ветерок приносил прохладу из ущелья. Снова заскрипела дверь и появился старик.

— Пан бендзе есен? Пшепрашем... розумиш мих?... пане?

Есть фактически не хотелось, но пленный не мог допустить такой роскоши и отказаться от предложенной еды.

— Давай, папаша... принеси немного и кофе тоже. Понятно?

— Пунятно, пунятно, пан жовнир... пшинесем, — и через не-

сколько минут принёс несколько бутербродов, чашку кофе и сдобную булочку.

И снова Шегов остался один. Он вернулся к барьеру и стал смотреть на ущелье, на лес, на горы и высокое небо. Теперь над лесом кружились три птицы. Внезапно одна из них как камень сорвалась с своего полёта и исчезла в верхушках деревьев.

Ну вот... и она подзакусит... зазевалась какая-то зверушка... А всё-таки скучно... даже в этой первоклассной одиночке с усиленным питанием... скучно! Отвык быть наедине с самим собой. Вот уже почти год ни на секунду не оставался без компании, ни ночью, ни днём... даже в уборной всегда соседи есть. Вот и думать разучился, да и о чём думать-то? Вспоминать прошлое, навеки исчезнувшее? Думать о будущем, которое является величиной совершенно неизвестной и пугающей? О настоящем, сведённом до голого животного инстинкта-желания наполнить сжавшийся до минимума желудок? Как у этой птицы... Нет, дорогой мой майор Шегов, думать не надо... вредно это! Вот смотри на горную Баварию из орлиного гнезда баронов Рюнгольмов, наслаждайся ощущением сытости и преисполняйся чувством благодарности к этому старомодному барону в помятой кавалерийской фуражке... Наверно он в ней скакал во главе своего эскадрона на кровном скакуне, по полям Галиции или Эльзаса во времена кайзеровской авантюры...

Туман редел и отступал, теперь яснее была видна станция и несколько домиков при выходе речушки из ущелья. Можно было рассмотреть несколько людей, работающих в огороде на берегу.

— Живут... Семья, дети... отцы, конечно, на войне, может и убиты уже... а может и дома, без ноги или руки... Домики, на окнах герань даже возможно канарейка в клетке посвистывает... стол в комнате накрыт белой скатёркой, а на кресле вышитые салфеточки... Мещанский уют! А что собственно плохого в этом? О, мой Бог! какое это счастье пожить в таком домике в тихом и спокойном углу "горной Баварии" ... Жена, уют, ребятишки на твоих коленях... Война, Жлобинский разгром, Замостье... Ну кончится война, а потом? Что потом? Концлагерь за полярным кругом? Расстрел на месте ребятами из СМЕРШ-а? Бегство в незнакомые, чужие страны, без языка, без надежд, без друзей... всё начинать с самого донышка, ведь не юноша... четвёртый

десяток на половине... Может самым правильным решением было бы... вот туда, на эти камни. Раз и готово! И все проблемы разрешены... только одно небольшое усилие воли и нет ни прошлого, ни будущего, ни... настоящего. — Шегов перегнулся через барьер и внимательно рассматривал камни о которые разбивались струи воды. — Только мешок с костями... Господин барон... прикажите к мешку прицепить бирку с номером... там в канцелярии вашей знают. Может понадобится для отчёта там в Берлине перед начальством. А может и перед Тем... сидящим где-то высоко, высоко и почему-то допускающим все эти безобразия, творящиеся здесь внизу на этом обезумевшем шарике... Ну что ж Николай Петрович? Хватит у вас этой самой силы воли? Вон те камешки... очень пригласительно выглядят... Раз и всему, абсолютно всему "капут"! — Шегов оторвал взгляд от камней, глубоко вздохнул и посмотрел на горы, дали и небо... На башенке под оранжевым зонтиком, снова стояли те же две женские фигуры с биноклем...

— О... чёрт вас забери... Нет, не дождётесь такого спектакля! Хоть может и надеетесь на это зрелище. Прыгайте сами... к дьяволу в лапы!

Шегов демонстративно поднял голову и, заслонив глаза от солнца ладонью, стал смотреть на женщин. Несколько мгновений они смотрели на него, а он на них. Шегов сделал рукой жест приветствия, женщина в голубом платье, ответила и обе скрылись за парапетом башенки.

Шегов быстро подошёл к патефону и не выбирая поставил пластинку, повернул регулятор громкости на полную силу, постоял, тупо смотря на вращающийся диск и не слушая музыку... — А, пожалуй, мог бы перепрыгнуть... если бы не эти бабы... и было бы "аллес капут"! Он снова подошёл к краю площадки и сперва глянул на башню, там было пусто, а потом вниз на камни и покачал головой.

— "Номер не удался"... как говорится... К лучшему или худшему... откладывается до другого нервного шока... И хоть бы одна живая душа... — Он подошёл к звонку. — Позвоню... Появился старик, покосился на патефон и вопросительно глянул на Шегова.

— Можно пройти в туалет?

Старик шире открыл двери, пропуская Шегова, — Проше пана.

Большие стоячие часы с гирями и тёмным циферблатом в дубовом резном футляре показывали без четверти шесть.

— Хоть бы ты, папаша, поговорил со мной...скажи... Как звать тебя? Откуда ты здесь взялся?...

Старик испуганно взглянул на Шегова и, приложив палец к своим губам, прошептал. — Не можно мовляты... бефель! ганц ферботен... розумишь?

Розумем... Сволочи они все, вот что! Тоже мне "бефель", "не можно мовляты"! Придумали гады... паразиты мать их... — Шегов с удовольствием ругался, а старик, продолжая держать палец на губах, улыбнулся и подмигнул, видимо, понимая Шеговские выражения и... разделяя его возмущение.

Старик ушёл, а Шегов ходил по площадке, ступая на светлые камни пола и избегая тёмных. — Сволочи... "не можно мовляты"! Как это вам понравится? — не мог успокоиться он. Потом вырвал страницу из журнала, сложил "голубя" по детской памяти и пустил его в устье, следя за его полётом. "Голубь" подхваченный струей воздуха, парил, делал круги и петли, спускаясь всё ниже и ниже...

Старик принёс обед, накрыл на стол и рядом с прибором поставил большой гранёный бокал. Глубокая тарелка хорошего супа, кусочек мяса и порядочное количество поджаренного картофеля, потом кофе, на этот раз чёрный и очень сладкий и в отдельной коробочке сигара. Пока Шегов ел, старик снова стоял у барьера, отвернувшись, а когда убирал посуду, подмигнул, шепнув:

"Сволочи... то естем рихтиг..." и поспешно ушёл.

Вино, кофе и сигара, которой Шегов несколько раз подряд затянулся, вызвали лёгкое головокружение, и он прилёг на шезлонг, но полежать долго не пришлось. Дверь открылась и появился один из унтерофицеров лагерной администрации.

— Das Urlaub ist ending, mein lieber. Zurück zum Lager, zum Baracken... — с совершенно явной насмешкой сказал он. Шегов положил в карман сигареты и пошёл через вестибюль за унтером. У дверей замка стоял грузовичок, на котором обычно привозили в блок хлеб. Унтер сел за руль, Шегов поместился

рядом. В последнюю минуту подбежал старичок и сунул в руку Шегову порядочный пакет в обёрточной бумаге. Шегов протянул ему зажигалку, которую тот дал утром, но старик не взял.

-- Дас ист ейн презент... подарунка тоби.

-- Бардзо дзенкую... спасибо папаша, -- крикнул Шегов уже на ходу машины, всунув голову в окошко. Старичок прощально помахал рукой.

Унтеру вся эта история с Шеговским визитом в замок явно была не по душе, он неодобрительно посматривал на Шегова и бормотал немецкие ругательства. Шегов разобрал хорошо знакомые: "швайнерай", "ферфлюхте" и другие. В лагерь приехали через четверть часа. Перед воротами блока Шегова встретил тот же полицейский, что утром отправлял его.

-- Штаны и гимнастёрку можете носить, а ботинки завтра мне отдадите, я вам дам другие... что это у вас в пакете?

-- Не знаю, я не разворачивал.

-- Дайте сюда, я посмотрю. -- Он развернул пакет, посмотрел содержимое и вынул оттуда пачку сигарет.

Одну я возьму себе... нет возражений?

-- Берите...

-- Ну... идите в блок... повезло вам в жизни, господин "часовых дел мастер".

Едва Шегов сделал десяток шагов, как его окружили все "часовщики". Больше всего они интересовались содержимым пакета. В пакете, действительно, было целое богатство: десять бутербродов с колбасой, небольшой белый хлеб, шесть сдобных булочек, кусок сыра и пять пачек сигарет. Шегов дал Мельникову пачку сигарет и два бутерброда. -- Это тебе экстра за идею, капитан, остальное на восемь долей... поровну. Или погодите, я возьму ещё одну пачку сигарет и пару этих булочек для Владшевского, согласны?

-- Твоё дело, ты хозяин... -- ответил за всех Бедрицкий.

Владшевского Шегов застал в том же месте и в той же позе, он лежал на длинной скамье у своей комнаты и смотрел на вечернее небо. Он сел и, взяв подарок, посмотрел на Шегова.

-- Ни к чему это, господин Шегов... но, конечно, спасибо... Садитесь. Расскажите, как там было... что вы там делали?

-- Любопытно... неожиданно любопытно! Каприз господина

коменданта... трудно понять смысл такого экстраординарного жеста, — раздумчиво сказал Владшевский, когда Шегов закончил свой рассказ.— Зачем он это сделал?

— Я тоже ничего не понимаю, да и, по правде сказать, не очень хочу разбираться в психологических зигзагах души господина барона Рюнгольм... чёрт с ним... поел я так, как не ел больше года... Знаете Владшевский, я чуть не перепрыгнул там через барьер... одно мгновение меня отделяло от этого...

— Ну что вы... голубчик. Право, глупости говорите. Всё это уйдёт в прошлое. Даже я ещё могу иметь надежды на будущее, а ведь вы значительно моложе меня, — совершенно необычным для него, мягким и участливым тоном сказал Владшевский, положив руку на плечо Шегова, и даже его глаза приобрели как бы ласковое выражение. — Верьте мне, у нас ещё будет хорошее время.

— Это в том случае, если переживём плохое настоящее... А скажите, как так получилось, что когда Ротмистр подошёл к нам вчера, мы не слышали обычной истерики "ахтунг, ахтунг"?

— По его специальному приказу. Ему в управлении лагеря сказали, что русские офицеры сооружают солнечные часы, вот он и захотел сам посмотреть на это чудо и распорядился, чтобы не делали обычной процедуры встречи.

— Ну и хрен с ним, с этим экстравагантным бароном... он посмотрел, а я подработал... Сейчас будет отбой... надо идти в стойло. Спокойной ночи, господин Владшевский, я рад, что мы с вами впервые поговорили... как люди.

— Спокойной ночи, господин Шегов... а о Ротмистре говорят очень хорошо. Да я и сам говорил с ним несколько раз... он добрый, честный, справедливый и отзывчивый человек... моему. И знаете, что я думаю? Этот нелепый жест его, был, пожалуй, чем-то большим, чем каприз... может, это было выражение известного протеста против всей системы. Это может звучит парадоксально, т. к. он сам представитель этой системы, но, конечно, не архитектор её. Сам он, пожалуй, не многое может сделать для нас в этой яме... Спокойной ночи и спасибо... за подарок и за беседу.

Весь следующий день Шегов только то и делал, что рассказывал о своём приключении.

П. Н. Палий

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

ПРОСНУВШИСЬ НОЧЬЮ

Тихо. Так будет в могиле. -- Шутишь? В могиле не тихо.
Там -- никак. Не темно, не светло, не тихо, не громко...
И ничего там не будет: кончилось "было" и "будет".
Нет *для тебя* ничего, раз и "тебя" уже нет.

Смертный, *могилы* не бойся. *Тебя* землей не засыпят.
Час настанет: уйдешь от живых; но не к мертвым: *нет* мертвых.
Ангел твой, слезы рукою смахнет, улыбнется, и вот уж
Ты -- только в том, что любил. Ты только там, где Любовь.

УМИРАТЬ НАДО В БЕДНОСТИ

Умирать надо в бедности. Желто-серой ветхой клеенкой
Стол в Духов день был покрыт, когда отец Сергей,
Чаем гостей угостив, на плечо положил тебе руку
И в сторонку отвел, известить о своей предстоящей кончине.

Умирать надо в бедности, и в состраданьи к страданию,
Так говорил Заратустра извоищичей кляче в Турине.
Поскользнувшись на мерзлых торцах, лошаденка упала
К ней он кинулся, пал на колени, обнял шею ее и заплакал.

Умирать надо в бедности. Иль ты мнишь, что семь тысяч
Книг побегут за гробом твоим при выносе тела?
А тетради свои, все писанья сожги: так вернее и проще.
Доживай свои дни в состраданьи, в смиреньи, и Бедность,
Смерти подруга, без зова придет за тобой и с тобой пребудет
навек.

ДВОЕ ВДВОЕМ

"Время прощается с нами", — Филемону сказала Бавкида
Хилой коснувшись рукой глаз его полуслепых.

"Помнишь? Нездешний наш гость оказал нам высокую милость:

В миг единый, не врозь, кончится время для нас.

Близится он, подошел. Если хочешь, из дому выйдем,

Сядем под дуб на скамью, где так часто сидели вдвоем.

Деток милых нам не дали боги: только друг друга;

Друг от друга теперь не оторвать нас и им.

Медленно солнце садилось, ветерок повеял прохладой,

Кашкою пахло с лугов, пахло левкоем со гряд,

Обнял, как встарь, Филемон Бавкидины хрупкие плечи,

Голову молча она ему положила на грудь.

И затихли вдвоем. Чуть слышен был — шелест иль шопот?

"Милый", "голубка моя" — лепет счастливой любви.

Смолк понемногу и он. Две ласточки в небо взметнулись.

Тихо седые волосы нежный трепал ветерок.

Медленно солнце садилось, ветерок все веял да веял,

Но, словно ключик в замке шелкнул, и замерло все.

Время к концу подошло, прекратилось движение, отныне

Не шелохнется листок, не пролетит мотылек.

Солнце остановилось, забыли звезды зажечься, —

Двое все так же сидят, так же вдвоем на скамье.

Бьются сердца их? Бог весть. Пусть бились бы вечно! Не знаю.

Но, если кончился мир, что же осталось? — Любовь.

Июнь, 1978

В. Вейдле

Вот наступил и этот год,
 Год семьдесят восьмой,
 Год полный бедствий и невзгод,
 По предсказаниям — роковой.
 О, Господи, что с нами будет?
 Дрожа от страха,
 Шепчут люди:
 — Не избежать нам мирового краха
 И третьей мировой войны,
 На гибель все обречены!

Грядущее, как смоль, черно,
 Но не страшит меня оно —
 Я выбросила страх в окно.
 Обязана я этим попугаю,
 Которого мне удалось купить
 И научить —
 А как сама не знаю —
 С утра до вечера твердить:
 — Ах, до чего
 Чудесно жить!
 И потому и оттого
 По-прежнему во сне и наяву
 Я с наслаждением живу.
 Мой пестрый, мой любимый попугай,
 Прошу тебя, меня не покидай,
 Не улетай,
 Ни в Аргентину, ни в Китай.

Ирина Одоевцева

МИНОМЕТЧИКИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА БОЛЬШУЮ ЗЕМЛЮ

Накануне нового, 1943 года, в лагере прибавилось одно лицо, из немцев. Они редко и неохотно заходили в лагерь, кроме маленького тщедушного ефрейтора, заведующего нашей кухней. Но и он, заложив продукты в котлы и заперев их на замок, уходил до раздачи обеда, — этим пользовались повара из пленных, чтобы выуживать из котлов продукты для себя. А ефрейтор наверно был в полной уверенности, что пленным попадает столько, сколько полагается по норме, по которой он сам закладывал продукты в котел.

Новый немец, высокого роста, не очень ладный, но крепкий, широкоплечий, с красным энергичным лицом, был поставлен главным над переводчиками. Как скоро выяснилось, он был полунемцем: немцем из "Судетенгау" — из судетской области, из-за которой Гитлер начал свои скандалы с правителями других европейских стран. Так как вопрос был чисто политическим, всех и полунемцев в Судетской области сразу же после ее присоединения стали считать "рейхсдейчами", полноправными, стопроцентными немцами, почему и в армию их мобилизовали тоже тотчас же после присоединения.

О его полунемецком происхождении говорила и фамилия, скорее чешская или словацкая — Добшан. В первую мировую войну он был в австро-венгерской армии, попал в Россию в плен, был потом в чехословацких легионах и с ними эвакуировался через Владивосток, но до этого успел сколько-то пожить среди русских и действительно видел в них "братьев-славян". По-русски он говорил хорошо, без запинки, наверно не хуже, чем по-

немецки. До мобилизации в немецкую армию был учителем в средней школе.

Мы с ним скоро стали в сущности друзьями. Заходя в лагерь, он старался меня увидеть и поболтать. Он говорил, что решил малость прикрутить полицейских и переводчиков из пленных: они охотно пускали в ход кулаки, а то и палки. В особенности у одного из переводчиков, здорового, сильного молодого парня из Галиции, сильно чесались руки, от его затрещин наши доходяги валились с ног. Некоторые пленные потихоньку жаловались немцам — Добшан и должен был рукоприкладчиков осадить, за что он с успехом и принялся. Мне он иногда приносил краюшку хлеба, табаку на закрутку, но совестно было брать: я знал, что тыловой немецкий паек очень скуден и такому большому человеку, как Добшан, его должно не хватать. Иногда впрочем он получал из дома посылку, — тогда устраивал "пир", уделяя часть посылки мне.

Благодаря такому пиру мне удалось наконец увеличить вдвое свой котелок. Это давно уже сделали все, получившие сходя с парохода малые котелки, — мне жаль было отдавать целую дневную порцию хлеба, которую, как минимум, требовали за еще один такой же малый котелок. А тут Добшан как-то принес порядочную краюшку черствого хлеба и сигарету, — в бараке портных я без труда нашел обладателя лишнего малого котелка и купил его за полпорции хлеба (краюшка Добшана компенсировала ее потерю) и сигарету.

А что дальше? Отпилить камнем дно у меня не было сил. Я сидел на солнышке у барака и с грустью смотрел на два котелка, которые надлежало соединить. Пришел Добшан. Показал ему — не понимает. Говорю, что голь на выдумки хитра и рассказал, как пленные вышли из беды с малыми котелками. Инструментов вот нет, не знаю, как справиться. Он посмеялся, взял мои котелки, унес и часа через полтора принес один большой соединенный из двух: у немцев в механической мастерской операцию соединения котелков проделать было не трудно. Посмотреть — какое-то странное сооружение. Называли его в лагере башней или батареей. Как ни называй, из черпака на кухне теперь в самом деле мимо не проливалось ни капли. Я с теплым чувством вспоминал изобретателя, воронежца, — где-то он теперь?

Изобретать надо было и дальше. Пришли холода, буденовку мою продувало. Вспомнил о фланелевых портянках, выкроил и подшил одну внутрь буденовки. Красиво не получилось — зато тепло. Выдали нам еще осенью рукавицы, большие, бесформенные, какого-то зловещего темно-зеленого цвета, хлопчатобумажные, холодные, — вторую портянку пришлось вшить внутрь рукавиц, стали теплее. А что еще безобразнее, — по части эстетики какой может быть с пленного спрос?

Шинель, полученная в Восточной Пруссии и казавшаяся тогда крепкой, как-то быстро расплзлась, внизу висела лохмотьями. Правда, она служила еще и подстилкой, и одеялом. С помощью Добшана получил другую, тоже густо зеленого цвета, длинную, но почти не греющую. Кажется, это были немецкие солдатские шинели первой мировой войны, немцы только покрасили их в этот зловещий цвет и выдавали советским пленным. Они и не могли хорошо греть: в них не было ни грана шерсти, целиком хлопчатобумажные. Экипировавшись так, я подумал, на какое же чучело я теперь похож, но это не имело ни малейшего значения. Главное, защититься от холода.

Добшан давно видел, насколько плохо мое состояние и говорил, что надо что-нибудь придумать, иначе кончиться может плохо. А что придумаешь? Нужно питание, — как его увеличишь? С продуктами в Норвегии плохо, немцы тоже сидели если не на голодном, то и не сытом пайке. Где взять?

Добшан все же не успокаивался, продолжал что-то соображать.

— Вам отсюда уехать надо, — пришел он к выводу. — Здесь все равно не поправитесь, даже если нам удастся сколько-то продуктов достать.

Но как уедешь? Пребывание здесь надоело, слов нет. В Норвегии мы все чувствовали себя, как где-то на краю света, словно совсем выключенными из больших событий. И хотя мы, в нашем положении, не могли оказывать на события никакого влияния, все же, находясь вблизи, мы словно бы участвовали в них, были в них включенными, — здесь этого ощущения не было. Нет, вернуться бы "на большую землю" хорошо, но об этом нечего и мечтать: мы не в своей воле.

Добшан, однако, был человеком упорным, он продолжал думать. И однажды, уведя в пустую комнату в нашем бараке, закрыв дверь и оглядываясь на нее, сказал:

— Имею предложение. По-моему, верное. И другое не придумаешь. Вам надо объявить, что вы офицер, попали в общий лагерь случайно и просите, чтобы вас перевели в офицерский лагерь.

На моем лице обозначилось наверно такое изумление, что Добшан даже взмахнул рукой:

— Ничего особенного, ничего фантастического. Вы же знаете, немцы все равно не верят, что вы простой солдат, они убеждены, что вы инженер. Вот и объявите, что вы офицер инженерных войск и больше оставаться в солдатском лагере не желаете. Я знаю, это подействует. Напишите, я переведу и отошлю через канцелярию. Только подумайте, как лучше написать. Лейтенант — мало, на это могут не обратить внимания, лейтенантов много в рабочих лагерях. Надо капитана, а еще лучше майора, — подумайте, как лучше будет в вашем случае.

Я и думать не собирался. Пускаться в какую-то аферу, в мошенничество охоты у меня не было, очень уж противно. Добшан настаивал:

— Это же "ложь во спасение", в ней нет ничего злого. Вы же ни у кого ничего не отнимаете, только сами спасаете свою жизнь. В этом ничего не может быть плохого, сомнительного.

Он так близко принимал дело к сердцу, так хотел помочь и так горячился, что жаль его было огорчать отказом. И я сказал только, что надо хорошо обдумать, на что он согласился.

Про себя я решил словно бы твердо, что этот вариант не подходит и надо о нем забыть. Но — "человек предполагает". В эту же ночь побрел я в уборную. Ночь была светлая, немного морозная, луна серебрила осевший на дорогу иней, отбрасывала резкие тени барakov, острых конусов елок, поднимавшихся за проволокой. Возвращаясь, я слегка поскользнулся в своих ботинках "на деревянном ходу" и, побалансировав руками, мягко шлепнулся на дорогу. Попробовал подняться, — не тут-то было, ноги не поднимали тело. Продолжая попытки, я стал вертеться "вокруг своей оси", легко поворачиваясь на схваченной морозцем земле, и встать на ноги не мог.

Я сидел на земле, медленно поворачиваясь, в щедром свете луны и не знал, смеяться мне или плакать. Взрослый человек, — а как малый ребенок не может встать на ноги. Чертовщина какая-то. И долго я буду так крутиться?

Вдали, из барака портных, вышел пленный и двинулся по дороге в уборную. Когда он подошел ближе, я попросил его протянуть руку и помочь мне встать. Он нерешительно, словно боясь подвоха, подошел, немного расставил ноги, укрепляясь ими, и протянул руку. Я вцепился в нее обеими руками и кое-как, напрягая все силы, поднял свое тело в вертикальное положение. Поблагодарил и пошел в барак, следя за каждым шагом, чтобы не шлепнуться еще раз.

Этот случай доканал меня. Я не мог заснуть и, ворочаясь на нарах, думал, что наверно не следует больше испытывать судьбу. Тут не до изыска, шепетильничать нельзя. Один раз уже подходило к концу, в Умани, тогда выручил случай, этап в Холм, — теперь другого случая нет, надо пользоваться тем, что придумал добрый и рассудительный Добшан. Утром я сказал ему, чтобы принес бумагу, я напишу заявление. И принялся "сочинять легенду".

Главная трудность была в том, что к армии я до призыва в прошлом году отношения не имел и что-то совсем правдоподобное придумать не мог. Впрочем, сойдет, кто же будет проверять. К тому же второй по старшинству мой брат, старше меня на четыре года, был профессором военной академии, с чином подполковника, перед войной он защитил диссертацию на кандидата технических наук, теперь готовился на доктора. Я иногда заходил к нему в Москве, встречал его друзей, тоже профессоров и преподавателей академии. Держался этот народ осторожно, но и не расспрашивая можно было понять, что в их академии были самые разные дисциплины, включая и чисто инженерные.

Почему бы мне не стать тоже преподавателем этой академии, с чином майора, требующимся по выдумке Добшана, скажем, в фортификационном отделении? В первые месяцы войны часть преподавателей взяли в действующую армию, в том числе и меня. В начале прошлого года, в штабе 51 армии, прибыли в Крым, эвакуироваться оттуда в мае не успел, попал в

плен. В полевом лагере, во Владиславовке, когда отбирали офицеров, я был болен, с температурой и поэтому остался со всеми.

Добшан принес два листа бумаги и папку, чтобы подложить под бумагу, когда буду писать. Дал и самопишущую ручку. Уединившись в пустой комнате, я принялся писать, как наметил заранее. Подумав, прибавил еще, что эта война, со стороны коммунистов, ведется прежде всего как война политическая, — такой же должна она быть и с другой стороны. Я, как и множество других русских, готов был бы принять участие в такой борьбе. Теперь, после немецкой катастрофы под Сталинградом, думалось, авось немцы сообразят и от войны с нами перейдут все же к войне с коммунистами.

Добшану написанное понравилось, одобрил он и добавление о политическом значении войны, хотя о возможности изменения гитлеровской политики отозвался более чем скептически. Немцы говорить об этом избегали, ссылаясь и на то, что армия должна оставаться вне политики, но было видно, что большинство их гитлеровскую политику осуждает. Они считали, что поражение Германии неизбежно и что продержатся еще год, полтора, не больше. Так же полагал и Добшан, но и он говорил об этом неохотно, может быть больше других рядовых немцев понимая опасность таких разговоров. Еще до приезда в Норвегию он слышал что-то о создании РОА, но смутно и толком ничего рассказать не мог. Перед отправкой заявления сказал мне, что получено распоряжение отобрать в Норвегии из пленных человек двадцать пять для школы пропагандистов "русской армии" и что этим занят Шульце, зондерфюрер-"гестаповец". Отсюда я заключил, что в Германии, по-видимому, все же что-то делается в плане борьбы с коммунистами, немцы все же пошли на какие-то нам уступки, — наверно тем более к месту было мое добавление о политическом значении войны.

Добшан перевел заявление, показал его "гестаповцу" и отправил выше по начальству. Оставалось ждать, будет ли результат...

Конвойные немцы у нас были пожилые, за пятьдесят, или полуинвалиды. Когда нас еще гоняли изредка на работы, осенью, однажды на расчистке дороги далеко за лагерем такой

конвоир показал на бунты свеклы в поле, укрытые на зиму землей, и сказал по-русски: "Ступайте, наберите себе, но не все сразу, по одному", — мы не замедлили выполнить его указание. Потом я спросил, откуда он научился по-русски говорить, — солдатик охотно пустился рассказывать, что в первую мировую войну попал в плен к русским, был в Западной Сибири, работал у крестьян и хорошо у них жил. "Я много видал у вас, — говорил он. — О, такая большая земля! И такая богатая! Разве ее победишь? Это пруссаки у нас в Берлине с ума сходят, второй раз с Россией связались. Хорошего от этого никому ничего не будет..."

Я подумал, что первый раз, с помощью Ленина, пруссаки все же справились с Россией, ценой потери кайзером своего престола. Теперь такой потери не будет. Вождь — фигура расхожая, сколько их может быть? У нас Сталин, у них Гитлер — два сапога пара. О царе нашем и их кайзере такое нельзя было бы сказать...

Но было у немцев и несколько десятков рослых, здоровых молодых вояк, отряд эсэсовцев, держали их наверно на всякий случай, может быть не столько для нас, сколько для норвежцев, для острастки. В лагерь к нам они никогда не заходили, видели мы их только издали, из-за проволоки...

Дни проходили по-прежнему, никаких изменений. И у меня никаких изменений, только, казалось мне, я все больше слабел.

В начале февраля какое-то шевеление: самый первый пустовавший с осени, с отправки рабочих барак почистили, убрали в нем нары, поставили двойные койки — "вагонки". На койки положили набитые соломой мешки, вместо матрацев, и такие же подушки. Для кого готовят такую роскошь?

Спросил Добшана, — говорит, для будущих "русских пропагандистов", скоро начнут прибывать, отобранные в разных рабочих лагерях. Где же их будут готовить? Откроют для них школу? Нет, отправят в Берлин.

Через несколько дней в первый барак стали приезжать отобранные, по два-три человека, — скоро их набралось больше двух десятков. Мы интересовались ими, приглядывались. Меня удивило, что они не совсем похожи на пленных: все крепкие, мордастые, откормленные лица, как будто привезли их не из

рабочих лагерей, а из какого-то курортного заведения, с откорма. Что за странность? Узнал у Добшана: это все полицейские, переводчики, повара. Приказано было отобрать "верных людей", — Шульце, "гестаповец" наш, с основанием решил, кто же может быть вернее полицейских и поваров? Среди них и отбирал кандидатов. Тоже не знаешь, смеяться, негодовать? Но, пожалуй, Шульце не так уж не прав: полицейские, переводчики, а часто и повара были большей частью из младших офицеров — лейтенанты, младшие лейтенанты, окончившие среднюю школу. Среди рядовых пленных редко попадались со средним образованием. Кого же брать в школу пропагандистов, как не тех, у кого есть среднее образование?

Еще большее удивление, до душевного смятения, было уготовано мне впереди. Однажды, после утреннего концерта, когда только что вернулись в барак, пришел полицейский и предложил собраться с вещами: меня переводят в другой барак.

Куда? — я чуть было не прибавил: и зачем?

— В первый барак...

— Но там же пропагандисты? А я причем?

— Не имею понятия. Мне приказано вас перевести, дальше не мое дело.

Недоумевая, взял свою котомку, накинул шинель и пошел в первый барак. Там встретили меня тоже с удивлением: куда явился этот доходяга, кандидат на тот свет? Куда он прет, в избранное общество? Полицейский поискал глазами, нашел свободную койку, кивнул мне: — Эту и занимайте. Его сюда переводят, немцы приказали, — сказал он будущим пропагандистам, пресекая готовые подняться протесты.

Расположился на койке, ловя со всех сторон недоуменные и недовольные взгляды. Но я тоже вроде как "ни при чем" и тоже терялся в догадках.

После обеда вызвал Шульце. Предложил сесть, спрашивает:

— Вы что-нибудь писали в Берлин?

— Да, заявление, чтобы перевели в офицерский лагерь.

— Нет, это я знаю, а кроме заявления? Что-нибудь еще?

— Никуда не писал. А если бы писал, вы бы знали. Других путей посылки заявлений, как через канцелярию, у меня нет.

Шульце явно не верил. Может быть, он подозревал

Добшана? О моей дружбе с ним Шульце конечно давно осведомили.

Чеканя слова, он приподнято проговорил:

— Вас вызывают в Берлин.

— Вот как! Честно говорю, не знаю зачем и кто. Может быть, это в ответ на мое заявление?

— Нет, это по другой линии. Распоряжение пришло из ОКВ (Оберкоммандовермахт: Верховное командование вооруженными силами), из другого отдела, который к военнопленным не имеет отношения. Какие у вас связи с Берлином?

Шульце, похоже, даже встревожен. Может быть подозревает, что я нажаловался в Берлин через Добшана и теперь местному начальству может влететь?

— Какие же у меня связи? Никаких связей нет. Впрочем, разве вот что? — я вспомнил разговоры в Холме с лейтенантом и как он сказал, что все равно запишет меня и сообщит в Берлин, "на всякий случай", — может случай и пришел? Рассказал об этом Шульце.

— Может быть, — неуверенно протянул он. И заключил тем, что я буду жить с пропагандистами и вместе с ними поеду в Берлин, когда все будет готово.

Вышел от него с шумящей, но и будто пустой головой, в ней никак не уместается: что это? Утром было черно и безнадежно, а теперь — через несколько дней поеду в Берлин? Что произошло? Откуда это чудо? И чудо огромное, всеохватное, сияющее, как это солнце, — подмывало не идти спокойно, а пуститься приплясывая.

Добшан ничего не знал: был занят каким-то делом, ездил в Лиллегаммер и только под вечер узнал, что меня перевели к пропагандистам и отправят вместе с ними в Берлин. Он пришел после ужина и радостно поздравлял: желание исполнилось, а это главное. Куда бы ни попали, говорил он, будет лучше, а не хуже. Я все гадал, откуда взялся этот приказ, кто и для чего меня вызывает, — Добшан отмахивался: — Бросьте гадать, не все ли равно? В нынешнем кавардаке все равно точно не узнаете. Это может быть и ответ на заявление, хотя Шульце и говорит, что из другого отдела, — много он знает! А может и результат разговора с лейтенантом в Холме. Все равно. Главное — это для вас

спасение и не ломайте голову, откуда и почему...

В бараке окружающие, — о вызове в Берлин я им не сказал: с какой стати говорить? — продолжали смотреть на меня с пренебрежением и отталкиванием, чувствуя себя вроде бы привилегированными. По сравнению со мной они и были такими: у каждого в котомке было по буханке и больше хлеба, были у них и другие продукты, были немецкие деньги. Меня все это не занимало. Я был рад, что для нас не было проверок, участия в "концерте", никто к нам не привязывался и давали даже больше еды, наливая мне полную "башню" супа с обезжиренной треской. Я готовился в мыслях к Берлину, словно там ждал меня не тоже лагерь, а самый лучший отель и беззаботное, привольное житье.

Буханки в котомках недавних полицейских занимали только с одной стороны. Голодной куме, говорит пословица, еда на уме, — все пленные постоянно видели во сне еду. Некоторые утром пускались даже со вкусом рассказывать, какие пиршества устраивали они только что, во сне, — довольных слушателей обычно не находилось, скоро кто-нибудь рычал: — Заткнись ты, обжора, без твоих снов тошно...

По отсутствию наверно у меня склонности к гурманству разносолов я во сне не видел, но в Норвегии почти каждую ночь мне снилась буханка хлеба. Это был предел ночных вожделений: целая, обязательно не надрезанная буханка хлеба, — буду ли я когда-нибудь ее иметь, держать в руках, поесть? Пусть будет на сколько-то с опилками, сырая, плохо пропеченная, — но обязательно целая, большая. Теперь целые буханки были рядом, но не мои, в чужих котомках. Кто однако знает, может быть скоро, в Берлине или за Берлином, мечта из сновидений обратится реальностью и у меня буханка будет?..

Прошла неделя, ждем. Будущие пропагандисты, съев свои запасы, стали уже ворчать: долго нас будут так держать? Их здешние "корешки", наши полицейские, переводчики и повара эту ораву прокормить за счет пленных-доходят в нашем лагере не могли. Супа давали удвоенную порцию, я был доволен, — полицейским было мало, в рабочих лагерях, где пленных кормили чуть лучше, они привыкли выкраивать себе за счет работяг двойные порции хлеба, повидла и даже целые колбасы и головки

сыра, когда выдавали колбасу и сыр. Я посмеивался, смотря на их "муки": ничего, голубчики, отвыкли от голодовки, а должности пропагандистов так просто не даются. Ничего, не все вам других объедать, не лишне и поголодать, — крепче будете...

Повели в баню, она в бараке около уборной. Разделись. Я чувствовал себя белой вороной: все ребята не только молодые, но и здоровые, с чистой кожей, с выпуклыми мускулами, — а у меня каждое ребро видно, кожа дряблая, темная, висит едва не лохмотьями. Врачебный осмотр: молодцеватый немчик, военный врач, быстро пропускал мимо упитанных полицейских, переводчиков, поваров, не задавая им вопросов, — когда я подошел, он словно споткнулся. В его глазах тревога, настороженность и кажется брезгливость. Спросил, чем болен.

— Ничем не болен. — Я в самом деле не был больным, у меня ничего не болело, я был только голодным и чрезмерно отошавшим. Врач внимательно смотрел на меня, будто не веря ответу. Потом спросил:

— А вы доедете до Берлина?

Вот чудак, нашел о чем спрашивать. Да я на край света доеду, лишь бы отсюда выбраться: на краю света есть надежда. Я кивнул утвердительно, улыбнулся: Доеду. Немец махнул рукой, чтобы проходил...

После бани прожили в "привилегированном бараке" еще сутки. А на следующие, после завтрака, сказали взять котомки и выходить. Перед баракom сосчитали, повели из лагеря. За воротами ждали два грузовика, в одном несколько сопровождающих немцев. Добшан говорил, что ему хотелось поехать сопровождать нас, получилось бы вроде отпуска, но не разрешили. Простились с ним вчера. Шульце, "гестаповец", ехал с нами.

Быстро доскакали до станции. Подошел пассажирский поезд, — в последнем вагоне половина оставлена для нас. Ехать в пассажирском вагоне, а не в теплушке — совсем другое дело. По-другому и колеса стучат. Сидишь не на полу, а на скамейке и перед глазами не стена, а окно, за которым уходит назад Норвегия. Видел я ее только малый кусочек, больше наверно никогда не увижу — и не жалею об этом. Хорошего у меня с ней ничего не связано, разве только короткая дружба с Добшаном, так выручившая меня напоследок. Да еще светлый проблеск, тот

пожилой конвоир, что послал нас запастись свеклой в поле, которого Россия когда-то так поразила, что он и теперь ее помнит и даже говорить по-русски не разучился. Наверно самое большое впечатление в его жизни... А впрочем, и очень тяжелого ничего здесь у меня не было, все будто бы сносное, из-за чего и угасание постепенное, не сразу.

В Осло вагон наш отцепили. Перед вечером маневровый паровозик таскал нас то в одну сторону, то в другую, пока не притащил в порт, к причалу, у которого, как прошлой осенью в Штеттине, тоже возвышался железный борт парохода. Этот был такого же типа. Поднялись на палубу, стали спускаться в трюм, но остановились на первом этаже. В тусклом свете нескольких лампочек он уходил в неразличимую даль, сливаясь там со тьмой, — наша малая группочка совсем потерялась в этом огромном трюме.

Позвали получать обед. Он был и ужином, вкусным и обильным. Наевшись и запив кофе, завалились спать. День был серый, временами шел мелкий дождь, в вагоне холодно, — здесь, в трюме, тепло и, укрывшись еще шинелями, мы быстро заснули.

Нас не разбудил как следует даже шум машин, когда пароход рано утром двинулся в путь. Поднялись, когда позвали получать кофе. Погода улучшилась, посветлело, иногда показывалось солнце. Теперь за левым бортом, далеко, тянулась полоса берега, справа неоглядно колыхалось море. Там показывался на невысоких волнах еще такой же корабль, впереди шло небольшое военное судно. Начиналась качка, — спустились снова в гостеприимный трюм.

Неподалеку от меня лежала группка недавних поваров, среди них один совсем молодой, лет двадцати, с хитрым остреньким лицом, непоседливый и болтливый: он постоянно о чем-нибудь рассказывал. И теперь он трещал что-то звонким голосом, я невольно прислушался.

— Ему, фрицу, наверно и в мозги его не придет, как мы его облапошивали. Заложит он торжественно продукты в котел, замкнет на замок. А дежурить на кухне ему скука, он из лагеря к своим удирает, — а у нас ключи к каждому его замку давно

подобраны. Да и ключи не нужны: я не домушник, не скачешник*, а любой его замчишко куском проволоки отомкну. Открываем котел и в момент-картошку в свои котелки, крупу не поймаешь, ее всего с полкило, в котле и не видно. А если кусок мяса попадет — в супе не останется. Тоже и маргарин, масло, — бывало, иногда фриц приносил кусок жира и закладывал в котел, — весь кусок вылавливали, следили только, чтобы поскорее, чтобы не дать ему в горячей воде разойтись. А еще заводнее, как сахаром пользовались. Для чая отдельные котлы, в кипяильнике, — фриц заложит мешочек не чая, а какого-то эрзаца, всыпет сахару кулек и крышку тоже на замок. Мы во все глаза глядим, смотрим, когда выйдет за дверь, — он никогда не вертался и не глядел, что у него за спиной. Мигом шасть в котел, вычерпываем воду в ведра, так, чтобы на дне густой сироп остался. Вычерпываем этот сироп себе, кипяток назад в котел выливаем, — немножко пахнет чем-то, а вся сладость нам попала. Фриц ни за что не догадается, что мы его сахар забрали.

Один из слушающих что-то ему возразил, они заспорили, сразу в несколько голосов, — вслушиваться и разбираться в их поварско-воровских делишках не хотелось.

К полудню море совсем разыгралось, пароход валило из стороны в сторону. Спутники мои тут начали стонать, корчиться и за обедом наверх я поднялся в обществе всего трех человек. Есть можно было сколько хочешь, котел был полный, но пришлось останавливать свое разошедшееся желание: с полным желудком тоже можно заболеть морской болезнью, а может и чем хуже. Поэтому, съев свою порцию, я получил полный котелок во второй раз и спустился с ним вниз. Решил сделать перерыв, но долго не выдержал и уже минут через пять принялся снова работать ложкой. Теперь можно было есть не торопясь и даже с перерывами, но перерывы плохо удавались: внутри сидело беспокойство, оно заставляло думать, что рядом стоит еще полкотелка супа, который непременно надо съесть, — рука сама тянулась за ложкой и перерыв кончался.

На этот раз шли без остановки в море и уже поздно ночью, в

*Домушник, скачешник — воры, обкрадывающие дома, квартиры (воровской жаргон).

крошечной тьме, сбавили ход, — наверно подплывали к берегу. Приходилось удивляться, как на мостике прокладывали путь: нигде не было ни одного огонька. С военного сопровождателя однажды блеснул тонкий луч, ему ответил такой же наверно с берега, — скоро впереди и справа стали едва просвечиваться расплывающиеся голубоватые шары. Невольно вспомнились схожие расплывающиеся светлые тени от синих фонарей на стрелках, когда поезд ночью увозил нас с Казанского вокзала в Москве в эвакуацию, в октябре 1941 года.

Громада парохода медленно, словно ошупью, подобралась к причалу, прикрепилась к нему. Можно уходить вниз: до утра останемся на пароходе.

Утром вышли наверх, — солнце сияет во все лопатки, на душе сразу стало веселее. За бортом, в порту, оживление, снуют немецкие военные, пешком и на машинах. Надписи на каком-то незнакомом языке, попадаются перечеркнутые буквы, — э, да мы в Дании! Она давно оккупирована Германией, превратилась будто бы в немецкую провинцию. Нашли и название порта: Фредериксхавн, немцы переделали на свой лад — Фридрихс-хафен. Помнится, это должно быть на самом севере ютландского полуострова, на котором главным образом и располагалась Дания — еще одна страна на нашем пути.

После завтрака сошли с парохода, построились и во главе с нашими немцами промаршировали из порта. Поблизости, на каких-то запасных путях, стояли пассажирские вагоны. В одном из них заняли несколько отделений. Подошел паровозик, перетаскил нас к вокзалу, где сели пассажиры и откуда вскоре тронулись по направлению к солнцу — на юг.

Пейзаж здесь совсем другой, не норвежский. По обе стороны неоглядные, уходящие к горизонту равнины, изрезанные канавками, — то ли межи, то ли водоотводные, осушительные каналы. Кое-где возвышаются ветряные мельницы — как в Голландии! Проплывают обширные, щедро возведенные фермы, хутора с большими коровниками или свинарниками: Дания наравне с Швейцарией главный поставщик в Европе сыра и свинины, страна до войны богатая. На этих бесконечных равнинах, тучных пастбищах выращивается молочный скот, рядом собирают богатый урожай картошки, свеклы. Снега нет: соленая вода моря

вокруг полуострова съедает снег, не дает ему залеживаться.

Минуем должно быть недавно богатые большие села или небольшие города: большим городам наверно и неоткуда здесь взяться, страна прежде всего сельскохозяйственная. И наконец пересекаем границу: Фленсбург, первый немецкий город, почти у самой границы. Он, впрочем, не так давно был датским, всего сто с небольшим лет назад.

Пейзаж будто бы тот же, продолжение датского, но и что-то изменилось, хотя и не поймешь, что. Будто больше порядка, четкости, собранности. Там больше мягкие линии, округлости, расплывчатость, — здесь линии резче, определеннее, может быть организованнее. Все больше попадаетесь деревьев, рощ — лесом не назовешь, но и не одни плоские равнины, зелень не только внизу, а поднимается над землей. Больше мелькает городков, вверх уходят не только церковные шпили, а и фабричные трубы, которые в Дании попадались совсем редко. Впрочем, надвинулись густые сумерки, надо дремать, спать негде.

Рано утром проехали славный ганзейский город Гамбург, большой: ехать надо почти час, чтобы оставить его за собой. Город еще спал, только кое-где, изредка проползали первые трамваи, видны первые пешеходы. Мирового значения порт, на Эльбе, но реки нигде не видно, железная дорога проходит далеко от нее. Потом пересекли реку по большому мосту.

Перед главным вокзалом, на котором простояли минут десять, увидели странную, новую для нас вещь: улицы сверху были покрыты сетями, может быть рыболовными. Там и тут на них брошены или прикреплены ветви с засохшими листьями или хвоей. Что за декорация, зачем она? Шульце объяснил, что это маскировка от воздушных налетов: сети с набросанными на них ветками сильно меняют вид сверху, скрывают ориентиры, затрудняют бомбежку, — летчики не видят цели, назначенные на давно снятых с воздуха картах. Шульце говорит, что первый раз англичане бомбили Гамбург года два назад, и упорно: погибло много тысяч мирных жителей. Позже я узнал некоторые подробности: горели целые кварталы и районы города. Спасаясь, жители бежали из домов в скверы, надеясь, что зелень деревьев защитит от огня и жара. Но деревья словно притягивали и концентрировали дым, он сгушался в них, как туман, и толпы

жителей задохнулись от дыма. Другие толпы, в малых скверах и на малых площадях, сгорели: огненные бури неистовствовали на улицах, врывались на площади и сжигали все на своем пути.

Думалось: были те налеты в отместку за немецкие налеты на Англию? Или немецкие налеты были ответом на бомбежки Гамбурга? Историки потом наверно установят факты, укажут точные даты, — но какое может иметь это значение для уничтоженных здесь десятков тысяч людей. Уничтожение только накапливало злобу и ненависть, усиливая их власть на земле.

За Гамбургом следы войны пропали: опять ехали среди мирных полей, запорошенных снегом, лугов с пасущимся на них кое-где скотом. О войне напоминали только поезда с громоздящимися на платформах танками, орудиями, другими воинскими грузами и мелькающими на станциях военными. Разрушений от бомбежек больше не встречалось.

Не было их и в Берлине, куда приехали во второй половине дня. Берлинцев среди наших немцев не оказалось и им пришлось долго узнавать в комендатуре, как ехать дальше. Спустились в подземку, здесь она называется "убаном" — унтерgrundбан, на какой-то станции перешли на "эсбан" — штадтбан, городскую дорогу, идущую большей частью над землей. Приехали наконец на другую станцию железной дороги, сели на пригородный поезд. Станции, туннели, мосты, внизу улицы, площади, ленты воды мелькали, сплетаясь в поток, — ничего в отдельности не разобрать и впечатления не составить. Город огромный и сразу его не охватишь.

На пригородном тряслись минут пятнадцать, сошли на малой станции с ничего не говорившей нам вывеской "Вульхайде". Редкий сосновый лесок, в нем мелькают домики, вроде подмосковных дач, хотя вид другой. Через дорогу — широкая чистая просека, по которой мы и направились в глубь рощи. И роща, и дорога чисты, будто их одинаково и часто подметают и еще, пожалуй, протирают чистыми сухими тряпками.

Дорога вывела к двум рядам стандартных военных барачков, между ними и перед ними газоны тоже чистой, как бы лакированной травы, заставляющей думать, что она, может быть, искусственная. Везде чисто, ни поломанной ставни, покосившейся двери или выщербленных ступенек, — очень уж как-то

стерильно, как в образцовой больнице.

Поместили в одном из бараков. И в нем чистота, вагонные койки заправлены серыми солдатскими одеялами, везде все аккуратно и ни намека на какой-либо беспорядок. Под одеялами чистые белые пододеяльники, такие же простыни на мочальных матрацах. Смахивает на санаторий.

Пришел дежурный, объявил: так как вчера и сегодня мы горячей пищи не получали, нам варят ужин, скоро покормят, в столовой. Барак было семь-восемь, в одном помещалась столовая. Длинный стол посередине, аккуратно накрыт светлой клеенкой, стоят приборы, у каждого на небольшой тарелке — малый кусочек хлеба. Разместились перед приборами. Два "официанта", такие же, как и мы, пленные, в хорошо пригнанной солдатской немецкой форме, быстро разнесли тарелки с едой — жидкий, совершенно прозрачный супчик. Съели — на вкус не плохо, ничего, это суп, а в смысле наполнения желудка — тоже ничего, даже и не почувствовали, что что-то ели. Солдатики быстро убрали тарелки, принесли по кружке подслащенного кофе. Выпили, поднялись.

Я видел, что настроение у моих спутников сразу и глубоко упало. Они словно были озадачены и встревожены обстановкой и едой. С такой еды ноги вытянешь, — ворчал то один, то другой. Курсы, говорят, два месяца, как же два месяца на водичке проживешь? — ответа на этот тревожный вопрос никто, разумеется, дать не мог.

В Вульхайде помещалась школа пропагандистов РОА. Я надеялся, что меня завезли сюда только случайно, за компанию со всеми и дня через два-три отправят в другое место, что потом и произошло. В школе мне делать нечего. Здесь же, в Вульхайде, находился со своим "штабом" Малышкин, один из генералов РОА, — под его эгидой здесь издавалась газета власовцев "Заря". Все это, однако, я узнал позже.

Продолжение следует

Г. Андреев

*

Мне тайна знаки подает —
То темнотой то светом машет,
В вагонном зеркале мелькнет.
В домашнем зеркале пропляшет.
Возникнет в зрительной мечте,
Прозрачная, легчайшим дымом
И я на деловом листе —
Ловлю заказ неуловимый.
Пишу — и, под моей рукой
Дымятся пламенные флаги...
Очнусь ... и вот... передо мной —
Белеет чистая бумага.

*

В моем окне рассвет осенний
Дрожит на розовом стекле.
Проходят пепельные тени
По отдыхающей земле.
Вон солнце натянудо возжи
Сквозь облачную темноту.
Находит туча, льется дождик
В безлиственную пустоту.
И вот — в мое опустошенье,
Где тени прошлого дрожат,
Врывается стихотворенье
Как этот дождик в мертвый сад.

А. Величковский

ВСТРЕЧИ НИГДЕ

— Здравствуйте, мистер Краус! Какая удивительная встреча! Нет, что вы, сразу узнал; ничуть не изменились, и выглядите отлично! Как? Ревматизм? Астма? Ах, дорогой, главное — не обращать внимания. Ну, немножко что-то подгниет, немножко расшатается, а там, глядишь, и опять запрыгал... Кто? Эти вот трупы? И какой вы мнительный! Перешагните, и все. А они полежат и сами уйдут.

Пообедать, говорите, вместе? А это превосходная мысль! Здесь, за углом, есть премилый... Впрочем, виноват, не выйдет, ведь мне вырезали желудок. Да, да, целиком! Так что, простите, не могу. Как обхожусь? Это просто умора: все спрашивают, как обхожусь, а я не знаю. То есть знаю, но постоянно забываю, вот как сейчас...

А вы все в том же бюро? Подымай выше? Директором крематория? Так это прекрасно, это совершенно изумительно! Впрочем, не удивлен: вы всегда умели устроиться на теплое место. Ха-ха! А ведь недурно вышло — насчет теплого места! Директор крематория!..

Как я, спрашиваете? Представьте себе — отлично. Я возглавляю важную организацию, назначение которой сделать всех счастливыми. Удастся ли? Великолепно удастся. Поверите ли: сегодня перед вами глубоко несчастный, огорченный жизнью человек, ну и все прочее, а завтра, глядишь, весел, поет и смеется. Да кому как не вам и знать? Ну, скажите по совести, заметили ли вы, что у ваших клиентов — в крематории, то есть — в последнее время более счастливые лица? Заметили?

Так этим они нам обязаны, и знаете, почему?... Пардон, мадам!... Я, кажется, эту даму толкнул, с собачкой. Я сейчас... подождите минутку!..

— Простите, мадам, я кажется, вас толкнул. Прошу прощения! Вы не заметили? Но, уверяю вас, это были вы, и собачка тоже. Вы шли, скажем, тут, а я, значит, стоял здесь, а потом повернулся и — бум! — толкнул вас. Вспомнили? Нет? Странно. Конечно, такое случается. Кстати, какая прелестная собака! Нет, правда, это просто замечательно иметь такую красивую собаку! Особенно глаза. Она поражает глазами. У меня тоже была такая. Что? Нет, не собака, я хотел сказать — кошка. Да, да, совершенно изумительная, серо-коричневая и... Но чего мы, собственно, стали? Давайте, зайдем куда-нибудь. Здесь, за углом, есть чудесный японский ресторан! Или нет, постойте, не могу, ведь мне же вырезали желудок. Да, представьте себе, целиком. Как справляюсь? Ах, как хорошо, что вы об этом спросили. Такой же вопрос мне задал м-р Краус. Вы не знаете, кто такой Краус? Какая обида! Милейший человек и, к тому же, директор крематория. Мы с ним так славно беседовали, когда я вас толкнул. Не толкал, говорите? Вы просто очаровательны... Осторожней, здесь еще один лежит. Новая болезнь — социофобия. Не слышали? Ну, да, алкоголизм, но ведь так не принято говорить. Нынче все по-другому. И подумать только, — в какую эпоху мы живем, какую замечательную эпоху! Сколько новых прекрасных слов, и все это не с плеча, а умно, заботливо! Я так намеренно сказал мистеру Краусу — кстати, вы не знакомы с ним? Это талант! Так я ему и говорю... Постойте, что же это я ему сказал? Ну, да не важно. Но как он ответил, как дельно ответил; и остроумно — я потом, помню, долго смеялся. Что? Вы что-то сказали? Нет?..

А мне все же обидно насчет ресторана. Может, в бар зайдем? Почему нельзя? Нет, напитки можно, это ведь прямо в кровь. Собака, говорите? Ах, ты! С собачкой, и правда, не пустят. А жаль, очень уж она у вас славная. Дайте поглажу! Ай! Нет, нет, не успела. И до чего умна: чуть что и за палец... Послушайте, может, зайдем в магазин? Торопитесь? Как обидно! И почему так всегда: встретишься, разговоришься, а тут дела, нужно

бежать. Ну, ничего не поделаешь. А я загляну-таки в магазин — вы посмотрите, какая распродажа! До свидания, мадам!

— Здравствуйте, милая девушка! У вас в витрине объявление о распродаже. Значит, верно? Так это же замечательно, это так выгодно покупать вещи по пониженным ценам. И вы это часто делаете? Скажите пожалуйста! А вот эту вещицу, к примеру, тоже можно дешевле? И ту тоже? Ну, а это вот что такое? Лифчик? Это, ну да, это, значит, то, что дамы носят. Понимаю. Но какая работа! Я думаю, что и в год такого не сделаю, и в два... Что? Думаете, в два сделаю? Может, вы и правы, в два управлюсь. Но как с вашей стороны любезно — продавать вещи дешевле настоящей цены. Мне даже совестно просить вас, нет, нет, право, я уйду. Пусть уж достанется другому. Ах, у вас еще есть? И по той же цене? Послушайте, где ваш управляющий? Я хочу пожать ему руку. Его нет? Тогда знаете что? Я сейчас же схожу за дамой, что прогуливается здесь с собачкой. Она, конечно же, будет рада... Как вы сказали? С собакой нельзя? Подумайте, такая распродажа, а вот из-за собаки... Тогда я сбегаю за Краусом, из крематория... Нет, он жив, что вы, он там только директор. А вы, значит, оставайтесь здесь, я одним духом.

— Фу, наконец-то отыскал вас, дорогой мистер Краус! Эта дама с собачкой меня буквально заговорила. И до чего же, знаете, мила. Что? Вы не помните собачки? Так ведь она шла справа. Дама вот здесь, а собачка... И дамы не помните? Ну, это уж извините! Ведь вот мы с вами стояли, скажем, здесь, да? А дама с собачкой прошла слева. Тут я неожиданно повернулся и — бум! — толкнул ее. Нет, не собачку, даму. Что вы говорите? Вы не помните, чтобы мы с вами здесь стояли? Да как же это?! Да ведь... Э-э-э! Вы, я вижу, шутник, мистер Краус, вы меня попросту решили разыграть. И это, знаете ли, превосходная мысль — разыграть человека. Потому что... Как? Вы меня не знаете? Вы не Краус? Но почему вы здесь стоите? Странно. Тогда, значит, вы и к крематорию никакого отношения... да я не о вашем возрасте, я о службе. Вы писатель? Так это замечательно, это просто восхитительно! Вы, значит, пишете книжки? Романы, новеллы? Ну, можно ли представить себе что-нибудь лучше! Я, знаете ли, сам подумывал заделаться писателем, да все

как-то не выходило. Работа у меня уж очень ответственная. Инженер? Да, вроде и инженер — человеческого счастья, так сказать... Да, всех сделать счастливыми, непременно всех! Вы улыбаетесь? Ах, милый человек, а ведь вам, писателям, и карты в руки. Обязательно нужно включиться. И как чудесно вышло, что мы с вами встретились, как удачно!

Кстати, вас распродажа не интересует? Чего? Больше дамских вещей, но как дешево, как безрассудно дешево!.. Есть и мужские, и тоже дешево. Вообще же скажу вам, они просто с ума посходили: вещь, к примеру, стоит восемь, а ее за шесть! И еще говорят, что у них много и все за ту же цену. Не верите? Так пойдемте, это здесь, за углом. Увидите продавщицу — все поймете: какие глаза, какие хороше, честные глаза! Там, кажется, можно и мороженого заказать. Вы любите мороженое? А я обожаю. Особенно, если не слишком холодное. Ну, что, уговорил? Вот и отлично. Нет, нет, уж разрешите мне, это такая честь, ведь писателей все знают.

Ну, а что вы написали? "Уроки любви". Замечательно! Нет, не читал, но собирался. Мне почему-то сразу подумалось, что это превосходная книжка. Там ведь, наверное, все хорошо кончается? Ну, вот видите. Это очень важно, чтобы хорошо кончалось. Еще лучше, когда все хорошо, но конец особенно. А у вас и по началу хорошо? Не совсем? Но дальше лучше? Тоже нет? Ну, ничего, зато конец хороший. А мы, кажется, пришли, вот и объявление — распродажа! Или нет, постойте! Здесь канарейки. Там не было канареек, и попугаев не было. Странно, я так был уверен, что это то, а это другое. Вы любите канареек? Ах, как я вас понимаю! Я, помнится, где-то читал о такой: все пела и пела. А потом пришел злой мальчик и... нет, не хочу вспоминать. Вы вот, писатель, знаете, зачем нужно зло, а я не знаю. Нет, нет, не говорите! Мне на днях объяснили, так я спать не мог, а я очень люблю спать. Но мне, право, жаль, что так вышло. И какая там распродажа! Надо непременно включить их в нашу программу. Вот именно, все средства включить — и лотерею, и подарки, и распродажу. Вы знаете м-ра Крауса? Это поразительная личность, директор крематория. Так он утверждает, что в последнее время у его клиентов лица будто стали счастливее. Да, да, я же и говорю: и жить и умирать стало радостней.

Кстати, как у вас обстоит со сном? Вот это хорошо. А у меня, знаете ли, неважно. Посплю и проснусь, посплю и опять проснусь. А то спишь, а снится, что не можешь заснуть. Проснешься, вспомнишь, как во сне не спал, и зеваешь, зеваешь... Гляньте-ка туда, вон на того человека у стены! Видите? Он тут всегда стоит. Ну, что значит "бродяга"? Вот и мы с вами... Но мне нужно ему несколько слов, только... Вы не уходите, я сейчас!

— Гм..! Сэр! Простите за беспокойство! Вы не заняты? Нет, я не из полиции, я... нет, и не пастор. Я из Организации всеобщего счастья. Не слышу. Да, всем, непременно всем. Я давно уж хотел спросить вас — что вы здесь делаете? Говорите громче! Ничего не дела^{те}? Позвольте, как же это? Вы, наверное, наблюдаете, обдумываете? Нет? Странно. А я люблю думать. Только я больше хожу; хожу и думаю, хожу и думаю... Но послушайте, это должно быть скучно, вот так, ни о чем? Совсем наоборот? Любопытно! Знаете что, не зайти ли нам в бар? Там бы и потолковали. Не можете? Что вам вырезали? Да скажите хоть на ухо! Да, да,... о... о..., о-о-о! Ага... да... эге... Да не может быть! И, значит... да, да... Ну и ну! Доктор, выходит, в лужу сел, — не то вырезал?! Как интересно! Я это непременно расскажу Краусу. Вы не знакомы с ним? О, это — голова! Директор крематория! Только он, видите ли, полагает, что счастье приходит от удобств разных, ну, техники там, общественной организации и прочего. А я говорю, что от радостей, что нужно побольше подарков, лотерейных билетов и... распродаж — каждый день распродажу! И знаете что? Только это пока секрет — никому ни слова! Я думал уговорить его, чтобы он тоже, значит, объявил у себя распродажу, перед праздниками. Не правда ли, остроумно? Ну, вот, я и не сомневался, что вы одобрите.

Но как обидно, что я его потерял. И все из-за этой женщины. Что такое? Нет, ничего драматического, я про даму с собачкой. Ведь мы вот тут стояли, неподалеку... — не с дамой, а с Краусом. Дама проходила мимо, а я повернулся и толкнул ее... Да нет же, — нечаянно. Я и пошел за ней, чтобы извиниться, а Краус остался... Ну да, я же с этого и начал: если б не она, то и не потерялись бы...

А нам с вами следует объединиться. Нам нужны люди с вашим опытом. И знаете что? Вы мне понадобится сейчас же, немедленно. Зачем? Слушайте: у нас в организации возникли неполадки, недоразумения. Только вы не подумайте чего! Люди у нас отличные, ах, какие превосходные люди! Одна беда — путаники, все путают. Как и сейчас: вдруг выясняется, что у троих есть формула всеобщего счастья. Что? Да, да, у каждого своя. Но вы же человек практический, вы же понимаете, что это невозможно, чтобы, значит, у всех троих! Вот я и расследую, и выясняю. И какая удача! Через полчаса у нас заседание! Пойдете? Ну, не чудесно ли все выходит! Вашу руку, сэр!

П. Муравьев

Как будто поздняя весна,
Сиял последний месяц лета,
И всё же рядом, рядом где-то
Уже сквозила желтизна,
И словно в смутном ожиданье,
Томился этот долгий день,
А по лесам носилась тень
Неслышного похолоданья.

Лия Владимировна

Слишком скорые проводы
И поспешные встречи.
Вечер сразу, без повода,
Поднял черные плечи.

Молча, не по-казенному,
Словно жить было незачем,
День как призрак казенного
Мерк в окне в Новодевичьем.

Лаской в лоск не заглажена
Даль Москвы снеговая.
И отмерена саженью
Панорама окраин.

Улиц руки раскинуты —
Обними без разбору —
Шапки снега надвинуты
На дома, как уборы

Головные. Доколе ты
Будешь праведных мучить,
Город — книга раскольников
Не прочтен, не изучен.

На сожжение сложены
Книги, улицы, лица.
Так по штату положено
Городам и страницам.

Борис Орлов

ВОРОНЕЖСКИЙ МАНДЕЛЬШТАМ

*Весть летит светопыльной дорогою...
Мандельштам*

Что хочу, то и делаю. Здорово!
А за мной молодой Златоуст.
Небо мертвое сине-фарфорово.
Жизни по снегу сахарный хруст.

Мандельштамово пение: сольное.
И Воронеж уже позади.
Воля вольная, круглоугольная.
Отпускаеши... бди и иди.

Небо чашей, синея, спускается.
Из Грааля, алея, вино.
Дирижерская дерзкая палица.
А у музыки выбито дно.

Что политики. Или философы.
Близнецами Орфей и Давид.
А за пазухой овна-Иосифа
Небоземное море шумит.

Прикоснись узловатыми пальцами:
И развяжутся злые узлы.
О, не мойры, а музы за пальцами:
Домотканно-румяно-белы.

Юрий Иваск

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПНИН

Александр Николаевич Черепнин родился в Ст. Петербурге 8-го января 1899 года в семье известного композитора-дирижера Николая Николаевича Черепнина. Мать его была -- дочерью известного акварелиста Альберта Бенуа от его первого брака с пианисткой Марией Кинд -- как известно -- это одна из выдающихся артистических семей России.

Сочинять начал очень рано и -- как он сам пишет в еще неопубликованных воспоминаниях -- без особого поощрения со стороны отца, который не хотел, чтобы его единственный сын становился на тяжелый и часто столь неблагодарный путь артиста. Однако -- любил вспоминать Александр Николаевич -- "наблюдая как мой отец пишет музыку, я и сам стал чертить ноты, что побудило мою мать научить меня нотописанию еще до того, как я был посвящен в таинство букв алфавита . . . я научился "записывать" знакомую песнь нотами, на нотной бумаге, а вскоре нашел соотношение нот с клавишами рояля и научился записывать и то, что я "находил", импровизируя на рояле. По непонятной для меня причине, не имея тогда (да и по сей час) никакого представления об игральных картах, моими первыми записанными сочинениями были "Бубновая дама", "Трефовая дама" и даже, кажется, "Пиковая дама". В правом углу моей комнаты висела большая потускневшая икона... Моим первым ярким и по сей час оставшимся воспоминанием было то, как я стою перед этой иконой и прошу Бога помочь мне стать композитором".

Ко времени революции в музыкальном портфеле восемнадцатилетнего Саши, накопилось уже значительное число собственных произведений. Был тут и балет на сюжет Анатоля Франса

"Обедня Призраков", было и очень много миниатюрных пьес для фортепиано, которые старший Черепнин шутливо называл "блошками", была даже и опера на текст драмы А. К. Толстого — "Смерть Иоанна Грозного". В связи с сочинением этой оперы, Александр Николаевич любил вспоминать забавный, но и имевший для его будущего творчества чрезвычайно важные последствия случай: — "...Музыцированием я мог заниматься только в отсутствие моего отца и имел доступ к роялю только тогда, когда его не бывало дома... Под нашей квартирой была квартира Ипполита Ильича Чайковского, брата композитора, кажется адмирала в отставке, в которой он жил со своей женой. Я с ним не был знаком, но, конечно, ему не было неизвестно имя моего отца. Для усиления эффекта трагического момента оперы, я приобрел большой железный лист, который держал под рукой, когда сочинял за роялем "Смерть Иоанна Грозного" и бросал его на пол, подчеркивая этим зверское сфорцато ударно использованного фортепиано.

После одного из таких упражнений, я обнаружил под входной дверью маленький конверт, а в нем визитную карточку Ипполита Чайковского со строками следующего содержания: — "Милый Саша! Пожалейте больного старика, прекратите Ваши импровизации", с постскриптумом — "Упражнения Ваши я переносу спокойно". Я был глубоко расстроен и удручен прочитав это послание. Я знал, что для спокойствия моего отца, я должен был воздержаться от всякого музыцирования — считал, что это в порядке вещей, но как то не представлял, что моя музыка может быть услышанной за пределами нашей квартиры и что то, что мне доставляет радость, может приводить в агонию соседей.

Я, конечно, прекратил не только импровизации, но и упражнения. Не сразу сознался в получении обидевшего и огорчившего меня письма моим родителям. С моей стороны наступила полная тишина. Через несколько дней я обнаружил под входной дверью новый маленький конвертик и в нем на визитной карточке Ипполита Чайковского стояло: — "Спасибо, Милый Саша, что исполнили мою просьбу, пощадили старика. Теперь я поправился. Пожалуйста, возобновите Ваши импровизации и Вашу музыку". — Но урок, мной полученный, оказал-

ся чреватым последствиями на всю мою жизнь. Импровизация за роялем, если она кем-либо другим услышана, выставляет на показ самое интимное, что имеет композитор, обнажает его перед тем, кто его слушает, тогда как сознание того, что он может быть услышан в момент инкубации музыкальной идеи, пресекает непосредственность самовыражения и делает невозможным необходимое для творчества самоуглубление. С тех пор (получения первой записки Ипполита Чайковского) и по сей день я не могу сосредоточенно сочинять за роялем, если знаю, что кто-либо меня слушает, хотя бы это, самые мне близкие люди... Ипполиту Чайковскому больше не пришлось слышать мои импровизации, что впрочем не сократило мою плодовитость по части сочинения, изменив только способ проверки за роялем сочиненного”.

”Музыка, вообще, была в нашем доме ”религией”. вспоминал Черепнин. — Мать моя, обладательница прекрасного меццо-сопрано, только в силу своей необычайной скромности и застенчивости, не стала профессиональной певицей. Но в домашней обстановке очень любила петь, и я был ее единственным аккомпаниатором, когда она исполняла немецкие лидер, русские романсы или французские песни”.

В семье отца молодой Саша с раннего детства имел возможность встречаться с наиболее видными представителями искусства того времени — Римским-Корсаковым, Лядовым, Кюи, Глазуновым, Стравинским, Прокофьевым, Дягилевым, Шаляпиным и многими другими.

Отец — Николай Николаевич — был чрезвычайно религиозным и часто брал Сашу в православные церкви. В великие праздники у них даже создавался некоторый ”ритуал” посещения известных Петербургских храмов и в особенности тех, в которых были замечательные хоры. Уже за границей, в Париже, одним из ближайших друзей их семьи был известный и чрезвычайно популярный в среде русской интеллигенции, митрополит Евлогий. Благодаря тому, что мать Саши была католичкой, он и с ней, бывая в католических церквях, чувствовал себя одинаково ”дома”. В нем с раннего детства развилась глубокая религиозность, но в более широком смысле слова. Он никогда не чуждался какой бы то ни было религии (бабушка

матери была лютеранкой) и -- более того -- интересовался верованиями Дальнего Востока -- шинтоизмом, конфуцианством и вообще религиями всех народов.

По окончании гимназии А.Н. поступил в Петербургскую Консерваторию, но проучился в ней не очень долго, так как в это время как раз уже начался "великий русский исход" и он с родителями сначала несколько лет жил и учился в Тифлисе, где старший Черепнин был директором местной консерватории и дирижером оперы, а затем закончил свое музыкальное образование в Париже.

Большинство из его многочисленных **ранних** композиций так никогда и не были изданы. Многие вообще не удалось вывезти из России, но, начиная с парижского периода, большинство его композиций завоевало популярность в музыкальном мире, было издано и неоднократно переиздаваемо большими музыкальными издательствами и часто исполняется виднейшими артистами мира. Александр Николаевич и сам был не только глубоко талантливым композитором, но и видным исполнителем, пианистом (причем не только своих произведений) и незаурядным дирижером.

В своих жизненных исканиях, он -- еще в ранней молодости -- глубоко увлекся евразийской идеей. -- "В моем понимании Россия была столь же европейская, сколь и азиатская страна -- иными словами -- истинное Евразийское государство ... и более того -- Россия еще многое должна дать Востоку, сколь и в не меньшей мере получить от Запада ... " В оправдание своих евразийских взглядов, Александр Николаевич в тридцатых годах отправился в длительное путешествие по Дальнему Востоку. Больше всего его влекли к себе Япония и Китай. В течение ряда лет он изучал культуру этих стран, а в особенности музыкальное их наследие и, конечно, фольклор его больше всего интересовал. Затем, после возвращения в Европу, решил еще раз возвратиться на Дальний Восток, и желая на опыте собственной жизни осуществить свои евразийские идеи, он в конце **тридцатых** годов женился в Шанхае на видной молодой пианистке Ли Сиен-Минг и создал с ней идеал своей "евразийской семьи". От этого брака родились три сына -- Петр, Сергей и Иван. Правда, несмотря на "евразийство" отца -- все с русскими именами. Причем, двое

младших пошли по пути отца и деда, став также видными композиторами уже в Америке и — в духе современности — известными специалистами по "электронной музыке". Я как-то в разговоре спросил старшего сына Петра, почему и он не избрал такой же путь и получил полушутливый, но твердый ответ: — "Помилуйте, но ведь нужно же кому-то в семье заниматься и доходным делом". Петр Александрович — финансист...

Творческая жизнь Александра Николаевича продолжалась без малого семьдесят лет. Если не считать его ранние, неизданные композиции, то начиная с двадцатых годов он неустанно работал на композиторском поприще и в результате создал несколько опер, среди которых "Оль-Оль" (1928 год) пользовалась в Европе долгим, заслуженным успехом. Соблюдая традицию русских композиторов, написал и ряд балетов, симфонии — Первая Симфония, например, была исполнена в Америке еще в 1927 году, ряд фортепианных, скрипичных и виолончельных концертов, сонаты, много камерной — инструментальной и вокальной — музыки, хоровой (светской и духовной) музыки также немало в его музыкальном наследии.

Его многочисленные путешествия по всему миру, отразились и в его творчестве. Отсюда и ряд композиций "национальных" — "Японская" и "Русская" сюиты, "Грузинская Рапсодия", песни на слова китайских поэтов и т.д. Много поработал он и в области оркестровки и редактирования чужих произведений. Одно из них буквально "воскресил" из небытия это "Женитьбу" Мусоргского, когда дописал второй акт неоконченного композитором произведения и заново все отредактировал. Следует отметить, что именно эта редакция пользовалась в Европе большим успехом в течение долгого времени. Одним словом, Черепнин проявил себя во всех отраслях на музыкальном поприще. Составил и небольшую, но интереснейшую "Антологию Русской Музыки. 80 примеров от истоков до 19-го столетия". Издание это опубликовано уже на европейских языках, но в оригинале написано по-русски и ждет еще своего русского издателя. После Черепнина также остались еще не опубликованные, чрезвычайно интересные автобиографические записки, в которых он пишет не только о себе, но и о многих своих современниках музыкантах, деятелях культуры и о своем миро-

воззрении. Ценность этих записок еще и в том, что Александр Николаевич чуть ли не с 5-летнего возраста вел регулярные дневники, в которых записывал все важнейшие моменты своей жизни и любопытные наблюдения о своих современниках. Эта область его творчества еще ждет обстоятельного исследования и я очень надеюсь, что в ближайшем будущем будут опубликованы хотя бы выдержки из его богатого литературного наследия. Он, несомненно, имел дар и в этой области литературы.

Как я уже писал, Александр Николаевич был не только всемирно признанным композитором, но и выдающимся исполнителем — на первом месте пианистом, но обладал и немалой дирижерской техникой. Многие его оркестровые произведения записаны на пластинки под его управлением. Причем, во всех случаях с первоклассными ансамблями — от "Би-Би-Си" до лучших немецких и американских оркестров. Незадолго до смерти, ему удалось осуществить и свою давнишнюю мечту: записать для "PATE-MARCONI" пластинку романсов своего отца и своих. Он сам, несмотря на свой уже немалый возраст, аккомпанировал солисту. А солист, в этом случае, был один из самых видных певцов нашего времени — Николай Гедда. В результате такой "коллаборации", получился своего рода шедевр и, пожалуй, наилучший памятник двум русским композиторам. Пластинка эта поступит в продажу в ближайшее время. К сожалению, Александр Николаевич не дожил до выхода в свет этой своей последней пластинки, но в конце прошлого года, когда в Нью Йорке было устроено мемориальное собрание его памяти, его американо-русские почитатели имели возможность прослушать специально для этого собрания присланный из Парижа "мастер" диск записи. Трудно выразить словами, какое сильное впечатление произвела на слушателей эта запись. Временами казалось, что как бы сам композитор присутствовал в зале среди своих почитателей. Собрание это открыл Николай Гедда кратким словом посвященным памяти последнего композитора "Петербургской Школы" Александра Черепнина. "Александр Николаевич Черепнин принадлежал к числу тех композиторов, которые по праву заслужили интернациональное признание... Композитор "20-го века" — он создавал свои творения на базе классической музыкальной школы и — не-

смотря на некоторые возможные отступления -- продолжал быть последователем той плеяды композиторов, которая давно уже признана "могучей".

Его творческая жизнь продолжалась свыше семидесяти лет, причем до самого последнего дня он не переставал трудиться на музыкальном поприще. В течение ряда лет я имел удовольствие хорошо знать Александра Николаевича и думаю, что его творчество будет продолжать жить в сердцах всех любителей искусства. Он несомненно заслужил ВЕЧНУЮ ПАМЯТЬ. Александр Николаевич скончался скоропостижно и похоронен в одной могиле со своим отцом на русском всезарубежном кладбище Сен-Женевьев де Буа под Парижем, недалеко от замечательного храма-памятника, построенного уже в зарубежные годы и расписанного его ближайшими родственниками -- четой Бенуа.

Алексей Скидан

*

Уже десятками считаю я года
Вот в этой жизни длинной
Но то,
Что эта жизнь висит на волоске,
Растущем на твоём виске,
Тебе я не признаюсь никогда,
Тебе я не признаюсь ни за что.

Нет, лучше утоплюсь в реке
И стану рыбоховстою ундиной
И буду петь и плакать в час заката
В цветущем неньюфаровом венке.
Нет, лучше в полуночной мгле,
Туда откуда нет возврата
Я на крылатом улечу козле.

Ирина Одоевцева

ЗАМЕТКИ ХУДОЖНИКА

Каждый по-своему с ума сходит. Согласно той же комической логике, по которой сапожник напивается в стельку, столяр — в доску и т.д. художник сходит с ума во что-то. Минутки сумасшествия бывают, я думаю, у каждого художника. Возможно, это просто игра воображения, просто силы рвутся наружу. Как у ребенка, которому нужно что-то про себя бормотать, делать самому себе рожи, выдумывать страхи, пугаться и преодолевать их. Может быть, надо уяснять себе, как именно сходишь с ума, а также замечать, как сумасшествуют другие. Тогда понятнее станет, что к чему в собственном творческом процессе. Мне пришло в голову записать несколько таких "минуток сумасшествия" и прибавить к ним разные мысли, неожиданно прицепляющиеся к сознанию — как репейник, колючий и ненужный.

ПОИСКИ ФОРМЫ

Бывает так: устанешь, приляжешь на диван, свесив ногу, закроешь локтем глаза и скажешь себе: "Все равно. Наплевать. Ну и пусть." И с облегчением вздохнешь. Но в этот самый момент сам прекрасно знаешь, что это равнодушие есть нечто иное, как старый, проверенный трюк, творческая уловочка. Это — как бы разравниваешь песочек на площадке, чтобы не было следов, камушков, веточек. Когда все чисто убрано, ждешь с наигранным равнодушием, но и любопытством начала "представления". Первые минуты — ничего. А затем появляется Форма.

Какая она — круглая, угловатая, твердая, воздушная — не знаешь. Потом выяснится. Главное в том, что форма моментально вызывает двойное чувство — желание ласки и потреб-

ность насилия. Почему — судить не берусь. Но это — фундаментальнейшая истина. Поколения и поколения живописцев и скульпторов познавали форму путем ласки и насилия. Все "измы" искусства коренятся в этом, и вопрос только в том, что преобладает. И, конечно, каков подход и каков характер действия.

"Пойду", — говоришь себе и идешь на форму, как мужик с рогастиной на медведя. Ткнул. Плохо. Назад. Форма забрасывается второй раз, как мячик в воздух — и метнешь в нее. Промаях. Но что-то медленно летит вниз, как птичье перышко. Опять не то.

"А не плеснуть ли в нее?" И плещешь кислотой своего воображения. Шипит, подлая, и съеживается. Беда. Начинаешь хождения по кругу, метания, коленопреклонения, пинки, объятия, удары, пока, устав, не ляжешь на песочек. В углу площадки, в тени, замечаешь вдруг ребенка. Сидя на корточках, склонив голову, он строит песочную горку, но песок с верхушки осыпается и горка не растет. "Не выйдет так, детка", — говоришь ему.

"А пошел ты к ...", — хрипло отвечает детка и поворачивает свое остервенелое, одичавшее лицо взрослого художника. Отшатываешься. "Тут художник вздрогнул и проснулся". Можно было бы закончить. Но дело все в том, что это не сон, а явь. Все так и было. И вот доказательства: исписанное полотно на мольберте, кисти, выдавленные тюбики краски и тряпка, упавшая на пол — следы боя, игры, ласки и насилия над формой.

*

Сидел и рисовал. Получалось плохо. Вырвал лист из блокнота, скомкал, бросил в корзину и задумался, желая дать себе передышку. Прошло, может быть, полминуты и тогда тихо, едва внятно, послышался из корзины сухой, осторожный шорох.

"Мыши!" — подумал сразу. Но откуда им? Прислушался. Все тихо. Потом, через короткую паузу, снова двинулось что-то. Что? И вдруг осенило — да это ведь скомканная бумага в корзине распрямляется! Как просто и прозаично! Улыбнулся сам себе. Да, есть какая-то в ней, в бумаге, жизнь. Не хочет быть скомканной, смятой, тянется к своей чистоте, к прямоте, к дев-

ственности неисчерпанного листа. К первозданности, иными словами. Даже бумага, даже бумага!

*

Ночью — кошмар. Приснилась прямая линия! Вскочил весь в поту и сердце бьется. Босым ногам холодно на гладком полу. Посидев минуту-другую на краю постели, прилег снова, закутавшись в неостывшее еще одеяло. Снова прямая линия! Не знаю уж, во сне или наяву, но схватил ее, изогнул в бараний рог и с отвращением, как змею, бросил на пол. Она лежала секунду-другую и стала выпрямляться. "Что бы это значило?" — ло-
маю себе голову.

Это, господа, борьба с формой идет. И день и ночь. Это — болезни искусства, колющие боли и недомогания. И не то еще бывает!

В духоте ночи, в тяжелой тишине влажного утра, в шуме вонючего дня все только об одном и думаю — о сладости неторопливой свободы, когда каждый штрих пера или мазок кисти ложится логически, изнутри и выражает задуманное и почувствованное.

А то ведь как живу? В суете, в рывках, в упрямом через силу делании. Вот и результаты: замученные, напряженные фигуры. Но, может быть, так и надо? Может быть, все это через-силу делание и есть смысл жизни? Бежит человек к цели, задыхается, хрипит. Остановился на минутку, чтобы перевести дух. А ему говорят: "Да вы уже давно цель свою пробежали!"

"То есть как?"

"А так. Не заметили. Сейчас впустую бежите".

"Но как же это..."

"А вы что думали, вам финиш с оркестром и фотографами устроят?"

"Но зачем же вы мне не сказали, что я уже цель свою пробежал?"

"А вот если бы не остановились и вообще не думали бы о цели, то и хорошо все было бы".

Встал, вздохнул и потрусил дальше человек. Но вот снова появилось второе дыхание, поднажал, побежал быстрее.

Сзади смеются: "Ишь пошел, дурак!"

"Смейтесь, сволочи! Все равно бегу, с целью или без цели!"



Видел: идет человек по улице весь в мыслях. Потом остановился, пощупал карман и... паника! Хватает карманы слева, сверху — кошелек потерял! Сразу повернулся назад, пробежал несколько шагов — нет, не туда! "Где же это я мог?" — мучительно спрашивает себя.

Вот так и у меня: пишу, тружусь, componую... и вдруг — батюшки, да оно ведь плохо! Я и так и сяк, переписываю, ломаю — нет, не выходит! Смотрю на старые свои работы, года два тому назад сделанные, и вижу, что тогда работал правильнее. Я — назад. Но поздно. "Где же это я, когда же это я свихнулся?" И подлый липкий страх проступает, как пот. Потом слегка успокаиваюсь. Ведь и человек, потерявший кошелек, знает, что дома у него в ящичке еще двадчатка лежит. На нее можно необходимое купить. Но — с осторожностью. Вспоминаю и я, что и у меня "двадчатка" еще есть (то есть навыки, опыт, какое-то умение). На них можно осторожно что-то восстановить. Но эта проклятая художественная бедность, это постоянное разорение, утеря, растрачивание чего-то! Не усмотрел, не углядел! Ведь всю жизнь так маешься!

ГРУСТЬ

Был у меня приятель, с которым велись иногда "мужские разговоры". Оба мы были тогда студентами. Рассказывая об одном своем увлечении, приятель сказал: "Ты понимаешь, в тот момент, для того, чтобы быть с нею, я готов был бросить университет, родителей, все мои моральные обязательства — ну, все на свете! У тебя, конечно, бывали такие моменты?"

"Нет", — ответил я.

"Ну, тогда ты не любил!"

Меня это кольнуло.

"Не думаю, что я когда-либо бросил бы искусство ради женщины!"

"Тогда ты вообще не способен любить", — сказал мой друг.

И я моментально обиделся. Подумав, стал ему доказывать, что та любовь, о которой он говорит, не любовь, а патология и безхарактерность.

"Сухарь ты!"

"А ты — тряпка, бабник!"

Мы, конечно, не поссорились, но каждый остался при своем мнении.

Разговор этот как-то запал в мою душу и периодически при разных обстоятельствах вспоминался и переживался. Какая-то нотка сомнения — "а может быть, надо все-таки быть способным все ставить на карту?" — осталась.

Много лет спустя, в беседе с одной женщиной зашел разговор о темпераменте человеческом и о способности людей к стопроцентному наполнению. "Вот есть люди, которые все переживают сполна, которые отдаются чувству, идее, цели целиком, без всяких "но", без оглядки", — говорила она.

"Это все очень хорошо", — возразил я, — "но дело-то все в том, чем человек наполняется!"

"Нет, дело не в этом, а просто в способности наполнения! Эта способность далеко не всем дана. Есть люди, которые не могут до конца наполниться, как бы они ни старались. И это плохо".

"Вы хотите сказать, что способность полного наполнения есть плюс?"

"Конечно".

"Даже если человек наполняется ерундой какой-нибудь?"

"Вы нарочно сводите разговор к абсурду и не хотите меня понять!"

Действительно, я не хотел понимать. Всякие примеры приводил. Вот, скажем, свобода. Хороша она или нет? Ответ, кажется, простой — свобода не имеет ни плюса ни минуса, она лишь состояние, позволяющее хороший или дурной выбор. То же с полнотой наполнения. Ведь это так ясно!

"Но ведь без свободы нельзя сделать выбор! А без способности наполнения нельзя наполниться хорошим!"

"Да, конечно..." — признал я и с оговорками должен был согласиться. И все же, когда я слышу о человеке, что он "целиком отдает себя" какому-то делу, а какому именно — не говорится, я невольно представляю себе человека ограниченного, даже инфантильного. Ребенок, играя в кубики, тоже отдает "всего себя" и ничего кругом не видит. А когда с умилением восклицают — "он свободолюбив!", то я почти уверен, что инди-

видуум этот — эгоцентрик и непоседа.

Но здесь должно же быть какое-то состояние человеческое, позволяющее эту самую силу наполнения и исключаящее однобокость, слепоту и хватание через край! Ответ, в конце концов, нашелся. Мне вспомнилась как-то одна фраза, не знаю, кем и когда сказанная, — "Грусть потому так любима поэтами, что она — самое сложное, многогранное чувство с бесконечным количеством оттенков". Подумал — а и верно! Грусть, действительно, всеобъемлюща и заключает в себе самые крайности — надежду и безысходность, печаль и радость. Грусть созерцательна. Грусть — это синтез, сумма всех переживаний. Причем грусть эта совсем не разочарование в жизни, нет. Грусть — это творческое раздумье, охватывающее все чувства человеческие, все законы и понятия времени, пространства и прочего. И вот тут-то я и понял — именно в грусти получает человек стопроцентное наполнение, не попадаясь на удочку страстей, идей и прочего!

Грустный человек может и плакать и тихо радоваться, может быть совершенно пассивен и может углубленно творить. Грустный человек не кинется как ошалелый к бабе, не полезет на баррикады, не пропадет в картежной игре, не займется умерщвлением плоти. Все страсти и радости слишком динамичны и однобоки, одна лишь грусть умна, спокойна и творчески стопроцентно наполнена. В грусти не ставишь на карту университет или моральные обязательства. Грусти творчески посвящаешь себя.

Ах, как это хорошо и понятно — сказал сам себе и пошел в ванную, чтобы символически умыть себе лицо. Холодная вода приятно освежила. Утираясь мохнатым полотенцем, взглянул на себя в зеркало — и сердце екнуло! Что за рожа! Что за дикий взгляд (не грустный, а именно дикий, выпученный, ошалелый)! — Неужели опять ошибся?

ДРЕВНИЙ ЕГИПТЯНИН

Это было мое первое лето в душном, жарком Нью Йорке. Вряд ли смог бы я уехать куда-нибудь в отпуск, если бы один доброй души человек не предложил моему другу и мне отдох-

нуть две недели в его загородном домике. Мы, конечно, с радостью согласились.

Ехать было около часу. Мы оказались по другую сторону реки Гудзона и не без некоторого труда нашли среди густой зелени тропинку, ведущую к домику нашего благодетеля. Он, кстати, предупредил нас, что в домике живет один русский беженец, работающий на соседней ферме. Днем его нет дома, но он предупреден о нашем прибытии.

Домик оказался довольно поместительным, с четырьмя маленькими комнатами, в одной из которых жил этот беженец. Под вечер мы с ним познакомились. Звали его Павел Иванович, был он родом откуда-то с юга России, лет на вид сорока пяти. Ничего особенно примечательного в нем не было, разве что обращала внимание некоторая поспешность в движениях и быстрый, внимательный взгляд.

Мы зажили тихо и мирно. По вечерам говорили о погоде, Америке, о местных нравах. Павел Иванович обратил, конечно, внимание на то, что мы пишем этюды.

"Вы, значит, художники... Так. Вот, знаете, я вам что-то покажу. Пойдемте!" В своей комнатке он подошел к полке, на которой лежало много свернутых в трубку листов бумаги, порылся и достал несколько.

"Вот, смотрите", — развернул он один лист. Мы увидели большой, раскрашенный акварелью план. В центре — находилась церковь, нарисованная как бы лежащей на боку, а от нее лучами расходились улицы. "Это, видите ли, деревня, идеальная деревня. Вот храм Божий посерединке, а вокруг хаты. А здесь, глядите, — кладбище. Вот". И действительно, справа на бумаге было аккуратнейшим образом вычерчено кладбище. Каждая могилка изображена была в виде маленького прямоугольника с крестом в изголовьи и украшена маленькими цветочками.

"Вот смотрите, — сказал Павел Иванович, — вот здесь — это могилки младенцев невинных и цветочки-то веселенькие все. А тут — могилы убиенных и замученных. А здесь — просто честных православных христиан, по правде Божеской живших. Ну, а здесь... — и голос Павла Ивановича приобрел, как мне показалось, оттенок гадливости — тут самоубийцы лежат, с оси-

новым колом”.

Оказалось, что Павел Иванович был не только глубоко верующим человеком, но мечтал в свое время стать деревенским проповедником. Громадная потребность духовной стройности как в вере, так и в жизни, руководила им. Планов деревень с церковью и кладбищем он нарисовал множество, с любовью и терпением, видимо, наслаждаясь самим процессом творения, как и следует истинному художнику.

Поразили меня, конечно, именно эти разрисованные кладбища, эта ориентация на смерть и на правильное устройство после нее. “Да ведь он — древний египтянин в душе”, — подумалось мне.

Узнал я, что где-то в России остались у него жена, сын и дочь. Он страшно без них скучал, подсчитывал, сколько сыну и дочери теперь годочков, и покупал им одежду на вырост. “Вот этот костюмчик Ване моему сейчас, пожалуй, и велик, но через год в самый раз будет”, — говорил он. В этой бессмысленной, но трогательной покупке чудился мне тот же древнеегипетский дух, то же снаряжение несущих в теле на дальнейшую жизнь, где все пригодится. Отпуск наш был слишком коротким, чтобы ближе познакомиться с этим человеком. Да, может быть, и узнать-то про него больше и нечего было. Все устремления, вся вера и философия Павла Ивановича, как и его планы, укладывались на одном листе бумаги, стройно, аккуратно, с наивной простотой. Но такой уж ли наивной?

УЗНАВАНИЕ

Люди всегда радуются, когда что-то узнают.

“Смотри, там идет человек с бородой. А я с ним ехал вчера в одном вагоне!”

“Видишь это облако? Правда, на человеческую голову в кудрях похоже?” Узнавание — один из магнитов искусства. Когда что-то узнал, ты уже не один, ты — в окружении знакомых, понятных и близких вещей. От этого веселее и спокойнее на душе. Реализм в живописи околдовывает многих людей именно этой магией знакомого. А Нереализм отталкивает и пугает.

“Это что же такое тут нарисовано? Ничего не разобрать!”

Насмешка какая-то!" Человек возмущен, потому что покой его нарушен незнакомым. Так дикарь пугается незнакомого ему шума и хватается за дубину.

Другие же люди тянутся к необычному. Необычное — другая колдовская сила, заложенная в искусстве. Точно так же, как человек оборачивается и смотрит вслед прошедшей красавице или уроду, зритель останавливается перед незнакомым на полотне.

"Странная какая-то картина. Интересно, что тут хотел художник изобразить?"

Так мы и живем, узнавая и не узнавая вокруг себя, радуясь и любопытствуя. Большое произведение искусства всегда включает в себе эти два элемента — знакомое и незнакомое, страшно близкое и до самой мельчайшей детали понятное — и ни на что не похожее.

ПЛЯЖ

Чувствительными ступнями осторожно касаясь горячей гальки пляжа, пробираюсь к воде. По пути обхожу распластаные тела купальщиков. Блестят от жирных кремов плечи, руки и ляжки, лоснятся спины, розовеют полуобнаженные ягодички. Все тела, кажется мне, как бы сервированы в ярких купальных костюмах на белесых подстилках и полотенцах, с мелким разноцветным гарниром снятых одежд, сумок и кульков. Приглушенные звуки радио и шум прибоя нагоняют дрему, и тела почти недвижимы в горячей истоме. Изредка вскинется рука, согнется в колене нога, медленно перевернется тело.

Если забыть на минуту, что все лежащие на песке — индивидуальности с личными жизнями и судьбами, и представить их себе как некое стадо странных, розовато-бронзовых, мягких и теплых существ, осевших около питающей их стихии — воды, то понятной становится вся история эволюции, от амебы, рыбы и земноводных до этих втиснутых в яркие купальники округлостей, наделенных волосатой шишкой — головой. В ней — вся сложность психики.

А тело на песке — та же живность, что и другие твари, на песке у воды греющиеся.

Поучительное, экзистенциальное зрелище — пляж

МОЛЬБА

Вопию, ибо суха живопись моя! Рыдаю, ибо жесток рисунок мой! Простираюсь ниц, ибо тяжелы композиции мои!

"Перед кем вы все это делаете, дорогой мой?"

"Перед хранителями естества искусства".

"А не смешно ли?"

"Нет. Это всегда надо делать. Это то же самое, что говорить с травой, беседовать с деревьями. Многие люди разговаривают с животными, рассказывают им свои беды, нужды. Будь у меня кот или попугай, я бы и их привлек. Но живу один. А "там где-то", в величии и славе, обретенными тяжелым трудом и творческими муками, находятся они, мученики искусства! Как живая картина в облаках — вот старец, согбенный перед мольбертом, вот безумец, судорожно хватающий блокнот и т.д."

"Да вы псих, дорогой!"

Радостно соглашаюсь.

ЖИВОПИСЬ

Кистью сделав контур, берешь тени цветом. Втираешь в подмышки, круглишь ляжки, всаживаешь в глазные впадины. А потом обволакиваешь фигуру как легкой свежей простыней — легким прозрачным фоном. И только белые куски полотна светятся слепыми пятнами. Тогда на них кладешь телесный цвет: малокровную розоватость с зеленым холодком, потную желтизну и легкую золотистость загара. Коленки делаешь сизыми и глупыми, а красноватые пятки — липко-лоснящимися.

"Вот гад-сладоглотник, всю свою картину ощупывает и обнюхивает!"

"Да вы, глупые, это не так понимаете! В цвете все соединяется — и запахи, и шумы, и биение сердца, и обрывки воспоминаний, сбывшееся и несбывшееся! И не только своей жизни, но и представление себе чужих жизней, чужих состояний и судеб! Тогда только и получает цвет жизнь и смысл".

ОГНИ

Когда по вечерам вспыхивают, гаснут и снова вспыхивают световые рекламы, город становится мошенником, лукаво

подмигивающим прохожим. Идешь — и подмигнул тебе ресторан. Прошел пять шагов, обернулся — мигает снова. Ускоряешь шаг, почти бежишь. Стал, обернулся — и снова лукавым красным взглядом прищурилась, затем вспышкой раскрыла зрачки и сразу же снова, как ни в чем ни бывало зажмурилась хитрая вывеска-реклама.

"Манит, подлюга!"

У людей неуравновешенных так возникают идеи преступлений. Или желание покончить с собой.

Но сделаешь усилие, прошепчешь из псалма — "возвесели, Господи, душу раба Твоего" — и мягче станут вспышки неоновых зрачков, успокоительны интервалы тьмы и радостным покажется прерывистый бег разноцветных огней города.

ВОЛОС

Жара в Нью Йорке. Небо сизое, воздух душный. Парит. Вывесившись из окна, смотрю вниз на улицу.

Есть что-то таинственно-бессмысленное в движениях фигурок пешеходов. Куда идут? Чего остановились? Зачем переходят улицу? Подумал: а не пойти ли самому? Собрался, вышел. От жары асфальт мягок под ногами, пышет жаром. Мимо идут женщины, колыхаясь в бедрах. Птичьи голоса. Шумными росчерками проскальзывают машины.

Почувствовал в себе какое-то радостное чувство, почти осязание жизни. Ведь жизнь — это когда тепло, влажно. Из этого всего мы и вышли — от амебы и так далее. В жаркие дни как-то обостряется зрение, слух, обоняние, замечаешь всякие дурацкие детали. (Дурацкие ли?)

Прошли молодые, волосатые люди, а за ними седой старичок. Блестит лысина, а в разрезе рубашки — белая тощая грудь покрыта седой, всклокоченной шерстью. Волос человеческий — как кустарник, как трава в поле. То густо, то реденько, то выгорела, то к телу-земле прибита. То вытоптана жизнью. А некоторые люди заросли шерстью как сорняком, расцвели прыщами, потрескались от жары, замшивели.

Тело — это ландшафт, лужайки и заросли, бугры, овраги и щели. Все надо принимать, с серьезным любопытством и уважением регистрировать в памяти. Именно это серьезное любо-

пытство и обогащает память и создает близость ко всему живущему.

ВЛАСТЬ

Человеку присуще желание быть гигантом. Основано оно на идее власти. В детские годы мы смотрели на муравейник, удивлялись муравьиной суете и толчее и экспериментировали: бросали на муравьиную дорожку палочку и наслаждались, глядя на переполох маленьких существ, на их попытки преодолеть неизвестно откуда появившееся препятствие.

Из этого в сущности пошлого наслаждения собственным всемогуществом может при правильном развитии создаться творческое ощущение природы и всего живого мира.

У художника бывает двойное ощущение — величия и бескрайности окружающего мира и одновременно его миниатюрности и подвластности его перу или кисти. Уменьшение природы до размера рисунка или полотна есть практика идеи власти.

РАЗНОЕ

*

На нашей улице чинили мостовую. Землечерпалки тарахтели и скрежетали целый день. Наблюдая за их неуклюжими, но верными движениями, я живо представлял себе муравьев, кузнечиков и прочих ногастых и членистых насекомых, переворачивающих или тащащих какой-нибудь огромный груз их травяных джунглей. Полуосмысленная таинственность движений, так отличающая насекомых и дорожные машины — от ловкой, хитрой хватки мохнатого млекопитающего — и человека.

*

Почему художники одержимы искусством? Почему стремятся к мольберту, к полотну как юноши на свиданье, одурев, забыв все остальное? Да потому, что искусство, как и любовь, создает особую, сугубо личную, интимную связь с окружающим миром, связь настолько сильную, настолько идущую изнутри, что все остальное переживается сквозь какую-то любовную пелену.

Так же как у влюбленных есть свой мир, свои, только им понятные шутки, шалости, странности и извращения, так и у художника существует свой язык, свои слова любви, свои прикосновения.

И еще: в отношениях двух людей всегда присутствуют два ограничения — свое собственное и другого человека. В искусстве же ограничение одно — лимиты моего понимания и моих способностей. Все недоразумения, все ссоры с окружающим миром, неумение к нему подойти — все это вина художника. Но на каждый правильный штрих, на каждую правильную догадку или находку природа отвечает "улыбкой любви", т.е. на полотне что-то получается.

*

Не люблю людей, у которых "страсть к правде". И не только потому, что они обычно лишены воображения. Страсть к правде есть момент разоблачающий, аналитический. А искусство всегда синтез, создание, представление. "Искусство есть ложь, которая помогает познать истину", — сказал Пикассо. То есть в искусстве без лжи ничего не создать. А тут суют люди страсть к правде. Не подходит никак.

*

Какие странные бывают ассоциации! Ехал как-то раз на машине по одной из крупных автострад и остановился у заставы, чтобы заплатить причитающийся с меня четвертак. Передо мной несколько машин — и всё та же повторяющаяся картина: высовывается рука автомобилиста с монетой, а из окна будки протягивается рука контролера. На какую-то долю секунды они соприкасаются, монета получена — и обе руки втягиваются каждая в свой панцырь. И так раз за разом. Что это мне напоминает? Подумал — да ведь это рука Творца, касающаяся руки Адама, палец к пальцу. Микельанджело! Сикстинская капелла! Какая горькая современная пародия! Не дух жизни передается этим прикосновением, а плата за право включиться в циркуляцию венознобензиновой крови нашего "общества на колесах".

*

Самым страшным наказанием человеку было бы бессмертие. Только представить себе, что все жизненные переживания, все радости, удовольствия, огорчения и страдания тянулись бы бесконечно! И все люди, все отношения с ними все больше и больше нагромождались, пока человек не стал бы вопить, как зажатый в толпе, не стал бы задыхаться от обилия отношений и переживаний! Страшно подумать!

"Но, голубчик, если бы Бог дал человеку бессмертие, то Он и силы бы дал для жизни бесконечной!"

"А вы так в этом уверены? А что, если Бог накажет человека бессмертием?"

"Уже давно наказал — ведь род человеческий не вымирает. Но и спасение дано. Знаете, какое?"

"Ох, знаю. Творчество".

Сергей Голлербах

*

Полста годов прошло и потому
Я чувствую как будто жалость,
Что я жила не в том доме
В котором жить мне полагалось.

Хотя мой дом высоким слыл,
Но были в нем тяжелыми предметы
Для рук, а он отдельно жил
И верил лишь в свои приметы.

Он утром без меня вставал,
По лестнице ходил и дверью хлопал.
Потом, не провожая на вокзал,
Смотрел вослед мерцаньем стекол.

И я послушно возвращалась в дом
К его крутым чужим порогам,
Не сознавая, что живу в доме не том,
К которому вела моя дорога.

Валентина Синкевич

НЕИЗВЕСТНЫЕ ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ*

*

21. II. 914

Кто же именно "либерал" в России?

Кого "не приняли во внимание".

Кого "не приняли во внимание", тому естественно становиться "либералом".

И т. к. вообще "много званых, но мало избранных", то очень естественно, что свет вообще устроен очень либерально и планета краснеет "оппозицией".

Очень хорошо. Нет, батенька, тут космология. И Милюков не даром сидел в остроге, а "тоже и Кондурушкин".

Эврика! эврика! Платон сказал, что "есть идея и волосы". А сплетники, кумушки, злословцы и м. б. свахи "имеют око любя (?) Перст Божий".

Не упирайтесь, не упирайтесь, г. г. мистики, и глотайте всю действительность. Чихните, а потом все-таки глотайте. Ну, ты, — Сократ: не все тебе лежать с Алкивиадом после "Пира": вставай и делай под козырек Максиму Максимовичу Ковалевскому, который навалился брюхом за "непринявшее его во внимание" правительство.

(вагон — "retour")

*Эта рукопись прислана нам из Финляндии. РЕД

*

22. II. 914

Да это вата, а не человек. (*вообще русские*).

Вата — дерется, вата — ползет, вата — все "смягчает". На вате "мягко сидеть", и исправнику, и жиду. С ваты "сорвешь клок" — это купцы. Совершенная вата, — совершенно русские.

(*"как идут наши национальные дела"*)

*

23. II. 914

Общее правило, что *всё* нужно видеть, и если ты "церковник", — то присматривайся и к анти-церковникам, а если позитивист, то замечай "кое-что" и у мистика. Так будет не только мудрее, но и благочестивее, ибо никогда ошибка, никогда ложь и неправда не составляют благочестия. Бог — *Ens Realissimus*, и хочет только действительности и правды.

(*на извозчике*)

*

23. II. 914

... не думайте, когда "истинно русское" станет торжествующим, я уйду от него.

Ведь оно захрюкает. Но я безумно люблю его в теперешнем страдальчестве. Пока оно гонимо. А оно неоспоримо гонимо.

"Официально, — нет".

Друзья мои: ведь мы живем не "в официальном мире" и не суть "члены официальной иерархии". Мы *privatistische-menschen*. Среди *нас* оно гонимо, среди моих друзей (даже Женя Иванов), почти в моем доме (кроме Васи и Нади) во всем решительно круге знакомых, с которыми вместе дышу, вместе живу, вместе обедаю; на нашей улице; и во всей печати, которой я и есмь "член иерархии".

*

24. II. 914-а

Кто разгадает первую строчку *Песни Песней* — разгадает всего "Иуду" (весь "Израиль").

до дна.

И *нечего* будет еще разгадывать. "История Израиля" кончится, как "загадка", и будет просто "Рациональная история евреев", — торгового поверхностного племени.

*

24. II. 914-б

"... да лобзает он меня лобзанием уст своих..."

... кто "он", ...?

... кого "меня"...

*

В ...

... Недаром всё *темно и лиц не видно*... Кто "Суламифь"? Соломон? — Полноте!

Не "Соломон" зовут его и не "Суламифь" имя ей...

Это — аллегория, призраки. Еще "израильское затаение", — одно из тысяч, из бесчисленного их множества, рассыпанных по текстам их книг, как и по уверткам их быта...

Разве Акиба, величайший из их учителей, сказал бы:

— *Песнь Песней* оскверняет руки, потому что все создание мира не превышает ценностью сотворение одной этой *Песни*.

И вы хотите уверить, что он это сказал, потому что "очень мило" и что такая "пастушеская сказочка о Царе и простушке Суламифи..."

О, как темны *лица*...

О, какой *мрак*...

*

24. II. 914

"Мрак и великий ужас объял его", сказано о заснувшем Аврааме, в ночь как заключил с ним завет Бог и как рассеянные животные были приготовлены для жертвы.

Вот кого "поцеловала" первая строка *Песни Песней*.

О, Песнь Песней; никто не умеет тебя спеть, кроме Акибы и Розанова.

"Нет, не так, не так!! Не *спеть*, а *сделать*". Первую строку *Песни Песней* надо не петь, а *сделать*.

*

24. II. 914

... и она поется о том, кто незримо вошел в дверь, отворенную мальчиком.

— Поднимайся, поднимайся, Суламифь! Иди навстречу Жениху твоему. Вот он, весь приятен видом, Царственный Жених... В легких одеждах... и без одежд... стар и юн... силен и слаб...

Теперь он слаб, когда всегда силен. Он пришел к ЯГНИЦЕ своей, и ослабел на пороге ее, потому что *он любит*...

... она же, замарашка, дурнушка, в дырявых туфельках, но вся *верная*, вся *его* — подымается навстречу Царю и Господину своему...

... и она раба, а теперь *царица*...

и он царь, а теперь *раб*...

Теперь он раб! о — какой робкий! Как в миг когда подходил к Аврааму, — в ту страшную ночь, испугавшую Авраама. Но потому что *Песнь Песней* тогда пелась впервые...

Теперь уже все привычно. И все они знают, — не *оне*, а *они*, что опять заключится завет с Израилем Бога...

Он заключается каждую субботу, когда появятся три первые звезды на небе, а мальчик приотворит дверь.

— Вставай, Суламифь! Вставай, — твой жених здесь.
И Суламифь поет:
— Да лобзает он меня лобзанием уст своих...

*

24. II. - 3

... Как? Что?...

Мрак. "Мрак и ужас". Но *где* Бог — не всегда ли ужас?
"Лица моего ты не можешь увидеть и не умереть. Но стань там, в
расселине горы, — и я пройду *мимо тебя*..."

Все "мимо", но не в субботу. И в субботу, "видеть ничего не
нужно": но ты услышишь поцелуи, и скажешь еще молитву:

— Да лобзает он меня лобзанием уст своих...

... Как? Что?

Зачем слова?! "Кто делает, тот знает как сделать, а кто не
знает, никогда не сделает".

И ему не нужно знать.

"Какие ноги у тебя, — как горы! И руки — как стволы дуба".
Мы все присматриваемся к описаниям Суламифи, влекомые
романом, — когда интереснее и важнее отметить бы слово, где
говорится о *нем*...

Она — пастушка, как все, как мы, но *он*...

Но как *он любит*: : "соски у тебя... рождает *по двое*..."

*

24. II. 914-е

... нет, не о Соломоне думал Акиба, а о Боге...

В вечер субботы говорят мальчику: "Пойди отвори дверь".

Отворяет...

И невидимо "Царь царствующих и Господь господ-
ствующих" входит в дома и хижины евреев...

О, в них входит "Слава Господня", как в Синагоге, когда она
была построена. Разве вы не знаете, что в субботу каждая
хижина еврейская становится скинией?..

Если вы этого не знаете, вы не можете истолковать первой
строки *Песни Песней*.

*

24. II. 914-д

... и кто "сделает первую строку *Песни Песней*", тот войдет в "Парадиз", как сказано толковавшими *Колесницу Иезекииля* "В тот час он вошел в Парадиз и умер".

Зачем жить? Зачем томиться? К чему земное все, земная любовь? К чему она тому, для кого открылась Небесная Любовь.

И он умер.

*

24. II. 914

Вся "тупость Розанова" выразилась в том, что, любя так огурцы (сол.), я с 1893-го года (переезд в Петербург) лишен был их приблизительно до 1905-го года (статья "Святылища Астар-ты")... Приехав, конечно покупал "в соседней лавочке", т. е. "в зеленой (и мясной)", но, разрезав на тарелке, вижу эту ужасную пустоту внутри, каналец внутри, цвет отчаянный серый и, взяв в рот, чувствую:

— Никакого вкуса...

ни божества, ни вдохновенья...

— Да *отчего* это, спрашиваю раз в лавочке, не в своей, а где-то на ходу войдя. И он мне "разъяснил":

— Помилуйте, как же им быть хорошими: ведь они *битые*...

— "Битые?!"...

— Помилуйте, откуда же их везут, за тысячу верст по железной дороге. Он и колотится о бок бочонка. Оттого и пустой.

"Ну, когда так далеко, думаю, значит вообще в Петербурге нет хороших огурцов".

"Битые", что делать. "Трясутся в железной дороге". Прощай наши губернские огурчики. "Тут, со своей грядки". Известно, в Петербурге дома, а не огороды. Не на Невском же сажать огороды.

Так я полагал в мудрости своей.

Однако, обедая у Анны Ивановны (Сувориной), я замечал какие-то превосходные, особенные огурцы и на вопрос: "что" и "почему", она отвечала:

— Это с белым вином (в белом вине).

"С вином" я ничего не люблю, и очевидно это она откуда-то из Парижа или Монако выписывает и вернее ей присылают "с оказией" — свой человек. Недоумение разрешилось у... (лейб-хирург, акушер). Обедая у него единственный раз в жизни, я ел до такой степени превосходные огурцы, что даже лучше наших провинциальных. И, извинившись, спрашиваю хозяйку:

— Позвольте узнать, где же вы берете такие огурцы?

— А у Штурма, отвечает она очень просто.

— "У Штурма"?

— Да на Надеждинской. Только в телефонной книжке надо смотреть "на Невском", хотя магазин в 3-м доме от угла — на Надеждинской. Скажу по телефону — и присылают.

Конечно, на завтра я отправился "сам", не разговаривая с телефоном, и нашел, под странным заглавием:

Укусное заведение (кто же поймет, что это огурцы).

Зашемило у меня сердце: "Всё взяли иностранцы". "Дураки русские. какие же это дураки, и какое же у нас правительство, если они не могут *сами* заготовить и продавать в Петербурге настоящие огурцы". Иностранец подсмотрел у русских из-под руки и сделал.

*

27. II. 914

... в связи с этим, т. е. отводя от Каткова глаза в сторону, задумываешься о категории теплоты, которую открыл Розанов или изобразил Розанов, а во всяком случае установил Розанов. Есть "церковь человеческой теплоты", которую нельзя не наименовать "церковью вечной памяти". Где люди бы иногда не забывали один другого и каждый всех и все каждого, но носили бы имя и лицо того, кто *был* с нами в сердце своем как "вечное *есть*".

"*Есть* он, брат мой!!"

Боже: как велик принцип: *есть!*

есть! есть! есть!

(на извоз.)

*

2. III. 914

"А ведь король-то голый", сказал я про революцию.

— Король — да!! На то он и "король", чтобы чваниться, расхаживать важно среди придворных, которые восхищаются одеждою, которую ему "якобы сшил" хитрый портной, а он во все ее не шил и король прохаживается просто нагишом...

— Вот-вот: я и говорю, что "король-то голый": ни — свободы, ни равенства, ни братства: одна зависть, злоба и самое жалкое заглядывание в глазки тому, кто, напр., "хорошо говорит" или держал себя "особенно демонстративно". Он просто грубиян, а его называют Мирабо, и он только Миллюков, а его называют (?)..., который спас Финляндию. И все эти "спасители отечества от полицейского" дальше кутузки ничего не видят, дальше кутузки ничего не опровергают и в конце концов попадают в кутузку же. Какой же это роман? Это не роман, а Анатолий Каменский. Король совсем голый.

— Король голый, п. ч. он король, а революция одета, пот. что она революция.

На этот раз портной оказался хитрее и короля и революции: он сделал вид, что раздел короля, и все называют его "голым", и сделал вид, что приготовил великолепную одежду на революцию: а на самом деле оставил ее "так". И с тех пор демократия надсаживается из всех сил, и кричит: "смотрите, какая невиданная на нашей революции мантия!"

Между тем это лоснится черная кожа раба.

*"7 раз бежал наш Дейч из тюрьмы";
"Наш друг был знаменитый географ Реклю";
"Кропоткин был геолог и князь", "Кибальчич
во 2-й раз открыл Америку"... Но сие все
"призрачная одежда"... которую даже и раз-
рывать не приходится, п. ч. ее просто нет.*

*

24. II. 914

... смертная часть Каткова в том, что он никому не был дорог...

"Нужен" — да; "полезен" "великие таланты ума и пера"
— да! да! и да!

"Великий стиль": — о, конечно *да*.

И все эти вещи не образовали даже крупницы бессмертия потому, что как *лицо* и *лицу* он никому не был дорог...

Ни даже, кажется, Любимову, с которым сотрудничал.

Ни "своему другу и единомышленнику" Леонтьеву ("Катков и Леонтьев").

Ни с одним человеком в мире он не был "близнецом", ибо и те связи были — деловые, служебные, железные.

Он был человек железных связей и железного лица: тогда как история, увы, — спиритуализм.

И он всеми забыт и никем не оплакиваем.

А был великий человек.

.....
.....
.....

В сущности, у русских был единственный оратор "в пере". Как известно, лично и конкретно он плохо говорил. Но он врожденно что бы ни делал, ни говорил, ни думал "про себя" — делал и говорил и думал ораторски. Он был внутренне весь оратор, — сидя у себя в редакторском кабинете один, за лампой с зеленым абажуром... Его ученые трактаты, "докладные записки" (запращивание "Моск. Вед.") министру внутренних дел, как и передовицы "до последнего издыхания" суть ораторство и ораторство, всегда ораторство, но внутреннее, прекрасное. В нем не было ни капли "шику" (*смертная* часть ораторства), и он был весь целомудрен в этом нецеломудреннейшем виде мастерства. Если газетам для чего-нибудь стоило родиться, то только для Каткова, т. е. чтобы мог осуществиться Катков. Ибо Катков *лично*, на *кафедре* утратил бы целомудрие и уже не был бы тем, чем ему удалось или посчастливилось быть: оратором, который не видит вовсе толпы, оратором без "публики", которая глазами и аплодисментами съедает оратора и обращает его в мусор и ничто.

Катков — один у нас. И, м. б., он *ни у кого* не повторится. Место его, без всякого умаления, около плеча — возле Демосфена, и неизмеримо выше, нежели место Цицерона и, может быть,

Питта. В нем было настоящее величие ума, характера и всей фигуры; он был постоянно серьезен. Шутки, даже улыбки, — нельзя себе представить у Каткова.

... При всем "неуважении русского вообще к русским", я помню, как все студенты в аудитории поднимали голову, когда профессору случалось "пожаловаться" или "состричь что-нибудь" на лекции. По всем пробегало чувство, что упомянуто о какой-то "сказочной Химере", которую никто не видит, а она всякого съест, если встретится, о каких-то "громах" никогда не видимого Зевса. Имя его, фамилия его была обаятельнее, чем Карла Фохта или Бюхнера, "своих людей", героев и святых молодежи. "Каткова нельзя не бояться", "он — страшилище". Этому способствовало то, что его действительно никто и никогда не видал. Он нигде не показывался. "Голос его слышим, лица его не видим".

Бог. Бог красноречия.

.....

И все умерло такой ужасной смертью.

*

2. III. 914

Чего вы приступаете к душе моей, тираны. Не "правительство", не полицейский и не чиновник мучит мою душу, а ты, либеральный профессор на казенном жалованьи, и ты, "революционный журналист от подонков".

Ты, Гримм, и ты, Горнфельд. Один "в зависимости от своей популярности" и другой в зависимости от банкира.

Смотрите, как облизались на миллион 3-го дня "Русские ведомости" (статья "Миллион s'amusant"), и лестью и подшептыванием, что "московские миллионеры" суть "российские Медичисы".

Репин о Сибирякове ("Кузьма Медичис"):

— Я видел его на балу у кн. Долгорукова (московский генерал-губернатор): он согнулся весь колесом и подскочил к нему, когда тот сделал движение подать руку, с таким лакейским подбострастием и такой благодарностью, что его позвали на бал или допустили быть на балу, что было отвратительно смотреть.

Революционеришки знают, где раки зимуют, хотя и о князе, жестоко нуждавшемся, тоже нельзя не заметить, что он знал, "где раки зимуют" (рассказ о нем портного, шившего ему мундир и проч.: "Почему у вас портрет князя Долгорукова?"(я). Он: "Как же, я ему шил платье" (дешевый, грошовый портной — для студентов. Я был студентом и у него "шил").

В. Розанов

ПИСЬМА М. А. ЧЕХОВА

Апр. 23, 1954.

Здравствуйте, Фредди, дорогой!

Поздравляю Вас и супругу Вашу с праздником св. Пасхи.

Вы пишете, что в Скандинавии много сект, но Америку в этом отношении "перешибить" невозможно. Тут есть такие секты и такие отдельные проповедники, что становится страшно, как бывает при кошмарах. Как-нибудь опишу одну секточку, — сам присутствовал на их беснованиях.

Получив Ваше последнее письмо, Фредди, я вдруг пришел в какой-то экстаз и послал Вам угрозу, дескать, буду писать Вам религиозные письма. Теперь, очнувшись, нахожусь в смущении: может быть Вы вовсе и не хотите поддерживать религиозную переписку!? Однако вот сижу и строчу Вам первое "послание" с просьбой написать мне искренне и откровенно, есть ли у Вас время и желание читать мои "послания". Верю, что Вы, как друг, не постесняетесь укротить мою страсть. Сегодня постараюсь ограничиться только изложением нескольких основных положений, которые могут послужить фундаментом для дальнейших рассуждений.

Дионисий Ареопагит следующим образом перечисляет и именует Чины Ангельские (в правом столбце привожу некоторые названия, которые употребляются в современной духовной науке, т. е. Антропософии Д-ра Рудольфа Штейнера):

Серафимы — Духи Любви.

Херувимы — Духи (Мудрости) Гармонии.

Троны — Духи Воли.

Мы печатаем письма знаменитого актера М. А. Чехова (1891 - 1955), касающиеся его антропософских взглядов. Известно, что М. А. был антропософ. Упомянем, что в первых №№ "Нового Журнала" (с 7-го до 10-го) были напечатаны замечательные воспоминания М. А. "Жизнь и встречи". Кто является адресатом М. А. Чехова (Фредди) мы установить не могли. РЕД.

Кириотетес — Духи Мудрости.
Динамис — Духи Движения.
Эксузиаи — Духи Формы (Элоимы).
Архаи — Духи Времени.
Архангелы.
Ангелы.

Конечно, одни имена этой Ангельской иерархии ничего нам не говорят. Но пока не будем отвлекаться описанием сущности и космической творческой деятельности каждого Ангельского Чина в отдельности. Попробуем вместо этого представить себе всю восходящую *высоту сознания* их, начиная с Ангелов и кончая Серафимами. Как это сделать? Сравнительно легко мы можем вызвать в своем воображении разницу между сознанием гениального человека и животного. Теперь попробуем приложить ту же "мерку" по отношению к человеку и непосредственно над ним стоящему Ангелу. Это окажется несколько труднее, но всё же при этом можно пережить некоторое благоговейное изумление перед высотой Ангельского сознания. Теперь пойдем дальше и "измерим" таким же образом высоту Архангельского сознания по отношению к Ангельскому. Что же получится? Получится, пожалуй, какое-нибудь "Ох!" или "Ах!", но уже ясного представления не будет. А ведь нам нужно ту же "мерку" (в высшей степени приблизительную, разумеется) приложить еще семь раз, чтобы подняться до сознания Серафима!

Ясно, что разум современного человека не в состоянии сделать этого. Однако результат попытки такого "измерения" всё же окажется положительным: человек *переживает* неизмеримость высоты и силы всё возрастающего сознания чинов Ангельских. Этого чувства, этого переживания *неизмеримости* так не хватает современному человеку, искренно стремящемуся к духовному познанию, к духовной жизни! Мы, люди, так легко произносим Святые и Священные ИМЕНА, так "очеловечиваем" их, что, сами того не подозревая, ставим себе этим самым тяжкие преграды к достижению наших духовных целей. Я уверен, что Вы согласитесь, Фредди, что такое "очеловечивание" есть тоже род произнесения Имени Божия всуе, как бы род богохульства. Правда, у нас нет другого способа, помимо способа *произнесения* Святых Имен, если мы хотим беседовать на духовные темы. Но пусть же тогда чувство *неизмеримости* стоит на

страже каждый раз, когда мы произносим Святое имя. (Между прочим, я знал одну девушку в России, девушку неверующую, которая заболела и от страха стала молиться. Когда опасность прошла и она начала поправляться, она повесила на стене перед кроватью картинку, даже не икону, Спасителя и, глядя на него, говорила: "Ах, ты, Христосик мой!" Может быть это и трогательно, но до чего же *неверно!* Впоследствии девушка эта "загримировалась" коммунисткой).

Итак, Фредди, если у Вас есть еще терпение, пойдем дальше, собственно к цели нашего сегодняшнего разговора. Как непосредственно под Ангелами находится Человечество, так и *над* Серафимами возвышается то Существо, Которое мы называем *БОГОМ*. Тут уж никакой "мерки" прилагать нельзя и не следует. Тут уж понятие *неизмеримости*, пожалуй, не годится. Тут, как умирающий Гамлет: "Конец... Молчание!.." Однако, несмотря на это "Молчание", нам самими Евангелистами позволено говорить и думать о БОГЕ, как о Святой ТРОИЦЕ, т. е. о БОГЕ-ОТЦЕ, БОГЕ-СЫНЕ и БОГЕ-ДУХЕ СВЯТОМ. Бог-Сын есть Христос, Логос. Он — един, и других Сынов Божиих, в собственном смысле, — нет.

Вы пишете, Фредди: "Величайшие пророки -- Будда, Кришна и другие йоги, -- достигшие Самадхи, разве они не Сыны Бога, как Христос?" Если бы Вы не написали слов, "как Христос", может быть, я и не стал бы мучить Вас моим длинным письмом. Конечно, можно назвать великих пророков "Сынами Божиими", но, так сказать, в переносном, символическом смысле, как бы в знак нашего глубочайшего преклонения перед ними, как выражение нашего восторга по поводу того, что они как бы уподобились (частично!) Христу. Но в том прямом смысле, как Вы пишете, Фредди (если я вообще понял Вас), как раз и звучит та самая недооценка ИМЕНИ Божия, о которой мы говорили выше. Если для нас с Вами великий пророк есть Сын Божий, "как Христос", то этим положением, этим образом мысли, мы уже ставим себе ту "преграду" на пути к достижению наших духовных целей, о которой мы говорили выше. Когда мы поднимаем Пророка или Посвященного выше, чем следует, то есть до степени высоты Самого Христа, то мы тем самым неминуемо теряем представление об *истинной* высоте и единствен-

ности Христа в Космосе. Мы как бы снижаем Его до степени Пророка. Напомню Вам, что в Священном Писании об Иоанне Крестителе, который тоже был Пророком, говорится как об Ангеле. В другом месте говорится о нем же, как о наибольшем среди людей и наименьшем среди Ангелов. И еще напомню Вам, что Бог древнееврейского народа ЕГОВА, о котором говорится в Старом Завете, был одним из Элоимов (Эксузиан), — не выше! (См. Чины Ангельские). Правда, Егова (один из семи Элоимов), был наибольшим среди них: через Него даже Христос посылал из Духовного мира Свои импульсы еврейскому народу, но для нас с Вами это не имеет значения. Он не Бог-Отец, как о Нем часто ошибочно люди склонны думать. А ведь все пророки были *ниже* Еговы. Таким образом, теряя (или не ища) Христа в смысле всего вышеприведенного, мы теряем и христианство в целом, начинаем говорить, что все религии равны, как это делает, напр., Теософия, которая "просмотрела" Христа. "Просмотреть" Христа — значит идти навстречу катастрофе, или, вернее, всё возрастающим катастрофам. Взгляните на современные исторические события с этой точки зрения! Для отдельного же индивидуума, не понимающего, не принимающего Христа (опять в том смысле, как мы говорили раньше), это является личным несчастьем!

Прежде чем ответить на Ваши интересные и волнительные для меня вопросы и соображения, я должен высказать еще несколько подготовительных мыслей. Из всего, о чем мы с Вами беседовали до сих пор, сама собой выясняется основная разница между всеми до-христианскими религиями, с одной стороны, и Христианством — с другой, а именно: ни в одной религии, кроме Христианской, не воплощался, не вочеловечивался САМ БОГ. Это Чудо совершил Христос. И это — самое большое Чудо, когда-либо происшедшее в нашем мире со времени его сотворения. Вочеловечение Бога, Христа, коренным образом изменило весь мир (помните "алхимию" нашу?) и всех существ, обитающих в нем. Если внимательно вчитаться в Ваши письма, Фредди, то окажется, что большинство Ваших высказываний, сомнений и вопросов сводится к одному: в чем же *конкретно* и в деталях выразилась эта "алхимия" Христова со времени Его пришествия, Его вочеловечения? Так?

Попробуем хоть отчасти ответить на Ваш основной вопрос. Во-первых, попытаемся несколько конкретнее представить себе факт вочеловечения Христа и для этого опять возьмем самое простое, но фантастическое сравнение. Что произошло бы, если бы Шекспир захотел и получил власть воплотиться в муравья? Произошло бы двоякое: муравей, а вместе с ним и муравьиное царство "алхимически" переродились бы, приняв в себя Шекспира. Почему? Потому что теперь Шекспир оказался *внутри* муравья. Он уже не рассматривает муравейник, находясь *вне его*. а *действует* в нем. Это — с одной стороны. С другой — и сам Шекспир получил бы возможность *передать* муравью хоть частицу своего гения, хоть сколько-нибудь *уподобить* муравья себе. Сознаюсь, сравнение не только фантастическое, но, пожалуй, и глупое, но что же теперь делать? Уж Вы меня простите, Фредди! А вот другое сравнение получше: Микель-Анджело изваял статую из мрамора, а потом сам вошел, воплотился в *свое же творение*. А теперь попробуем представить себе, насколько же больше дистанция между Богом, Христом, сотворившим и человека, и весь мир, нежели дистанция между Шекспиром и муравьем, или Микель-Анджело и его статуей! Конечно, трудно представить себе эту дистанцию рассудком, но медитативное мышление может помочь горю. Итак, наше первое положение сводится к тому, что Бог-Христос, воплотившись в теле (в телах) Иисуса из Назарета, совершил чудо перехода *извне* (из Космоса) *во внутрь* (в земной мир и в земного человека). Он жертвенно *отдал* Себя миру и человеку. Началась "*божественная алхимия*" *изнутри*. Соединились два элемента: Огонь (Христос) и Земля (включая земного человека). Земля стала плавиться, *плавиться* под влиянием Огня. Этого не было в прежних религиях.

Теперь — к следующему положению. Христос, *слившись* с человеком (и человечеством), получил возможность давать ему Свои Божественные дары. В этих дарах Он стал отдавать человечеству Самого СЕБЯ. Каждый дар мы должны представлять себе, как часть *Существа Самого Христа*, вместе с даром входящего в человека (если дар действительно принят человеком). Этого тоже не было ни в одной религии, ибо возможность отдавать *Себя* принадлежит только Богу. — Какие же это дары? — Поговорим о некоторых из них, о наиболее важных и существен-

ных. Современный человек должен *знать* о них, чтобы не пропустить, не "проспать" их. Христос не "навязывает" Себя. Он хочет, чтобы человек сам свободно принял Его дары.

Дар первый мы можем определить (к сожалению, несколько истасканным понятием) как Высшее "Я" в человеке. Сразу же скажем, что это "Я" есть Христос в человеке. "Не я, но Христос во мне" (Апостол Павел). И это надо понимать в *буквальном* смысле. Однако это не так просто: тут есть тайна, которую трудно выразить в человеческих словах. Но мы всё же попробуем. Когда (и поскольку) Христос входит в человека в качестве "Я", это "Я", оставаясь Христом, становится в то же время и человеком. Как это возможно? Бог, Христос Отдает Себя *без остатка*. Жертва Его *совершенна*. Отделив в качестве "Я" часть Своего Существа и передав Её человеку, Он как бы говорит этой Своей части: "Теперь живи и развивайся самостоятельно. Становись *индивидуальностью* человека, в которого Я вложил Тебя. Даю Тебе свободу". Эта мистерия "Превращения" Бога в человека, это чисто духовное событие, чудесно выражено в Христианстве словами: Рождение Христа-Младенца в душе человека. Отсюда: изображение Мадонны с Младенцем в руках. Когда мы празднуем Рождество, мы празднуем не только Рождение Иисуса в Вифлееме, но (если хотим) и Рождение Христа в нас самих. Так, в одном, горящем, сияющем Центре, в высшем "Я" сосуществуют и Человек, и Бог.

25 мая 1954.

Почему Христос, отдав Себя человеку в качестве высшего "Я", превратился в "Младенца"? И что в этом случае значит "Младенец"? По Божественному замыслу, человек должен был получить это новое Высшее "Я" только как зародыш, как зерно, как *возможность* "Я". Человек должен начать делать усилия для развития зерна: "Царствие Божие усилием берется", говорится в Евангелиях. "Младенец" в человеке должен расти и развиваться с согласия и при помощи самого человека. Следовательно, мы можем сказать, что в "Я", как в горящем Центре, не только сосуществуют, но и сотворят и человек и Христос (единородный и единственный Сын Божий, Второе Лицо Св. Троицы). Возможность активного и сознательного сотворчества со Христом пробудилась в человеке именно в силу того, что Сам Христос (не

как абстрактное "космическое сознание", но как ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ как ЛИЧНОСТЬ, как "Я есмь") — вошел в человека. Только это новое "Я" способно услышать призыв Христа к сотворчеству с Ним, и только оно имеет силу активно ответить на этот призыв. До этого человека, соответственно Божественному плану, творили и вели Ангельские иерархии без участия человека. Они творили его *извне*. С самого начала их задачей было сотворить *такого* человека, который мог бы сказать о самом себе: "я". Но это "я", создаваемое Ангельскими Иерархиями, было задумано первоначально только как пустая форма, как сосуд, еще не наполненный содержанием. Все в человеке — его тело и то, что он называет своей внутренней жизнью, и это его "я", — всё это было дано человеку свыше "бесплатно", и тут никакой заслуги со стороны человека нет. Ангелы выполнили свою задачу: они довели человека и его "я" до возможного для них совершенства. Когда же "сосуд" был готов, произошло Космическое Событие: Христос, совершив Мистерию Голгофы, (т. е., пройдя через воплощение в телах Иисуса, через крестную смерть и Воскресение), — вошел в наш земной мир, наполнил Самим Собой, Своим "Я" пустой сосуд человеческого "я", приготовленный для Него Ангельскими Иерархиями. Он вложил в человека зерно Высшего "Я". В человеке зародился Младенец-Христос, и тут человек *впервые* получил возможность сознательно сотворить со Христом *самого себя*, делая для этого усилия *изнутри*. Этой возможности не могла дать человеку ни одна до-христианская религия. Для этого нужно было, чтобы Сам Бог, Христос, вошел в мир и в человека.

Вы можете, конечно, спросить: разве не было высоко развитого "Я" в Будде, Заратустре, Гермесе, Моисее? — Конечно, было. И больше того: оно было пронизано, инспирировано Христом извне, из Космоса, но Самого Младенца-Христа еще не было в них. Они не могли еще сказать: "Христос во мне и я во Христе". И последователей своих они вели, давая им высокие учения, развивая в них положительные душевные качества, вырабатывая для них методы духовного развития, но ни один из этих великих водителей и благодетелей человечества не мог *вложить* в человека *нового* "Я". Все они были предтечами Христа. Если бы человечество развивалось *только* под их влиянием, то это развитие неминуемо имело бы свой предел и конец. Развитие же

бесконечное возможно только для Бога, для живого воскресшего Христа, вошедшего в человека. Если не усвоить, не пережить медитативно этого различия ДО и ПОСЛЕ христианского развития человека, то самая сущность Христианства останется непонятной, и всегда будет казаться, что "все религии равны".

До сих пор мы говорили о различии между религией Христианской и всеми предшествовавшими ей религиями, преимущественно с точки зрения того внутреннего превращения, которое совершил в человеке Христос, войдя в него, как его новое, Высшее "Я". Но различие это идет еще дальше. Христианство не принадлежит *одной* эпохе, или одному народу *только*. Христос пришел *ко всем* людям, ко всем народностям, независимо от того вероисповедания, которого они все еще придерживаются и теперь. Все люди получили зерно Высшего "Я", все носят в себе Младенца-Христа. Когда и кто из людей, и в каком количестве поймут и примут Христианство в его *истинном* смысле, будет зависеть от их Кармы. Целый ряд воплощений понадобится для большинства людей, но *никто* не будет лишен возможности принять Христа. Только те из людей будут исключены из общей эволюции человечества, кто не по неведению, но вполне сознательно отринет Христа. В этом смысле Христианская религия есть поворотный пункт в развитии *всего* человечества (чего опять-таки нельзя сказать ни об одной религии, возникшей до Христа). Каждый из нас участвует в этом развитии, каждый ответствен за каждого. Другими словами: никто не спасется, пока не спасутся все. Очень глубоко в нас живет так называемый духовный или религиозный эгоизм: мы можем искренне, всем сердцем хотеть *быть* со Христом, но при этом мы долго можем не замечать, что мы хотим этого *только для себя*, для личного блаженства во Христе, но не для всего человечества. Очень интересным и многозначительным кажется мне то, что все христианские подвижники начинали свои тяжелые духовные труды, побуждаемые религиозным эгоизмом: целью их вначале всегда было личное спасение. Но чем больше они приближались ко Христу, тем больше они освобождались от этого эгоизма, и, в результате, каждый по-своему, "выходили из затвора" с целью служения людям. Не показывает ли это, что Христа *невозможно* удержать для себя, потому что Он пришел ко всем людям и связал Собою каждого с каждым? Христос,

входя в душу подвижника, Сам разрушает стены эгоизма, Сам выводит подвижника из тюрьмы первоначального одиночества. Хотя идеал освобождения от религиозного эгоизма достигнет своего полного развития только в далеком, далеком будущем, но мы всё же можем до известной степени предвосхитить его даже и теперь. Если, например, человеку, путем медитаций, молитв, образа жизни и пр. хоть сколько-нибудь удастся осознать в себе присутствие Высшего "Я", если он хоть отчасти, в особые минуты жизни, научится говорить о себе "Я" в смысле "Христос во мне" и если попытается развить в себе способность, духовную привычку, даже в повседневных разговорах, или в мыслях только, обращаться непосредственно к высшему "Я", ко Христу в другом человеке, то *что* в результате получится? — То, что "Я" другого человека вдруг вспыхнет, засияет и немножко, чуть-чуть пробудится, станет на капельку больше сознавать самого себя. Есть маленькое "чудо", которое один человек всегда может попытаться совершить в *другом, для другого*. Это, как Вы знаете, Фредди, делали христианские Подвижники и Святые, но, разумеется, с большей силой, чем можем делать это мы. Святой Серафим, например, каждому человеку, приходившему к нему, говорил: "Здравствуй, Радость моя!" Другой Святой, не помню, кто, встречал людей словами: "Христос Воскресе!" Франциск Ассизский говорил людям, животным, птицам, солнцу, дождю, огню: "Брат мой, сестра моя!" Так же называл он свою Смерть, когда она пришла к нему. В Евангелии от Луки (гл 1, 39-41) описана встреча Марии и Елизаветы. Прочтите эту сцену и вы увидите в ней прообраз, идеал всякой встречи человека с человеком, когда в душе одного, благодаря другому, может "вызваться Младенец".

Итак, всё сказанное выше было попыткой намекнуть на *общечеловеческое* значение Христианства. Теперь попробуем сделать еще один шаг вперед и еще расширить рамки Христианства (пожалуйста, имейте в виду, Фредди, что я всё время говорю о *внутреннем* смысле Христианства, а не о внешнем историческом его развитии). История всего *мира* распадается на две части: ДО и ПОСЛЕ пришествия Христа на Землю. Христианство есть Космический факт. Что же дает нам право на такое утверждение? Мы знаем, что Христос творит не одно только человечество, но и весь мир. Он Сам сказал: "Се всё творю

новое". Это "всё" включает в себя и Землю, и человека, и всех существ, связанных с Землей, существ, стоящих как ниже, так и выше человека. Человек связан со всем Миром, как неотъемлемая часть целого. Христос призвал человека творить вместе с Ним не одно только человечество. Если бы это было не так, то Христос не сказал бы нам: "Се все творю новое", а сказал бы, может быть: "Се творю новое человечество". Он не показал бы нам в образах Апокалипсиса всех опасностей, катастроф и кризисов, через которые должно пройти не только человечеству, но и всему Миру. И Он не заключил бы этого пророчества образом Нового Иерусалима, сходящего с неба, ибо Новый Иерусалим есть картина Нового Мира, а не только нового человечества. Для чего стал бы Христос отягчать сознание человека образами творимого Им нового мира, если бы это вовсе не касалось человека? Войдя в человека, как его Высшее "Я", Христос пожелал творить ВСЁ *вместе* с человеком и тем поставил в зависимость от него и всё творение Свое. Ничто не будет отныне развиваться в Мире правильно и нормально, если человек отстанет в своем развитии или если он не захочет понять, что и от него зависит дальнейшая эволюция всех других существ. Апостол Павел говорит: "Вся тварь, стения, ждет освобождения". — Чего же она ждет? — *Человека*, его сознательного участия в мировом творчестве. Тот же призыв выражен и в словах Христа о "Виноградной лозе". Христос не хочет, чтобы став "Я" человеком, мы носили в себе Его эгоистически, для себя только. Он хочет, чтобы мы всё больше и больше становились "ветвями", проводниками, а не "захватчиками" Его сил. Во всех своих мыслях, чувствах, поступках, словах и пр. мы должны *отдавать*, излучать миру Самого Христа, благодатно вселившегося в нас. Обратите внимание на то, что Виноградарь есть *Отец*. Ему приносят плоды. Ему — это значит — *всему* Миру. Если продумать это слово Евангельское и принять его буквально, то уже оно одно ответит на вопрос о том, как и в каком смысле человек соучаствует в процессе становления Нового Мира.

Теперь разрешите мне дать здесь несколько разрозненных, но конкретных примеров, взятых из оккультных исследований д-ра Штейнера. Он говорит, например, о том, как велико влияние человека на Ангельские Иерархии. Есть некоторые очень высоко стоящие Ангелы, которые "голодают", когда люди живут и

думают материалистически. "Голодают" — это значит — теряют часть своей силы, которая им нужна для того, чтобы творить тот Новый Мир, который при их помощи творит ныне Христос. Пожалуй, еще больший вред причиняют люди Миру, себе самим, всему человечеству, и даже Ангелам-Хранителям своим, если они начинают злоупотреблять сексуальными силами, делая из них род культа. Наша эпоха сильно погрешает в этом смысле. А вот и еще пример: молясь за другого, посылая другому свою (Христову) любовь и правильные, хорошие мысли, мы даем силу Ангелу-Хранителю того или иного человека. Ангел-Хранитель может сделать больше для своего "питомца", если мы поможем ему в этом. Еще пример: в тот момент, когда человек говорит или думает *ложь*, он производит в астральном мире нечто похожее на "взрыв", который разрушительно действует на различных существ этого мира и укрепляет силу темных существ, действия которых направлены против Христа. Можно было бы увеличить число этих примеров, но не стоит этого делать, — суть и так ясна. Вместо этого я лучше скажу в заключение о том особом роде деятельности, которую человек может развить на служение Новому Миру, творимому ныне Христом. Начну с краткой формулы, которую попытаюсь постепенно разъяснить: *мир для своего развития нуждается в том, чтобы его продумал и познал человек, носящий в себе зерно высшего "Я"*. Хотя мысль человека в нашу эпоху и не обладает еще магической силой, однако влияние ее на всё существующее в Мире очень велико. Думая и медитируя, человек может и помогать эволюции Мира, или мешать ей, задерживая ее. Какими же должны быть мысли помогающие? — Они должны быть ПРАВИЛЬНЫМИ. — Что значит правильная мысль и откуда взять ее? — Я должен рассказать Вам вкратце о духовном факте, открытом и сообщенном Р. Штейнером. — Существуют МИРОВЫЕ МЫСЛИ. Но эти МЫСЛИ мы не должны представлять себе абстрактно, как нечто неопределенное, бесформенное, как эманации, вибрации, излучения, силы, ни от кого не исходящие, никому не принадлежащие, разлитые в пространстве вообще и т. п. Напротив, как живые, одушевленные и одухотворенные СУЩЕСТВА являются они ясновидящему сознанию Посвященного. Творя, они вступают в различные взаимоотношения друг с другом. Всё, что находится в процессе станов-

ления в обоих мирах, — видимом и невидимом, — есть результат их творческой деятельности. И только когда они вступают в сознание обыкновенного человека, они представляются ему тем, что мы называем просто "мыслями". Происходит это оттого, что, отражаясь в нашем *физическом* мозгу, выражаясь фигурально, — как в зеркале, они как бы умирают, теряя для нас образ живых СУЩЕСТВ, но не свое содержание, не свою истинность. Теперь попробуем определить, что такое *правильные* мысли? — Мы знаем, что Мир, со всеми его обитателями, находится в постоянном развитии. Всё в нем от эпохи к эпохе меняется. Поэтому правильными мыслями мы можем назвать только те мысли, которые соответствуют порядку вещей и событий в Мире в каждую данную эпоху. Многое из того, что было правильным образом мышления, скажем, тысячу лет тому назад, теперь может оказаться неправильным. Тенденцию держаться за старые мысли, за догматы всякого рода, в особенности церковные, за старые религиозные мировоззрения — следует назвать неправильным, остальным образом мышления, уже не соответствующим мировой действительности. Даже прекрасная философия индусов и их религиозные воззрения не должны бы, собственно, соблазнять нас теперь. — Как же людям быть? Каким различать мысли правильные от неправильных? — Человечество в целом никогда не было оставлено без духовного водительства. В каждую эпоху приходили на землю Великие Посвященные, Пророки и Учителя. Водительство человечества было их миссией. Каждый из них открывал людям то, что было истинным в их эпоху. Так было, так есть и так будет вперед. Со времени пришествия Христа много воды утекло. Христианство непрестанно совершает путь своего мучительного развития. Но несмотря на истекшие 20 столетий, оно всё еще находится в зачаточном состоянии. В его развитии будет еще много сменяющих одна другую эпох. И вот, Фредди, мы живем как раз на рубеже двух эпох, когда другие, новые мысли постепенно получают право называться истинными, правильными, т. е. соответствующими сегодняшней действительности. Откуда они исходят? И кто принес, передал их человечеству? — Самый могущественный из Архангелов — МИХАИЛ — взял на себя миссию водительства, господства над этими мыслями. В разные эпохи Михаил выполнял различные миссии, всегда служа

Христу, всегда подготавливая Ему путь. Поэтому он также называется ЛИКОМ ХРИСТОВЫМ. Обыкновенные люди, с их современным холодным, рассудочным сознанием не имеют *прямого* доступа к Михаилическим живым Мысле-Существам. Им нужен посредник, "переводчик" мыслей Михаила на человеческий язык ясно выраженных понятий. Один из современных Посвященных взял на себя задачу такого *перевода*. Получив "перевод" Посвященного, *каждый* человек может понять и, если захочет, начать продумывать — просто или медитативно, — эти *правильные* мысли Михаила. Поступая таким образом, человек активно и сознательно становится участником в процессе эволюции Мира. Мысли Михаила имеют силу творчески влиять на всё находящееся и живущее в обоих мирах как в духовном, так и в физическом: на природу, на человека, на духовных существ, словом, на весь творимый Христом новый, возникающий Мир. Эти мысли и еще обладают одним свойством: они способны постепенно проникать в сердце человека, т. е. туда, где живет высшее "Я" человека. Таким образом Михаил, Архангел Христов, дает в наше распоряжение могущественное средство для сознательного сотворчества со Христом. Это и есть тот особый род деятельности, о котором я сказал выше, деятельности, которую человек может развить на служение Миру. Теперь Вы, естественно, спросите, кто же этот современный христианский Посвященный и где находится его "перевод" михаилических мыслей на человеческий язык рассудочных понятий и представлений? — Посвященный, о котором идет речь, в этом своем воплощении носил имя Рудольфа Штейнера (1861-1925). Труд всей его жизни в этом воплощении, его "перевод" мыслей с архангельского языка, он назвал Антропософией. Впрочем, название не имеет особого значения.

Теперь резюмирую: — Мир для своего развития хочет быть продуманным человеком на основании мыслей Михаила, переданных нам современным христианским Посвященным.

Вы, конечно, понимаете, Фредди, что я ни в какой мере не исчерпал деятельности Рудольфа Штейнера, ни миссии Архангела Михаила. Я коснулся их только в той мере, в какой они относятся к занимающей нас с Вами теме. Кончая это послание о первом даре Христа человеку, т. е. о Высшем "Я", скажу: — Сделав человека сотворцом Нового Мира, Христос тем самым

возложил на него страшную ответственность, но в то же время возложил ему Свое Божественное доверие.

Сент. 23, 1954.

...Книгу Шюре я в молодости читал. Тогда, помнится, нравилась мне она очень. Но после встречи с Антропософией и долгой, долгой жизни с ней и в ней, едва ли что-нибудь другое из области духовных знаний может заменить или дополнить то, что так полно и ясно выражено Штейнером и его учениками.

Вы пишете: "Изумительно, как Р. Штейнер был ознакомлен со всеми этими вопросами". — Иначе и не могло быть. Штейнер, как христианский Посвященный, да еще, — извините за неподходящее выражение, — "последней формации", должен быть больше, чем "ознакомлен" с духовными вопросами, событиями и Существами высших Миров *в их современном* виде и состоянии. Духовный Мир *непосредственно* эволюционирует и меняется, поэтому и современный Посвященный должен обладать способностью жить внутренне в этих переменах, в этой эволюции, происходящей в Духовных Мирах. Только при этом условии он способен правильно истолковать прошлое и правильно осведомить человечество о будущем. Так Штейнер и поступал.

Фреддинька, можно сказать два слова о разнице между Посвященным и ясновидящим? Если я не сообщу Вам ничего нового в этом смысле — извините.

Ясновидение может быть двух родов: во-первых, — атаксистическое. Оно является результатом еще не угасшего, некогда присущего всему роду человеческому, так сказать, — природного ясновидения. Это — отсталая, вредная и, большей частью, на 90%, доставляющая ложные сведения, форма ясновидения. Вспышки такого ясновидения приходят и уходят независимо от воли ясновидца. — Во-вторых, ясновидение может быть результатом сознательной тренировки и упражнений человека. Это уже лучше, но еще далеко не достаточно. Ясновидец этого второго типа обычно является жертвой следующих недостатков: 1) В образы, являющиеся ему, вмешивается его *субъективное* отношение к ним. Он видит эти образы не такими, каковы они суть в действительности. Он *невольно* окрашивает их своими субъективными, земными, привычными ему мыслями, чувствами, жела-

ниями и т. п. Образы же Духовного Мира обладают способностью мгновенно меняться под влиянием субъективных качеств "ясновидца". Другими словами: они мгновенно *искажаются* под наплывом таких субъективных влияний. 2) Видеть Духовных Существ и факты еще не значит *понимать* их. Предположим, что я встретил в Духовном Море некое Существо, и предположим даже, что я воспринял его правильно, в неискаженном виде. Теперь я спрашиваю себя, *кого я вижу? Кто* это существо? — И при всей ясности моего видения я могу не получить никакого ответа на мой вопрос. Вот классический, так сказать, пример того, о чем я говорю: Анни Безант, ныне умершая, председательница Теософского общества (после Блавацкой), исследуя ясновидчески Палестинские События, встретила одно очень высокое Существо, в то время воплощенное в физическом теле. Она приняла его за Иисуса Христа. — Что же оказалось? — За 100-105 лет до рождения Иисуса (Иешу бен Джозеф) жил и так же, как позднее Иисус, странствовал по Палестине этот высокий Дух (если не ошибаюсь, он был Посвященным), и имя ему было: Иешу бен Пандира. Он был водителем ордена Ессеев. Задачей его было: подготовить Христианство, а также указать людям на признаки, по которым они узнают Христа, когда Он воплотится. Он, как позднее и Иисус, был казнен.

Другую, более грубую ошибку Анни Безант сделала, приняв Кришнамурти за новое воплощение Христа. Она не знала (!), что Христос никогда больше не воплотится в *физическом* теле, что Второе Пришествие Его будет в *эфирном* теле. А ведь Анни Безант действительно обладала высокой степенью ясновидения! 3) *Просто* ясновидящий редко может определить, в каком отношении находится увиденное им Духовное Существо или событие к нашему физическому Плану. Поэтому его видения по большей части бесплодны и бесполезны. Кроме того, такой ясновидец очень легко (хотя не обязательно) может потерять душевное равновесие.

От всех перечисленных выше недостатков и опасностей *истинный* Посвященный совершенно свободен, потому что он проходит *специальную* тренировку. Какую именно, сейчас писать не могу, простите.

М. Чехов

П. Б. СТРУВЕ О СУДЬБАХ РОССИИ

Вы просите меня написать Вам о том, как переживал Петр Бернгардович события, связанные с мировой войной, каковы были его настроения и предвидения. Ни возраст, ни житейские трудности несколько не ослабили того пламенного или кипучего интереса к политическим событиям, который вообще составлял одну из главных особенностей его душевного склада. Этот интерес еще только как бы подогревался или углублялся тем, что в эти годы (1938-1944) П.Б. был умственно целиком погружен в свою научную работу; в первую очередь, в продумывание и писание "Экономической и социальной истории России с древнейших времен до нашего"; одновременно П.Б. обдумывал "Историю экономической мысли". Эти работы должны были, по его замыслу, подвести итог и его научной мысли и его непосредственного политического опыта. В них собирался он в законченной форме изложить свое социально-философское и историко-политическое мирозерцание. Однако этих конечных выводов он не успел сформулировать. Смерть не дала ему ни закончить писание "Истории России", ни даже начать писание "Истории экономической мысли" (введение к этой работе было написано им еще в Белграде и, вероятно, погибло там с прочими его рукописями). Но, как он говорил, "в голове эти книги уже

Эти записки, переданные нам Г. П. Струве, были сделаны младшим сыном П.Б. Аркадием в годы второй мировой войны. Аркадий многие годы исполнял при отце обязанности секретаря и в последние годы жизни П.Б. (1942-44) жил с ним в Париже. В феврале 1979 года исполняется 35 лет со дня смерти П.Б. Струве. РЕД.

готовы". В беседах, которые мы с ним вели на темы злободневной политики, он постоянно возвращался к этим общим выводам и, так сказать, в их свете рассматривал и оценивал те воистину судьбоносные события, свидетелями которых мы все были. Я постараюсь изложить как можно ближе к той словесной форме, которая была свойственна П.Б., некоторые его мысли, слышанные мною во время наших почти ежедневных бесед.

Сводя эти конечные выводы к каким-то кратким формулам, я могу выразить их так:

1) Переживаемая нами эпоха есть величайший мировой кризис социализма, в котором раскрывается и ложь его идеологии и бесплодность его практики.

2) Восторжествовавшая в России социалистическая революция есть как бы фокус этого кризиса и в то же время важнейший этап той борьбы сил свободы с силами принуждения, под знаком которой проходит вся русская история.

Социализм, как Вы знаете, П.Б. отвергал со всех точек зрения: религиозно-метафизически, как основанную на материализме ложную и лживую идею о "земном рае"; политически — ибо социализм, по его глубокому убеждению, несовместим с политической свободой; наконец, социально-экономически — ибо социализм, устраняя экономическую свободу, неизбежно приводит и к понижению уровня народного благосостояния и к полному закрепошению трудящихся единым хозяином — государством.

Что же значит кризис социализма? Это значит, что человечество очень медленно, на путях горького и кровавого опыта, прежде всего русского опыта, начинает осознавать истинную природу социализма. Это раскрытие истинной природы социализма идет извилистыми путями и принимает разнообразные формы. Оно дается с трудом, ибо человеческая мысль уже более ста лет как бы загипнотизирована или отравлена идеей социализма, как все разрешающего, все исцеляющего средства, некоей мировой панацеи.

Кризис социализма проявляется и в том явлении, которое можно охарактеризовать, как отход социалистических партий от социализма, т.е. и от его революционного осуществления и даже от всецелого проведения его в жизнь легальными путями. В суш-

ности, тут социализм перерождается в социальное реформаторство, ставящее себе задачи, достижимые в рамках "либерально-капиталистического" строя и даже, если добросовестно продумать вопрос, достижимые только в этих рамках.

Но социализм до конца может быть осуществлен только революционным путем и, как показал русский опыт, удержаться в качестве социального строя он может только на путях насилия, причем даже не в рамках ограничения свободы, а в рамках полной *несвободы*. Ибо осуществленный социализм и логически и практически исключает экономическую свободу, допущение которой привело бы к возврату "буржуазного" строя. А отсутствие экономической свободы неотвратимо влечет за собой и исчезновение, или подавление, всех других свобод. Связь экономической свободы, т.е. свободы хозяйственного делания, со свободой вообще, которую можно проследить на всем протяжении истории человечества, и в области идей и в области реальных фактов, с необычайной яркостью обнаружилась в русской революции. Эта связь имеет какие-то и метафизические, религиозные основания. Мысль об этой связи была одной из центральных в умозрении П.Б.

Осуществленный социализм родил "тоталитарность". "Тоталитарный режим" есть совершенно новая в истории комбинация полицейского государства с партийной диктатурой, опирающейся на революционную идеологию и демагогию, комбинация насилия и лжи, господство черни, организованной в партию.

В России этот строй восторжествовал в результате гражданской войны и утвердился при помощи небывалого в истории систематического террора, до некоторой степени осуществившего "тотальное" истребление реальных и потенциальных противников нового режима. Этот террор, сочетаясь с экономическим всемогуществом государства и с искусственно поддерживаемой изоляцией от внешнего мира, сделал революционную борьбу с советской властью исключительно трудной, если не просто невозможной. Вот почему столь роковое значение, и не только для России, но и для всего мира, имел исход гражданской войны, т.е. неудача Белого Движения в 1920 г. (К этой мысли П.Б. не раз возвращался в самые последние дни своей

жизни, как бы задавая себе самому вопрос, не было ли в то время что-то упущено...)

В Германии тоталитарный режим пришел к власти другими путями. Но и тут он отмечен с самого начала сочетанием насилия и лжи. По определению П.Б., Гитлер, эта ничтожная и пошлая фигурка, есть величайший лжец в мировой истории.

Идейные соотношения между коммунизмом и национал-социализмом представляют вообще весьма причудливый переплет, который можно в некотором смысле уподобить "школе взаимного обучения". Коммунизм, он же большевизм, идейно, конечно, гораздо содержательнее и существеннее национал-социализма, не имевшего никакого оригинального идейного содержания, а представлявшего винегрет из весьма различных и иногда противоположных идейных мотивов. В этом идейном винегрете элементы социалистический и материалистический, однако, были чрезвычайно значительны, и потому для П.Б. национал-социализм был *par excellence* революционно-социалистическим движением, идейным отпрыском большевизма, сочетавшимся с расизмом — идеей по самому своему существу антихристианской и материалистической — и облекавшимся в самые крикливые и грубо отвратные формы германского национализма. И практика полицейско-партийного гнета, опирающегося на социальную демагогию, во многих отношениях заимствована национал-социалистами у большевиков. А Гитлеро-геббельсовская декламация против "капиталистической плутократии" или их антиклерикальная демагогия разве не казались прямо-таки списанными со страниц "Правды" или "Безбожника"? С другой стороны, сталинский коммунизм, после расправы со старыми большевиками и особенно после своего облачения в русские национальные одежды, как бы двинулся навстречу национал-социалистическому винегрету. Обращение Сталина к национальным традициям, "реабилитация" русской истории, лозунг "веселой жизни", наконец, даже новая политика по отношению к церкви — не гнать церковь, а ее оседлать! — все эти двурушнические приемы несомненно связаны с приходом к власти национал-социализма.

Наконец, самое главное и, может быть, роковое заимствование, только еще намечавшееся в событиях 1939-40 г., но с

полной ясностью обнаруживающееся теперь, на наших глазах — это перенесение тоталитарной комбинации лжи и насилия в международные отношения. На этом сорвался Гитлер, увлекши за собой в пропасть и всю Германию...

Общность методов и созвучность фразеологии, конечно, совсем не случайны: они суть следствие и признак духовного родства большевизма и национал-социализма, как движений социально-революционных и, по существу, реакционных, желающих разрушить "старый" мир ("буржуазный", "капиталистический", "либеральный", "христианский") и построить на его обломках 1000-летнее царство социализма, в котором не будет ни нужды, ни места для свободного действия и свободной мысли...

Очень важное место в размышлениях П.Б. занимала мысль о "примате внутренней политики", в том смысле, что в жизни государств первенственное значение имеет их внутреннее здоровье и что только внутренне здоровое государство может плодотворно осуществлять какие-то внешние задачи. С этой точки зрения он считал, что Россия после Великих Реформ и особенно после 1905 года, выйдя на пути политической свободы и правового строя, находилась в той стадии внутреннего расцвета и роста, которой должно было соответствовать и расширение ее внешнего могущества. Поэтому подлинным историческим несчастьем явилась для России революция 1917 г., которая не имела никаких объективных задач и отбросила Россию культурно-морально на несколько столетий назад.

С этой же точки зрения примата внутренней политики П.Б. расценивал и события в Германии, сопровождавшие приход к власти национал-социалистов. Вы, вероятно, помните, с какой горячностью и страстностью, которая многих удивляла и многим не нравилась, он относился к этим событиям. В германских событиях он тогда видел ключ к мировой политике и в этом, увы, не ошибся. Притом его, как либерального консерватора и националиста, волновало то, что в Германии под покровами и масками национализма и консерватизма торжествует идейный (и в то же время в некотором смысле совершенно безыдейный!) отпрыск большевизма, сочетавшийся с

расизмом, т.е. с отвратительной и существенно антихристианской формой антисемитизма. Он с ужасом наблюдал, как германские массы, и консервативные и социалдемократические, загипнотизированные именно перспективами внешней политики, без боя сдали свои внутренние позиции. Роковую роль сыграло тут поведение Гинденбурга (прообраз Петэна) и фон-Папена. На этого последнего, как на представителя консервативной католической Германии, П.Б. возлагал большие надежды и его вину перед исторической Германией считал впоследствии тем более значительной.

С отвращением следил П.Б. за успехами национал-социалистической пропаганды, принимавшей самые разные обличия и разлагавшей главным образом — но не исключительно — консервативные или, говоря вульгарно, "правые" круги мирового общественного мнения. Его раздражало то легкомысленное и легковверное восприятие этой пропаганды, в ее антикоммунистическом и антисемитском облике, которое он наблюдал в окружавшей его русской среде. Он видел в этом не только лицемерие и политическую некультурность, но и какую-то моральную слепоту. Он отказывался рассматривать национал-социализм исключительно с точки зрения его полезности (притом призрачной!) для русских интересов и уподоблял такое отношение позиции тех евреев, которые всю русскую историю рассматривали с точки зрения еврейских погромов.

И как русский националист, и как если не славянофил, то во всяком случае человек, для которого славянство и славянское призвание России были не пустыми звуками, П.Б. не мог не ощущать той ненависти и презрения к России и к славянству, которыми была пропитана пошлая и дешевая философия "Мейн Кампф".

Довольно рано П.Б. пришел к ясному убеждению, что внешняя политика национал-социалистов, которая являлась одновременно и следствием их внутренней политики и способом для привлечения симпатий военной и националистической Германии, что эта внешняя политика, пытающаяся орудовать при помощи шантажа, неотвратимо сойдет на пути насилия, т.е. приведет Германию к войне с Западными демократиями. В этой грядущей войне П.Б. видел не ординарное международное столк-

новение, а столкновение идеологическое, борьбу двух миропониманий: одного восходящего к христианству, охранительного и в то же время утверждающего свободу и право, и другого — революционного, попирающего свободу и право и отрицающего духовные основы христианской цивилизации. С необычайной остротой П.Б. ощущал историческое величие этого столкновения. Он вовсе не был ни поклонником Версальского мира и созданной им системы, ни фетишистом современной демократии (это многосмысленное слово он просто не любил). Но для него было совершенно ясно, что дело идет о вещах неизмеримо более важных, о каких-то глубочайших духовных основах человеческой культуры. Ему было и осталось непонятно, как и почему громадное большинство немцев не только не уловило этого смысла событий, но даже не отдавало себе отчета в том, что Гитлер ставит на карту самое существование Германии, рискуя войной, в которой рано или поздно противником Германии окажется почти все человечество. Ему было отвратно, что немалая часть руководящих кругов и народных масс Западных стран, из страха перед войной, из шкурного пацифизма готова на все уступки, которые к тому же не только не устраняют опасности войны, но, наоборот, толкают Гитлера и загипнотизированную и прельщенную им Германию на путь насилия. Только решительный отпор мог, по его мнению, тогда спасти мир от войны, а Германию от величайшей в ее истории катастрофы. Но вместо твердого отпора был... Мюнхен...

П. Б. и в политике и в человеческих отношениях вообще весьма важное и положительное значение придавал компромиссу. Но именно пример Мюнхена иллюстрировал, на его взгляд, то условие, вне которого компромисс теряет всякий смысл, а именно: наличие каких-то общих моральных мерок у участников соглашения. Говоря просто, компромисс нужен и возможен между честными людьми. Гитлер и его правительство были людьми элементарно бесчестными, а потому компромисс с ними был реально бесплоден и морально вреден. Эту же оценку П. Б. применял и к большевикам, а потому соглашательство всегда считал и морально порочным и практически бесплодным.

Некоторые друзья П. Б. ставили ему тогда в упрек, что ненависть к национал-социализму заслоняет от него Россию и боль-

шевизм. Этот упрек своей близорукостью ("моральной слепотой") приводил П. Б. в величайшее негодование — можно сказать, прямо в бешенство. Спасение России от большевизма он не мыслил иначе, как духовное возрождение русского народа, связанное с возвратом его на общечеловеческие пути, пути свободы и права. Торжество Гитлера не только не содействовало такому возрождению, а, наоборот, отбрасывало и Германию и, может быть, всю Европу в царство насилия, беззакония и лжи. Успехи Гитлера были для него успехами того самого духа, с которым, в лице большевизма, он, как русский националист, вел непримиримую борьбу. Вокруг себя он встречал большей частью полное непонимание этого соотношения. "Антикоммунистическая" дымовая завеса скрывала от большинства русской эмиграции истинное лицо национал-социализма. С другой стороны, и на Западе царил глубочайший идейный разброд. "Правые" в значительной своей части находились в роковом заблуждении, видя в тоталитарных режимах, немецком и итальянском, своих союзников, не улавливая революционного духа этих режимов, направленного против самых основ "буржуазного" строя, и, что еще удивительнее, снисходительно относясь к их международной агрессивности. Особенно разительно это сказывалось во Франции, где умеренные в своей массе, наперекор всем традициям, были "мюнхенцами". Блистательные исключения — Тардьё (к несчастью Франции, тогда уже почти сошедший со сцены), Мандель и Поль Рэнно — только подчеркивали это положение. Это роковое заблуждение или историческое недомыслие "правых", сопровождавшееся какой-то общей моральной дряблостью, привело Францию к Петэну и Виши и чревато еще немалыми опасностями для ее дальнейшей судьбы. Но это явление не ограничивалось Францией и в той или иной форме сказалось почти во всех странах, за исключением Англии, и в этом великая заслуга английских консерваторов, прежде всего лорда Галифакса и особенно Черчилля, которые в своих речах, еще до войны, обнаружили ясное понимание природы национал-социализма. Фигура Черчилля, подлинного либерального консерватора и последовательного антикоммуниста, вообще как-то сродни П.Б.

Когда, накануне войны, был подписан германо-советский

пакт, П.Б. пустил в ход формулу, ставшую популярной среди его белградских друзей: "В один мешок!" — подразумевая тут трех "тоталитаров": Сталина, Гитлера и Муссолини.

Относительно Муссолини нужно сделать, впрочем, такую оговорку. П.Б., которому вообще было чуждо всякое упрости-тельство, ставил Муссолини, как государственного деятеля, гораздо выше Гитлера и не проводил знака равенства между фашизмом и национал-социализмом. Идейно фашизм, явив-шись объективной реакцией на коммунизм, был содержательнее национал-социализма, и на этом содержании и на самом Мус-солини еще в большей степени лежала печать социалистической идеологии. Тем отступлениям от тоталитарности, которые более всего сказались в сохранении монархии и в Латеранском согла-шении, П.Б. придавал большое значение и, как мы видели, они действительно сыграли в судьбе Италии важную роль. Но Мус-солини, с одной стороны, впавший в своего рода империалисти-ческую манию величия, с другой стороны, ослепленный идеей о "гнилости демократий", предав Австрию, привязал себя и свой режим к гитлеровской колеснице.

"В один мешок!" Поведение Сталина, когда он при попусти-тельстве немцев разгромил балтийские республики, а затем на-чал довольно жалкую войну против Финляндии, как бы само осу-ществляло эту формулу-лозунг. В эту эпоху П. Б. ждал и желал, чтобы Советская Россия была втянута в войну на стороне Герма-нии. Ибо, в чем он был совершенно уверен, так это в том, что война, каковы бы ни были ее перипетии, окончится победой "старого", т.е. свободного, мира. Эту свою уверенность он сохранял совершенно непоколебимо и в моменты самых оше-ломляющих немецких успехов: завоевания Польши, Норвегии, Голландии, Бельгии, молниеносного военного разгрома Фран-ции, захвата Балканских стран. Людям, не пережившим этих событий в Европе, трудно представить, какое поистине по-трясающее впечатление производили эти успехи, которые немец-кая пропаганда с виртуозной ловкостью преподносила в каждой стране с соответственной приправой. Можно сказать, что в Евро-пе (за исключением Англии) почти не было людей, веривших в тот момент в полную победу союзников. Немцы, упоенные своими молниеносными успехами, видели в себе уже победите-

лей и благодетелей Европы и заражали этим настроением многочисленных легковых "фактопоклонников". В оккупированных и нейтральных странах в лучшем случае мечтали о компромиссном мире и считали нужным ему содействовать. Как это ни чудовишно, но именно в то время, когда Англия одна продолжала войну, по всей Европе прокатилась волна англофобии, вдохновленная и аранжированная, конечно, немцами, но всюду встретившая отклик и нашедшая себе приют. Эти два настроения — фактопоклонничество и англофобия — вызывали у П.Б. негодование и почти болезненное раздражение. На него самого "молниеносные" успехи Германии производили прямо обратное впечатление: "Чем больше у Германии сейчас успехов, тем больше ее ждет катастроф. Война решится тогда, когда Англия при помощи Америки (в то время Америка была еще нейтральной) получит превосходство в воздухе. Германия действительно милитарно чрезвычайно сильна, но экономические и человеческие ресурсы ее противников безграничны". Осенью 1940 года П.Б. с громадным волнением следил за "битвой над Англией", и, по мере того как крепло английское сопротивление и рушились, или даже, может быть, разом рухнули, немецкие расчеты на "инвазию", он считал, что колесо войны поворачивается в другую сторону; находились люди, которые над ним смеялись...

Ту же формулу впоследствии П.Б. применял и к успехам Японии: чем больше ее успехи, тем разительнее будет ее катастрофа. Японские военные круги нападением на Америку совершили свое "харакири", но притом не только не спасли Гитлера, толкнувшего их на это, но ускорили его гибель, ибо в тот час американский изоляционизм перестал существовать, а Рузвельт (и за это П.Б. его чрезвычайно высоко ставил) понял, что путь к победе над Японией ведет через победу над Германией.

Нападение Германии на Советскую Россию застало П.Б. в немецкой тюрьме в Граце. Он ждал, по его словам, скорого падения советской власти и признавал потом, что в этом отношении он обманулся. Но он думал и впоследствии, что причиной этого была не столько сила этой власти, сколько слабость (не абсолютная, а относительная) ее противника, и, главное, полное неумение немцев политически использовать свои первоначальные успехи, неумение, вытекавшее из политического ничтожества са-

мого национал-социализма. Национал-социализм не смог, но и не мог в силу своей природы, превратить эту внешнюю войну в освободительную для России войну гражданскую. Война с Советской Россией была для Гитлера только звеном в его войне с остальным миром — точнее, диверсией, вынужденной провалом "инвазии" и погоней за рабами, хлебом и нефтью. Немцы не столько стремились к уничтожению коммунистической власти, сколько к соглашению с ней, которое дало бы им возможность, "отбросив большевизм за Волгу", использовать Россию для продолжения войны с англо-американцами. Эта полная неспособность немцев превратить свою войну в освободительное антисоветское движение вытекала из самой моральной природы национал-социализма. Поэтому сотрудничество с немцами П.Б. считал не только морально порочным и потому неприемлемым, но и реально-политически вредным для русского, антибольшевизмского дела. Политическое действие русских противников большевизма силою вещей в этих обстоятельствах сводилось к непреклонному блюдению того духа, во имя которого они подняли и вели свою борьбу, духа России и Свободы. Ни "России", ни "Свободы" у немцев не было. Но судьба России неотделима от судьбы остального мира, а эта последняя решалась в столкновении гитлеровской Германии с англо-американцами и их союзниками, победы которых П. Б. страстно желал и в которую твердо верил.

Почему в данной исторической конъюнктуре немецкий тоталитаризм оказался опаснее русского большевизма? Это сложный вопрос, на который нельзя дать однозначного ответа. Прежде всего, конечно, потому, что национал-социализм сочетался с могущественной и в высшей степени агрессивной германской военной силой. Затем, самое культурно-географическое положение Германии и некоторые специфические свойства идеологии национал-социализма делали его гораздо более опасным для "буржуазного" мира, чем революционный коммунизм, который к моменту возникновения войны был внутренне преодолен почти во всех европейских странах.

Как же отразится на судьбах России то, что, волею Гитлера, советская власть оказалась не в одном мешке с ним, а в лагере союзников, и тем самым в лагере победителей? П.Б. задумы-

вался над этим вопросом и полагал, что участие советской власти в победе не только не разрешит ее прежних трудностей, но, наоборот, создаст ей новые затруднения, притом неизмеримо большие. Он исходил при этом из своего общего представления, что мир свободный ("буржуазно-капиталистический") во всех отношениях — и духовно, и экономически, а тем самым и военно — сильнее мира советского и что это соотношение сил рано или поздно скажется и на внутреннем положении России. Он признавал, что вызванная Гитлером мировая война, направленная одновременно и против "капиталистического" мира и против России, может широко открыть в ряде стран двери коммунизму и вновь сделать коммунистическую опасность в Европе реальной угрозой. Но он не думал, чтобы коммунизм мог надолго укрепиться в Германии и в Восточной Европе, потому что в этих странах, даже самых культурно отсталых, он высоко расценивал силы сопротивления и предвидел конечное торжество здоровых начал свободы и собственности. Опять-таки в этом отношении решающее значение он придавал тому, как сложится соотношение сил в Германии. В то время (он умер за несколько месяцев до начала освобождения Европы) нельзя было еще предвидеть полного разгрома Германии, как государства. Напротив, П.Б. надеялся (предполагал), что здоровые силы в Германии, военно-консервативные, католические и социал-демократические, сумеют вовремя покончить с национал-социализмом и тем спасут Германию, как государство. Этим его надеждам (предположениям), предвосхищавшим июльский заговор против Гитлера, не суждено было сбыться...

"Большевизма уже не существует", --- говорил П.Б. в первый год германо-советской войны, приводя в недоумение своих собеседников в Белграде.* Он хотел этим сказать, что, одевшись в национальные одежды, советская власть должна была выбросить за борт одну из самых существенных частей большевистской идеологии. Тем самым советская власть капитулировала, или сделала вид, что капитулирует, перед национальной Россией. Даже если верно только последнее, это есть признак внутренней слабости коммунистической власти. И если война

*Знаю это по рассказам: в Париже эту формулу П.Б. не любил повторять.

действительно пробудила в подъяремной России какие-то подлинно патриотические силы, они могут и должны воспользоваться этой слабостью власти и предъявить ей счет, заставить ее капитулировать и перед свободой. Только тогда, когда Россия вернется на общечеловеческие пути свободы и права, она сможет прочно, в мирном сотрудничестве с другими народами, восстановить свое мировое положение. П.Б. с негодованием отвергал распространенное среди иностранцев — к сожалению, с легкой руки некоторых русских — представление о том, что Россия, в отличие от остального мира, может обойтись без всяких свобод (презрительно именуемых в таком случае "формальными") или что "русская свобода" и "русская демократия" суть явления особого порядка, отличающиеся тем, что в них нет признаков ни свободы, ни демократии. Россия, культурно-морально отброшенная в глубь веков, потерявшая свою культурную верхушку и культурно-политические навыки, которые она несомненно приобрела в имперский период своей истории, будет, вероятно, медленно и с трудом возвращаться на пути свободы, и права и национальной государственности. Но знание истории России и ее культуры убеждали П.Б. в том, что такое возрождение неизбежно произойдет, хотя коммунистическое иго оставит в русской жизни не меньший след, чем тоже преодоленное Россией иго татарское. Будущее в России принадлежит демократии с социалистическим — вернее, социальным — уклоном.

Способны ли Сталин и его подручные содействовать такой эволюции, связанной с культурным сближением и честным сотрудничеством с Западным миром? П.Б. задавал себе в самый разгар войны этот вопрос, вопрос роковой и для России и для всего мира, и скорее отвечал на него отрицательно — отрицательно именно в силу общей морально-идеологической оценки советских правителей: он их считал пленниками и идеологии, построенной на лжи, и режима, державшегося насилием. Но как бы ни повернулись события и каковы бы ни были политические зигзаги советской власти и ее внешние успехи, одно было для него непререкаемо ясно: России нужно прежде всего внутреннее раскрепощение, моральное, политическое, экономическое. Наш долг, долг свободных русских националистов, разъяснять и русским людям и иностранцам, что без такого раскрепощения нет и

не может быть ни сильной России, ни прочного мира. Ибо угроза новой войны заключается совсем не в русском "империализме", а в советской "тоталитарности", т.е. в том порядке, который господствует в России и который неразрывно связан с идеей мировой социальной революции. Такая война (П.Б. считал ее маловероятной в силу высказанных выше соображений) поэтому еще в большей мере, чем предшествующая, явится войной идеологической, или даже прямо превратится в гражданскую войну в мировом масштабе, в столкновение сил Свободы и Права с силами насилия и лжи.

ПИСЬМА И. А. БУНИНА

ПИСЬМА И.А. БУНИНА К Б.К. И В.А. ЗАЙЦЕВЫМ

К интереснейшей переписке Бунина с Зайцевым сам Борис Константинович прибавил следующее примечание, наклеенное на кусочек французской газеты "Фигаро" от 20-21 окт. 1951-го г.: "Письма Бунина. 160 — среди них довольно много открыток с текстом — иногда очень интересным; много и больших писем. Есть стихи, мне и жене моей присланные из Грасса — кажется, в печати не появлявшиеся".

Бунинские письма публикуются с оригиналов, хранящихся в Колумбийском университете, с разрешения Русского Института. Хранителя русского архива, Л.Ф. Магеровского и г-жу Е. Валькенир я сердечно благодарю за оказанную ими помощь. Я особенно благодарен дочери Зайцевых, Н.Б. Соллогуб и ее мужу А.В. Соллогубу за их готовность провести со мной много времени, объясняя непонятные мне места в переписке. Письма печатаются по новой орфографии, сокращения в оригинале, за исключением подписи автора, заменены полной формой. Пропуски обозначаются [...].

*А. Зверс, германо-славянское
отделение Ватерлооского
университета в Канаде.*

Дорогой друг, сейчас Ваше письмо. Очень тронут им и обнимаю Вас за него очень крепко, с теми неизменными чувствами и к Вам и к Вашему таланту, которые уже давно и верно храню в душе. А поводом к этому письму искренно удивлен: Бог с Вами, откуда Вы взяли, что я что-то возымел против Вас?!! Вы не

поехали в Грасс? Но это не вызвало во мне ровно ничего, *кроме огорчения*. Мы на вечер не остались? Но на это было много причин совершенно посторонних. Мы *не могли* не выехать 29-го и очень жалели, что не будем с Вами на этом вечере, а сейчас от всей души рады его успеху. Целую Веру, Наташу и еще раз и особенно — Вас. Истинно буду счастлив, если Вы побываете у нас летом.

Простите краткость, — только что вернулись из большой поездки на автомобиле [неразборчивое слово], сделали почти 500 километров. Едва живы от усталости.

Ваш Ив. Бунин

12-V-1924

Villa Eolina
Grasse (A.M.)

1-го окт. собачьего стиля 1924 г.

Дорогой Друг,

Еще раз простите за несвоевременный ответ: очень писал, потом мыкался как угорелый — искал, куда-бы переселиться до 1-го ноября (ибо с Villa Montfleuri нас на днях прут). Ничего не нашел, и в понедельник 6-го перебираемся к Мережковским (у них villa до 1-го ноября). В Париже надеемся быть в самом начале ноября на прежнем месте (Ландау, обитавши наше подземелье на Jacques Offenbach, 1-го ноября выселяется). Рад, что Вы пока "отстреливаетесь"¹, и дальше что? Как будете с января, когда англичане уплывут?² У нас тоже зима впереди весьма темная. Деньги со "Слова" почти прожиты. А больше, кроме *мелких* заработков, что-то ничего не предвидится. Из России, о родных, и у нас вести самые горькие. И вообще на что надеяться? Как Вам понравился Савинков?³ (Я этого ждал). Какову

1. Выражение самого Зайцева.

2. В эту зиму Зайцевы снимали квартиру на rue Belloni вместе с племянницей В.А. Зайцевой, Е.А. Комиссаржевской, ее сыном, и английской гувернанткой.

3. В середине августа 1924-го г. Б.В. Савинков покинул Париж и перешел границу СССР.

кузькину мать узнали грузины? Это тебе, е.т.м., не "подлое" царское правительство! Наташенька танцует? Дай Бог, нежно ее целуем. Гржебиным поражен. Что сей сон значит? Его-то, конечно, не жаль, — жаль Вас, у коих еще одна source затыкается.⁴ И где Бальмонт? Возвращается в Париж или остается со своим другом Океаном? Будьте здоровы, обнимаем Вас и Веру.

Ваш И.Б.

Дорогой⁵, очень ждем Вас. Приезжайте прямо к нам, будете у нас, кровать найдется. Если Вы придете в Cannes на вокзал, то от вокзала до нас можно доехать по трамваю (билет нужно брать до Oстроi, 40 сантим 2-й класс) или дойти пешком в 10 — 15 м. Встретили бы, да не знаем, с каким поездом приедете,

Целуем, Бунины

Поклон Ельяшевичам. Может и они заглянут к нам?

Дорогие Друзья⁶, очень рады Вашему приезду, хотя и столь позднему. Буду наводить справки, как лучше добраться к Вам, — трудно это так, что легче в Лондон съездить!⁷ Дай Бог Вам всего лучшего и многописания. Мы сидим помаленьку и тихо, даже Фондаминский уехал. Мережковский на Албе. О Сербии⁸ пока ни слуху. Почему Вы, дорогой Борис, от "Возрождения" уклоняетесь? (Кстати, пушен ложный слух, что я редактор). Целуем Вас всех очень.

Ваш Бунин

Напишите, как, *по Вашему* к Вам ехать, версты, способы сообщения и пр.

4. Дело в том, что Гржебин надеялся на продажу в Сов. России изданных им книг русских писателей в Берлине. Издания были приготовлены, но Гржебину не позволили их продавать в СССР и таким образом source затыкался для некоторых русских писателей. Изд-во Гржебина прекратилось.

5. Почтовый штемпель: 26-4-25.

6. Почтовый штемпель: 24-5-25.

7. Адрес Зайцевых: Domaine de la Pugette, près de Thoronet (Var).

8. По всей вероятности Бунин ссылается на пособие, которое Сербское Правительство каждый месяц посылало русским писателям в эмиграции.

Дорогой и милый Борис Константинович⁹, спасибо за сердечное письмо. Очень хочется дать что-либо для Вас¹⁰. Но.../за те штучки, что были в "Иллюстрированной России", Мионов платил мне чохом, гораздо дороже, чем "Перезвоны". Потом: какая орфография? По новой не дам и за миллион. Позвольте прислать стишок. Прозу так дешево не могу. (И не понял: сколько приблизительно строк?) Целую Вас всех крепко.

Ваш Ив. Б.

16 -X-25

Дорогой Борис Константинович,

Вы пишете о моей *"общей крайней"* подозрительности по отношению к "Перезвонам". Но я в ней неповинен. Ко мне обратился 2 сентября кто-то от имени Сергея Арсеньевича (фамилия которого была не названа и которого я до сих пор не знаю, -- кто это такой). Я любезно ответил: будьте добры сообщить мне список сотрудников *писателей*, ибо фамилии художников -- Богданова-Бельского, Добужинского и Апсита -- мне говорят мало. Мне ответили, что хорошо, в свое время мне это сообщат, а пока собирались сообщить, вышла история с Апситом, доказавшая, что я был прав в своей осторожности. А затем обратились ко мне Вы, и тут я уже *без всяких* запросов, -- кроме запроса об орфографии, -- ответил Вам, что сердечно буду рад сделать Вам угодное. Где-же моя *"общая крайняя подозрительность"*? Имея дело *уже с Вами*, я не обратил внимания даже на то, что Зинаида Николаевна закричала на меня: "Как, вы идете в журнал, где большевик, форменный большевик Добужинский?" Что-же до орфографии, то ее теперь употребляют и не одни большевики и сменовеховцы: вон эсерское "Пламя" многое печатает по ней, вон собор студентов-демократов (недавно ко мне обращавшийся) издает в Праге журнал "Своими путями" с новой орфографией; наконец Вы и сами, кажется, допуска-

9. Почтовый штемпель: Grasse, 12-10-25.

10. Зайцев состоял редактором литературного отдела *Перезвонов*, первый номер которого вышел 8 ноября 1925. Во втором номере этого журнала появился рассказ Бунина "Мордовский сарафан."

ли ее для некоторых Ваших издателей. И какие выводы делаю я из этого? Никаких. Только огорчаюсь. Но *лично у меня* это пункт помешательства. Недавно неожиданное письмо: от В.С. Миров (Миролюбова). Приехал в Прагу, вступил в "Пламя" вместо Ляцкого, собирает сборник, просит дать что-нибудь -- и пишет по новой орфографии. Я ответил, что не соглашусь на нее даже за миллион долларов. А потом: вот и Вы сами еще не знаете, какая именно будет орфография, и запрашивает Белоцветова.¹¹

Словом, с этой стороны я никак не хотел и не мог Вас задеть ни на волосок. Остается гонорар. Вы говорите, что *Вы* тут ни при чем. *Лично* Вы --- разумеется. Но ведь в этом-то случае я обращался уже как бы не к Вам, а к издателю, которого Вы, в силу положения, как бы заменяете. И тут дело (в смысле суммы) очень пустяковое, но немножко "принципиальное". Я *всякий раз* огорчаюсь и возмущаюсь: все -- и бумажники, и наборщики, и печатники -- все получают не только то же, что до войны, но еще больше, а вот писатели довели себя до ужаснейшего и **обиднейшего** положения, получая вместо прежнего рубля ровно копейку! Но это общее -- и в сторону. А частное таково: в "Руле" я печатался в *прошлом* году, когда и франк был другой, а главное -- я мог там *каждый* месяц печатать 500-600 строк. А "Перезвоны"? Еженедельный журнал не больше, думаю, "Иллюстрированной России". И Вы просили дать что-нибудь маленькое, вроде того, что я давал Мионову, который платил мне, повторяю, "чохом", т.е. даже и за сто строк 250 фр., понимая, что уже *чересчур* обидно писателю заработать у него *в год* за свои два-три выступления -- двести, триста франков.

Целую Вас всех сердечно. Ваш Ив. Бунин

P.S. Послал бы Вам что-нибудь при этом письме, но порылся, порылся -- и ни на чем не остановился. Погодите, дорогой, немножко, пожалуйста.

11. С.А. Белоцветов --- ответственный редактор *Перезвонов*.

Дорогой Борис Константинович, из совсем мелких штук не нашел ничего по душе, — да и не хочется появиться на новой эстраде, в первый раз, с несколькими строками, — посему посылаю Вам то, что найдете при сем.¹² Думаю, что это довольно ловко и ядовито сделано. Если понравится и подойдут условия, берите. А условия — 25 американских долларов (*франками* не могу взять, что будет с франками через неделю, один *сег* Блюм знает). Верно, у Белоцветова найдется человек в Париже, который может вручить Вам для меня именно *американские* бумажки. Простите меня, дорогой, — право иначе не могу. Если же Белоцветов на это не пойдет, пожалуйста, вышлите мне расказ обратно *заказной* бандеролью.

Целую Вас с неизменной любовью, обнимаю Веру, Наташу.

Ваш Ив. Бунин
25-X-1925

P.S. А если возьмете, — как с корректурой?

Дорогие Зайцы,

Что же это делают со мной "Перезвоны"?!! Лишили меня возможности напечатать на Рождестве мой рассказик, т.е. совершенно серьезно говоря, нанесли мне ущерб в 500 фр., затем даже не возвращают мне рукопись — и наконец бесстыже, без спросу берут мои стихи, написанные мною в 1886 г., ей Богу!!¹³ — и печатают, печатают даже без пометки, что это перепечатка!

Мера моего терпения переполняется.

Ради Бога, напишите им. Ваш И. Бунин

28. V. 26

Дорогие друзья, что-то от Вас ни слуху, ни духу (а мы хоть кратко, **все-таки** писали). Приедете-ли Вы, Борис Константинович, и когда? Погода исправилась, поют соловьи, я, дай Бог не сглазить, почти совсем пришел в себя. Целуем Вас всех и ждем письмеца.

Ваши Бунины

12. Т.е. рассказ "Мордовский сарафан".

13. Бунин здесь ссылается на стихотворение "Крещенская ночь" (Темный ельник снегами, как мехом, Опушили седые морозы...), которое появилось в 1926 г. в 9-ом номере *Перезвонов*. Поэтому это письмо без даты по всей вероятности написано в начале 1926 г.

Не знаете ли точно, как будет сербское посольство высылать нам деньги? Мне там, в секретариате, что-то бормотали в роде того, что будто мы должны каждый месяц предварительно высылать им росписку. Это какая-то чепуха, но все-таки справьтесь, пожалуйста, когда там будете.

8 июня¹⁴

Сейчас получили Вашу открытку, дорогой Борис Константинович. Очень рады, ждем Вас к 15-му. Напишите перед отъездом, -- учитывая, что почта здесь не спешная, -- когда именно и как будете.

А куда едут Вера с Наташей? В Пюжет, конечно? Что до Clausone'a, то тут вышла такая история: приехав сюда, мы через несколько дней отправились в этот самый Clausone, и я был весьма удивлен заявлением Ольги Львовны, что она наши комнаты, даже не спросив нас, отдала какому-то мальчику, который должен скоро приехать. Мы спросили: а как же Зайцевы, если они вздумают приехать? "Ну что ж, говорит, я помещу их в другие комнаты. А питание их троих будет стоить у нас в сутки франков пятьдесят". И когда мы сказали, что это Зайцевым будет, вероятно, слишком дорого, она прибавила, что может устроить какую-то плитку, на которой Вера сама может готовить. Вот такая ерунда выходит, дорогой друг. Мы с тех пор Ольгу Львовну видели только раз и не знаем, точно ли наши комнаты заняты. Но на всякий случай предупреждаю Вас. Итак целуем Вас и ждем.

Поклон наш Ф.О.¹⁵ Ваш Ив. Бунин

P.S. Если Вы все таки думаете с Clausone'e то напишите Ольге Львовне: Madame Eremieff, Chateau Funel de Clausone, Biot, A.M. -- Может быть, все еще устроится. А денег от сербов я и до сих пор не получил!

14. Судя по содержанию вероятно 1926 г.

15. Фаина Осиповна Ельяшевич.

Дорогой Друг,¹⁶ Вам послал стихи некто Левицкий (Hotel de la Gare, Monthey, Valais, Suisse). Будьте добры, обратите внимание — это умирающий от чахотки человек, очень милый, хороший (судя по письмам) и по моему не без таланта.

Ваш Ив. Бунин

Дорогой и милый Юбиляр,¹⁷

Простите поздний ответ, думал, Рождество еще не скоро. Да навряд будет у меня что-нибудь рождественское, а ломать мозги из-за 300 фр. не большая охота. Скоро надеемся быть в Париже, верно, числа 3-го, 4-го, — 1, rue Jacques Offenbach.

Всех целую Ваш И. Б.

Дорогой мой Старгище-Пилигримище,¹⁸

Очень благодарю тебя за письмецо и очень возмущен тем, как ты ездил, — читал твое письмо Фондаминскому — и оба мы (т.е. с Верой) обижены на всех Вас (включая и Наташу, которая все-таки умнее Вас всех). Почему же, почему Вы не написали о днях нам?¹⁹ Помните — с великой радостью к Вашим услугам всегда, когда возможно. Всех крепко целуем. И на счет твоей вырезки ты ошибаешься: это Тренев. Твой И.Б.

Дорогие,²⁰ мы в легком ужасе: до сих пор нет денег от сербов. Что значит? Пожалуйста, ответьте.

Целуем Ваш Ив. Б.

16. Почтовый штемпель: Grasse, 22-7-26.

17. По всей вероятности это письмо без даты написано в конце 1926 г. В том году Зайцев отпраздновал двадцатипятилетие своей писательской деятельности, по поводу чего был устроен банкет в его честь 12 декабря 1926 г. в Париже.

18. Бунин так наименовал Зайцева, потому что Борис Константинович ездил на Афон в мае 1927 г. Письмо Бунина написано приблизительно в конце июня этого года.

19. Зайцеву пришлось возвращаться в ужасных условиях из-за недостатка денег.

20. Почтовый штемпель: Cannes, 18-10-27.

НАЦИОНАЛИЗАЦИИ И СВОБОДА

Национализация части или всего хозяйства страны является главным пунктом программ социалистических, коммунистических, троцкистских, маоистских и всяких других партий с марксистским уклоном. Но любопытно, что у многих партий, борющихся против коммунизма и марксизма, в их программах тоже есть — создание мощного государственного (национализированного) сектора хозяйства. Однако общеизвестно, что в этом случае управление государством требует колоссальной концентрации власти в руках управителей. Концентрации тем большей, чем большая и важнейшая часть хозяйства национализирована.

Совершенно очевидно, что никакой действительной диктатуры пролетариата в комм. государствах и быть не может, даже если управители государственного хозяйства все были раньше пролетариями. Их единая воля, их политическая и экономическая линия определяются отнюдь не их бывшей пролетарской принадлежностью, а нуждами управления. Главнейшей же нуждой такого управления будет, в первую очередь, нужда сохранения и укрепления власти. А это не имеет никакой связи с пролетарской идеологией, даже если она существует. Поэтому мировой опыт показывает, что никакая концентрация власти не преследует никаких других, существенных интересов, кроме интересов этой власти. Тем более, не преследует "пролетарских интересов", так как пролетарские интересы — чисто потребительские, власти же нужно заботиться о том, как добывать, а не как потреблять. Эта необходимость единой воли в стране и единой разумной и последовательной политической и хозяйственной линии абсолютно не может допустить действий людей,

вытекающих не из директив этой политики, а из их конкретных обстоятельств и их здравого смысла. В обществе Свободного Рынка все действия всех людей определялись их конкретными интересами и их здравым смыслом. Даже в современном обществе Запада, уже давно потерявшем большую часть свойств Свободного Рынка, это все еще в некоторой степени имеет место. Именно это свойство определило все творчество человечества и все его материальные и духовные завоевания.

Эта сила здравого смысла и его всегдашнее потенциальное неподчинение чужому диктату и есть то, что представляет смертельную опасность для единой в стране воли. Поэтому нужда сохранения власти и ее единой, последовательной линии требует сначала подавления здравого смысла людей путем массовых истреблений, а затем, после достижения их подчинения, периодических чисток снизу доверху и непрерывной бдительности карающих органов и всего аппарата власти.

Следует обратить внимание, что переход от национализированного хозяйства обратно к хозяйству Свободного Рынка не потребует никаких насилий и истреблений. Это будет переходом к здравому смыслу, присущему людям. Конечно, творцы некоторых указанных выше партийных программ, чувствуя эту будущую опасность, предусматривают некоторый противовес той концентрации власти, которая вызвана появлением мощного национализированного сектора. Обычно, в качестве такого противовеса предусматривается другая, соперничающая концентрация власти (назовем ее для краткости Труд) в виде соответственно огромного объединения трудящихся по типу Совета Профсоюзов Англии (TUC), объединяющего ныне 13 миллионов членов. Таким образом управителям национализированного хозяйства, заинтересованным в развитии производства, противопоставляются лидеры всех или большинства трудящихся, заинтересованных в своем потреблении. Если в программе предусматривается и частный сектор, то ему предусматривается роль, полностью зависящая от государства или Труда. Конечно, творцы таких программ полагают, что такое противопоставление двух главных и огромных концентраций власти с прямо противоположными интересами создаст желаемый баланс в пользу народа и страны в целом. К сожалению, надежды этих творцов, как показывает мировой опыт,

совершенно не обоснованы. В сущности, то, что уже существует, например, в Англии, вполне соответствует указанной выше разновидности программ. Действительно, в Англии все "командные высоты" хозяйства национализированы. Частный сектор находится в подчиненном и жалком состоянии. Труд же объединен в TUC. Плюрализм партий ничего в этом деле не меняет: государство так же противостоит Труду. Что же происходит в этом случае? Как лидеры правительства, так и лидеры TUC превосходно понимают, что они "находятся в одной лодке" и если она потонет, обоим будет плохо. Однако в силу того, что их интересы, в принципе, противоположны, их оценки положения страны и их рецепты его разрешения совершенно различны. Это приводит не просто к борьбе мнений, а к борьбе действий и к непрерывным потрясениям в политической и экономической жизни страны, вызывающим задержку развития и даже регресс.

Безусловно, те же самые противоречия действуют и в обществе Свободного Рынка (в обществе без каких бы то ни было монополий). Однако в силу того, что миллионы противоречий действуют на уровне отдельных людей или их относительно небольших объединений, борьба этих противоречий не только не вызывает потрясений общества, но заканчивается обычными конкретными компромиссами и приводит к положительному развитию общества. Это принципиальное различие в масштабе конфликтов резко проявляется в явлении забастовок. Сейчас на Западе никто даже и не знает, что существуют забастовки в мелких частных предприятиях. Эти забастовки не отмечаются ни в печати, ни в телевидении и не вызывают никаких потрясений хозяйства. Никто ими не интересуется. Однако забастовки на огромных частных или государственных монополиях потрясают общество и вызывают страдания масс людей, не имеющих к ним никакого отношения. Так забастовка на колоссальной государственной угольной монополии в Англии зимой 1974 вызвала падение правительства, инфляцию (до 25%), банкротство огромного количества частных предприятий, увеличение безработицы и страдания ни в чем не повинного населения из-за холода и выключения электроэнергии.

Однако, есть и еще существенная особенность противопоставления двух огромных концентраций власти над людьми в виде государства и Труда.

1. Монопольный Труд представляет собой силу, безусловно, гораздо более мощную, чем государство. Ведь и те, кто обслуживают государство, являются членами профсоюза и находятся в рядах Труда. Поэтому никакого баланса в действительности нет. Всеобщая забастовка, предписанная Трудом, может скинуть любое правительство. Таким образом, подчинение правительства и государства Трудом, в конечном итоге, совершенно неизбежно. Что касается частного сектора, то о его неподчинении монопольному Трудом и говорить не приходится.

2. Превращение законного правительства в марионетку лидеров Труда, естественно, приведет, в конечном итоге, к единовластию. Сладовательно, рано или поздно, "баланс" превратится в тоталитаризм того же самого типа, что и советская, китайская, вьетнамская или камбоджийская диктатуры. Конечно, истребление носителей здравого смысла неизбежно произойдет, но его жестокость будет смягчена более высокой цивилизованностью, чем, скажем, в Камбодже.

Спрашивается, почему же люди, боящиеся революции, диктатуры пролетариата, коммунизма, не только не боятся национализации, а, как можно видеть, даже приветствуют ее?

Кто и почему хочет национализации.

Тривиально, что коммунисты и социалисты всех мастей и оттенков, начиная от умеренных членов правого крыла лейбористской партии в Англии и кончая маоистами и троцкистами, хотят национализации. Национализация есть главное и необходимое условие социализма любого названия и, конечно, коммунизма. Можно поступиться и революцией и диктатурой пролетариата, но без национализации не будет ни социализма, ни коммунизма. Ликвидация частной собственности есть краеугольный камень "теории" нового общества Маркса. Частная собственность есть база независимости и свободы людей и является непреодолимым препятствием к построению общества, основанного на "целесообразной единой организации".

Однако совсем не тривиально, что национализации хочет консерватор Хит с его многочисленными коллегами, до 1974 года бывший премьер-министром и лидером партии консерваторов. Несомненно, весьма значительная часть партии консер-

ваторов, хотя и не большинство, поддерживает Хита. Таким образом, сознательно или бессознательно, значительная часть консервативной партии Англии льет воду на мельницу социализма. В чем же дело? Дело в том, что консерваторы, возглавляемые Хитом, тоже хотят "разумного" управления обществом (с человеческим лицом, конечно). Для этого, естественно, необходимо разумным людям, вроде Хита, прийти к власти над государственным аппаратом, оставаться у власти, как можно дольше, а, главное, расширить воздействие государства на все хозяйство страны настолько, чтобы осуществление единой, разумной государственной линии (национального плана) не встречало слишком серьезного экономического и политического противодействия. Нечего удивляться, что для этого необходима национализация не только всех "командных высот" (уже национализированы), но и почти всего остального хозяйства.

По мысли Хита, превращение государства в послушный инструмент его, Хита, разума и превращение государства в преобладающую в стране экономическую и политическую силу может решить вопрос и об огромной монополии тредюнионов. Эта монополия в настоящее время захватила контроль над правительством, парламентом, прессой, радио, телевидением, хозяйством страны и неумолимо ведет Англию к полному экономическому и политическому банкротству. Хит, следовательно, хочет превратить государство в еще более значительную силу, чтобы противостоять самоубийственной линии тредюнионов. При всей уверенности Хита в своих способностях его политическая глупость, хотя и не для всех, несомненна. Ведь государственный аппарат состоит из людей, а люди состоят в тредюнионе и будут действовать по его указаниям. Поэтому, как показывает опыт, для монополии тредюнионов государство не может быть противовесом, а только инструментом для осуществления линии этих же тредюнионов.

Не лишне будет отметить, что тредюнионы уже давно являются не экономическими, а политическими организациями и имеют политическую, записанную программу, которая недвусмысленно является социалистической. В ней прямо сказано, что нынешнее английское общество должно быть заменено социалистическим. В последнее время тредюнионы Англии запросто лишают людей членства, а с ним и работы по чисто полити-

ческим мотивам. Таким образом, тредюнионы, т. е. их вожди, тоже хотят национализации.

Самое любопытное явление, которое можно наблюдать и не только в Англии, — это желание многих акционерных компаний и просто частных фирм быть национализированными. Преобладающим типом национализации на Западе является покупка государством контрольного пакета акций или просто выкуп фирмы в собственность государства. Тяжкое бремя государственной (неизменно социалистической) налоговой политики, бремя огромного и трудоемкого бюрократического государственного контроля (до 10.000 различных форм и вопросов), колоссальная разрушительная сила тредюнионов привели, в совокупности, почти всё частное хозяйство страны на край банкротства. Если даже управляющий колоссальной, частной сейчас, империей Фиат в Италии господин Аньели подумывает о приятной для него перспективе управления национализированным Фиатом, то что говорить о пигмеях Англии. Ведь все неразрешимые финансовые вопросы легко разрешаются после национализации за счет "бездонного" кармана государства, т.е. налогоплательщика. Между тем, риск потерять пост наемного управляющего акционерной компании в результате национализации невелик. Во всяком случае меньше, чем по решению собрания рассерженных акционеров. Поэтому советы директоров акционерных компаний, особенно находящихся в затруднительном финансовом положении не только не возражают против национализации, но рассматривают ее, как личное спасение.

Что касается частных фирм, ожидающих со дня на день банкротства, то и для них выкуп государством является истинным спасением. Выручка от продажи фирмы государству всегда много больше, чем то, что может "очиститься" при банкротстве. Кроме того, объявленный банкрот по закону является "конченным" человеком и теряет всякую возможность предпринимательской деятельности: никто не будет с ним вести никакого дела. В то же время, государство, объявляя, что оно хочет национализировать только "здоровые" фирмы и компании, вынуждено национализировать именно "нездоровые". Тем более, что и "нездоровье", как правило, является результатом деятельности государства и тредюнионов. Дело в том, что банкротство фирмы

или компании приводит к тому, что их работники становятся безработными. Первой же обязанностью государства считается борьба с безработицей. Поэтому, чем крупнее готовая обанкротиться фирма, тем больше шансов, что она будет национализирована и избежит банкротства.

Ну, а население страны? Население Англии, как и любой страны, занимается своими делами и разбирается в политике и в опасностях социализма, как "свинья в апельсинах" или даже хуже. Кроме того, каждый легко усваивает предательскую мысль: "Хозяин, частник, явно защищает интересы, противоположные моим; государство же "нейтральная" организация, к тому же призванная заботиться об интересах населения, и следовательно и моих". Каждый, за маленьким исключением, если и не требует национализации, то и не противится ей. В дополнение к этому, в Англии государственные служащие и рабочие имеют преимущества:

1. Зарплаты, в среднем, больше, чем у частных (государственный-то карман — бездонный). К апрелю 1977 года средняя зарплата в неделю была в государственных предприятиях 82,30 ф. ст., в частных — 76,80 ф. ст.

2. Пенсия государственных служащих — не только надежна, но еще и индексируется, т. е. автоматически повышается по мере инфляции. Одни пенсии государственным работникам стоили налогоплательщикам в 1976 году около 25 ф. ст. на каждого. К этому нужно добавить, что на государство, как работодателя, уже работает больше трети всех работников Англии.

Таким образом, хотят или не препятствуют национализации:

1. Все социалисты и коммунисты.
2. Все лейбористы.
3. Значительная часть консерваторов.
4. Значительная часть советов директоров акционерных компаний и собственников частных фирм, находящихся в трудном финансовом положении, а других - то почти и нет.
5. Вожди тредюнионов и значительная часть их членства.
6. Большая часть населения.

Кто же не хочет?

1. Часть партии консерваторов.
2. Меньшая часть населения.
3. Меньшая часть членства тредюнионов.
4. Отдельные личности, которые понимают, что национализация есть дорога к тоталитаризму.

Как говорится, "подавляющее меньшинство"!

Понятно, что ситуация в пользу национализации возникла не сразу, а подготовлена огромным количеством актов и законов склонных к социализму парламентов и действиями правительств с такими же склонностями на протяжении, по крайней мере, 50 или даже 100 лет. Даже торможение этого засасывающего процесса в настоящее время крайне затруднительно. Что касается денационализации, то она встречает почти непреодолимые трудности. Строителям послесоветской Новой России нужно будет иметь это дело крепко в уме, если нет желания снова "влезть" в тоталитаризм нового СССР.

"Успехи" национализированного хозяйства Железнодорожный транспорт

В моем распоряжении есть официальные цифры успехов железнодорожного транспорта Англии, начиная с его национализации в 1948 году. За 26 лет, с 1949 по 1974 год, только 5 лет были немного прибыльными, а 21 год был убыточным. 5 прибыльных лет были годами более резкого повышения цен на ж.-д. билеты, чем обычно. За 26 лет национализированный ж.-д. транспорт принес 1 миллиард 765 миллионов убытку. В 1974 году убыток составил 158 миллионов ф. ст. На эти деньги можно было бы прокормить 53.000 семейств. За то же время стоимость, например, сезонного билета на участке Лондон-Брайтон возросла с 5,15 ф.ст. до 38,60 ф.ст., т. е. в 7,4 раза. За то же самое время, несмотря на вопли населения, было закрыто 40% прежней ж.-д. сети ввиду убыточности. Обслуживание пассажиров весьма существенно ухудшилось, как по соблюдению расписаний, так и по количеству поездов, так и по питанию в пути и удобствам. Главным следствием национализации было, конечно, именно резкое ухудшение и удорожание обслуживания публики. Что

касается убытков, то они являются простым следствием наличия у англичан собственных автомобилей. Если была бы возможность лишить англичан автомобилей и заставить их пользоваться общественным транспортом, то полная монополия (автобусный пассажирский транспорт тоже национализирован) позволила бы при любом плохом обслуживании поднять цены на билеты и ликвидировать убытки. Попытки частных конкурентов и получать прибыль неизменно государством подавлялись. Лишь короткое время частная автобусная фирма продавала билет Лондон-Брайтон и обратно за 0,90 ф.ст. вместо 5,00 ф.ст. на государственной монополии, т.е. в 5,5 раза дешевле. Другая автобусная фирма продавала месячный билет Лондон-Андовер за 16 ф.ст. вместо 53 ф.ст. на государственной монополии, т.е. в 3,3 раза дешевле.

Нужно иметь в виду, что стоимость билетов на национализированный пассажирский автобусный транспорт, его маршруты и расписания устанавливаются такими, чтобы исключить конкуренцию его с национализированным ж-д транспортом. Автобусный пассажирский национализированный транспорт также убыточен. Для той же цели поддержания монополии государство ввело в свое время закон о запрещении платного провоза попутных пассажиров владельцами частных автомобилей. Наряду с этим и в Англии есть несколько успешных мелких частных ж-д линий, как, например, линия, называемая "Блюбелл" и др. Та же картина наблюдается и в США, где сохранилась некоторая частная и вполне успешная ж-д сеть. В США, как и везде, национализированный ж-д транспорт убыточен и тяжело субсидируется за счет налогоплательщиков и в том числе тех, кто вообще железной дорогой не пользуется. Даже в "эффективной" Западной Германии картина примерно та же. И меры сохранения монополии те же: недавно я узнал, что была запрещена частная и дешевая автобусная линия в пригороде Франкфурта, нарушавшая монополию.

На протяжении 1974-1978 гг. в Англии произошло еще несколько значительных повышений цен на билеты на фоне еще более возросших убытков и еще большего ухудшения обслуживания. Весьма характерно и следующее явление: именно национализированный транспорт является сценой непрерывных

забастовок то машинистов, то ж-д охраны, то стрелочников. Забастовщики великолепно понимают, что у государства нет иного выхода, как удовлетворять их, как правило, абсурдные требования. При этом пассажиры фигурируют для забастовщиков, как заложники для террористов.

Угольная промышленность

Англия углем очень богата. Угольная промышленность почти полностью национализирована. Остались считанные единицы частных шахт, о деятельности которых публика ничего не слышит и не знает. Они, естественно, в убыток не работают. Национализированная же угольная промышленность буквально не сходит со страниц газет по причине непрерывных с ней неприятностей.

Углекопы держат в руках, практически, всю экономику Англии. Когда они бастуют, а делают это они регулярно, страдают все 55 миллионов населения и вся остальная промышленность. При такой силе углекопы добились больших заработков, чем профессора, и находятся на одном из самых высоких мест по зарплате в стране. Цены на английский уголь так поднялись, что сейчас дешевле ввозить уголь из Европы и Польши, что и делается, хотя свой уголь лежит на складах, так как его стараются по возможности не покупать. Английский уголь превратился для многих в предмет роскоши.

Увеличение стоимости угля сопровождалось падением его добычи со 125 млн. тонн в 1974 году до 103 в 1977. Это произошло не только из-за сокращения продажи, но и по причине понижения производительности труда. В 1974 году угольная промышленность дала в сумме со списанными государством долгами убытки в 2,25 миллиардов ф.ст. На эту сумму около 3 миллионов людей могло бы кормиться. В 1976 году убытки составили около 500 миллионов ф.ст.

Сталелитейная промышленность

Национализированная сталелитейная промышленность Англии, как и во все годы после национализации, терпела в 1978 году убытки в размере 1,5 млн. ф.ст. в день, т.е. около 520

миллионов ф.ст. в год. Характерным для сталелитейной промышленности Англии является сталепрокатный завод в Порт Тальбот: за 3 года, с 1975 года, его выпуск понизился в 2 раза, а стоимость проката возросла тоже в два раза при, пожалуй, худшем качестве. Дошло до того, что сама эта национализированная промышленность была вынуждена в 1977 г. закупить за границей более дешевой и более качественной стали на 3 млн ф.ст., чтобы обслужить своих же заказчиков. Производительность сталелитейной промышленности Англии всего 118 тонн на человека в год, а у японцев — 570.

Автомобильная промышленность

Сравнительно недавно национализированная автомобильная фирма "Лейланд" (около 120.000 работников) уже в 1977 году ухитрилась принести около 1000 ф.ст. убытка на каждого своего работника, т.е. 120 млн ф.ст. "Лейланд", как и полагается для огромного предприятия, является также сценой непрерывных забастовок. Производительность "Лейланда" всего 5 автомашин в год на человека, а у японцев — 50! Низкая производительность всегда сопровождается и низким качеством. Не приходится удивляться, что Англия заполонена японскими машинами. В Японии же, где я побывал, машин иностранных марок и тем более английских не видно.

Электроэнергия

Электроэнергия в Англии тоже национализирована и тоже работает в убыток, несмотря на непрерывное повышение тарифов. В 1974 году убыток был 305 млн ф. ст. В последние годы убыток не уменьшился.

Газовая промышленность

Газовая промышленность в Англии тоже национализирована. Она наименее убыточна. В 1974 году убыток составил 143 млн ф.ст., а в 1977 г. имелась даже небольшая прибыль. Дело в том, что попутный с нефтью газ (натуральный) очень дешев и мог бы вытеснить из употребления значительную часть электроэнергии. Уже сейчас это привело к значительным излишкам установленной мощности на электростанциях. (Как и полагается

для государственной бюрократии, несмотря на это государство строит еще новую мощную электростанцию на угле якобы для того, чтобы машиностроительная фирма Бабкок и Вилькоккс имела работу и не закрылась). Поэтому государство искусственно значительно завышает цену на газ, чтобы не увеличивать и без того большие излишки мощности электростанций. Понижать же цену на электроэнергию, что могло бы решить задачу, тоже нельзя: электроэнергия уже убыточна.

Почтовая монополия

Телефонно-телеграфная связь, входящая в почтовое ведомство, в Англии национализирована, но еще не имеет абсолютной монополии (пока). Почтовые же операции в 1953 году стали абсолютной монополией государства. Несмотря на то что стоимость отправки писем за три года, с 1975 г., была повышена в два раза, а частота сбора и доставки писем была в два раза уменьшена, почта продолжает все время быть убыточной и в 1978 году. В 1975 г. убыток был 307 млн ф.ст. Как и полагается для любого государственного обслуживания в любой стране, оплаченные услуги на гарантируются и случай отправления мешков писем почтальонами на помойку становится тривиальным фактом.

Телефонная и телеграфная связь пока имеет небольшую прибыль. Пожалуй, не удивительно, так как простая аренда одного телефонного аппарата (без платы за разговоры) в 1975 году была увеличена до 33 ф.ст. в год вместо 25. В то же время по закону вы лишены права установить свой собственный телефонный аппарат (можно приобрести очень дешево в магазине у частника) и не платить за аренду. Любопытно, что в США недавно Верховный Суд решил, что потребитель имеет право присоединять к государственной телефонной линии любые аппараты в любом количестве и платить только за пользование телефонной сетью. Такое решение объясняется наличием в США Конституции, противодействующей монополизации, а в Англии вообще нет Конституции. Поэтому в США нет абсолютной почтовой монополии. Например, фирма "Независимая Почтовая Система" выполняет те же почтовые операции, но за 2/3 государственной цены. Фирма "Объединенная Посылочная Служба" в США обслуживает клиентов дешевле, быстрее, чаще и имеет

прибыль (в 1972 году 77,5 млн.). Государственная же почта имеет убыток в 1,5 миллиарда долларов, хотя не платит налогов на имущество и за страхование, как частные фирмы. Кстати, налоги и почтовые тарифы душат прессу и в США и в Англии, заставляя ее сливаться в монополии.

Медицинское обслуживание

Сразу после войны Англия национализировала, практически, все медицинское обслуживание. С тех пор затраты на медобслуживание возросли в 12 раз с 500 млн до 6000 млн ф. ст. в 1976 году и продолжают расти с лихорадочной скоростью. К 1973 году число административных и канцелярских работников в системе увеличилось с 36.761 чел. до 71.616 чел., а число коек *сократилось* с 451.000 до 400.000. Очередь на койку (для производства операции) в больнице выросла к 1977 году до невероятной цифры в 600.000 человек. За один 1976 год прирост очереди составил 70.000 человек. Показательно, что с начала национализации потери рабочего времени по болезни не сократились, а возросли на 24%. Национализация не сократила и числа (относительного) смертей и, практически, почти не увеличила средней продолжительности жизни. Число смертей от родов даже возросло. 5% пациентов попадает в больницу из-за неправильно прописанных лекарств, а 30% пациентов, уже находящихся в больнице, страдают тоже от прописанных им в больнице лекарств. В последнее время медобслуживание буквально не сходит со страниц газет. Буквально нет ни одного англичанина, который бы не жаловался по тому или другому поводу на государственное медобслуживание. В то же время, парадоксально, англичане весьма склонны хвастаться "бесплатностью" своего медобслуживания.

Любопытно, что пока еще в меньшей степени, чем в СССР, но начинают появляться случаи, характерные для "нейтральных" (незаинтересованных в прибыли) национализированных предприятий. Недавно одна больная была анестезирована и подготовлена к операции, но тут пришел конец рабочего времени персонала и операцию отложили, приведя больную в чувство. Недавно одна хирургическая команда оставила иглу во внутренних органах и отправила затем пациентку домой, несмотря на ее

жалобы, что что-то колет. Дома пришлось снова вызывать скорую помощь. А, буквально, на днях один доктор уморил пациента, прописав ему по невнимательности чуть ли не стократную дозу пенициллина. Появилось даже и очковтирательство: департамент Здравоохранения был уличен в записи 500 лишних пациентов, которых не было в действительности. Если вы немного подумаете, то поймете, почему все эти явления совершенно неизбежны в национализированных предприятиях и учреждениях и являются для них законом жизни.

Образование

Государственное образование и государственная политика в этом вопросе превратились в Англии в настоящий скандал. Убедительной характеристикой положения являются результаты последнего массового обследования *оканчивающих* школы. Оказалось, что 20% не могут на бумаге помножить 6 на 79 или разделить 243 на 9. 40% не могут ответить, сколько будет 20% от 15. В Лондоне из оканчивающих школы только 1,4% могли за 40 минут сделать 30 таких простейших вычислений правильно. Многие оканчивающие не могут правильно написать цифрами слова: сто сорок восемь фунтов тридцать девять пенсов. Не умеют отыскать в расписании поездов быстрейший поезд между двумя городами. Совершенно не понимают графиков и диаграмм. Не могут сказать, сколько процентов будет 8 от 32. В других аналогичных обследованиях выяснилось, что оканчивающие плохо знают не только арифметику, но и неудовлетворительно читают и пишут, делая множество ошибок в произношении и написании и, что особенно трагично, не умеют правильно изложить свои мысли. Люди, имеющие дело с наймом на работу оканчивающих школы, жалуются, что почти невозможно из них подобрать подходящих даже для предвзвешенного обучения профессии.

Городской транспорт

В Лондоне городской транспорт в виде автобусов и метро национализирован и даже объединен в общее управление. Несмотря на то что цена проезда возросла за последние 2-3 года более чем в два раза, в 1977 году убытки составили 2,8 млн ф.ст.

В то же время регулярность и частота автобусов и поездов метро явно ухудшаются. Любопытно, насколько повторяются все свойства национализированных предприятий. В СССР, кроме метро, остальной городской транспорт не соблюдает расписаний и ходит пачками, хотя везде стоят контролеры. В Англии тоже можно видеть везде контролеров, которые регистрируют проходящие автобусы. Однако и здесь вместо 6-7 минут приходится ждать, как правило. 20, а то и 40, а затем появляется пачка из 2-3 и даже 4 машин одного и того же маршрута. Даже и оплата водителей и кондукторов в Англии на "социалистической высоте". Они получают значительно больше любого инженера, как и в СССР.

Водоснабжение

Системы водопровода еще не все национализированы. В Кембридже, где я жил, водоснабжение было частным. В Лондоне оно государственное и, как мне на собственном опыте пришлось убедиться, в 1,6 раза дороже.

Перевозка домашних вещей

Одна семья, решив переехать, обратилась в государственную контору и две частных. Частники запросили один — 210, другой — 230 ф.ст., а государственная контора — 508 ф.ст.

Совокупный результат

Средние цены на услуги всех государственных монополий возросли за три года, с 1974 по 1977, на 111%, т.е. более чем в два раза, а в частном секторе на 83%. Сумма ежегодных убытков национализированного хозяйства и субсидий ему составляет 2-2,5 миллиарда ф.ст. На эту сумму можно кормить около 800.000 семей, т.е. около 3 миллионов человек. Эти убытки ведут к завинчиванию налогового пресса. Налоги в Англии возросли с 67 ф.ст. на душу населения в 1946 году до 632 в 1977, т.е. в 9,5 раза. Численность государственного аппарата возросла (в %% от населения) с 0,26% в 1931 году до 1,27% в 1971 и до 1,7% в 1977 году. Государство Англии теперь забирает и тратит около 60% всего Национального Дохода плюс миллиардные займы у

Международного Валютного Фонда. На уплату одних процентов по государственным долгам населению приходится платить дополнительные 5,4% налога. Оставляя работникам только, в среднем 40% их заработков, государство понижает тем самым их заинтересованность в работе по всей стране. Полусоциалистическая, расточительная система государства и незаинтересованность в работе привели Англию к низкой производительности труда по отношению к многим странам Запада и, следовательно, к более низкому уровню жизни. Каждый англичанин жалуется, что заработки в Англии значительно меньше, чем в США, Западной Германии, в Японии. Очень много наиболее квалифицированных англичан эмигрирует. Однако жаловаться нужно только на самих себя, допустивших трансформацию страны в полусоциалистический "рай" и не работающих так, как следовало бы. Как англичанин может получать столько же, сколько, скажем, японец, если он производит в 3 раза меньше товаров и услуг, чем японец, а автомобилей даже в 10 раз меньше? Давление тредюнионов по выравниванию зарплат не может прибавить количество товаров и услуг в стране и может, следовательно, вести лишь к соответствующей инфляции, что и происходит.

Банкротство государственного управления хозяйством страны (отнюдь не по глупости или некомпетентности руководителей, а по порочности самой идеи) приводит и к невероятной жадности государства. Государство стремится выжимать у населения деньги всеми способами, включая самые отвратительные, находясь всегда в тяжелом финансовом положении. Конечно, это не является новостью в истории. Новой является лишь не слишком разумная доверчивость по отношению к государству. Многие, вероятно, знают, что государства на протяжении тысяч лет были жаднее самых жадных ростовщиков, не говоря уже о частных предпринимателях. Государства, выжимая деньги, облагали налогами соль, окна, дымовые трубы и этажи жилищ, даже мыло (в Англии с 12 по 19 век) и т.п. Если от жадности частного не трудно убежать, от жадности государства бежать невозможно. Идея нейтральности государства и его заботы о населении не выдерживает никакой критики. Да и как это могло бы быть? Ведь частники, становясь государствен-

ными чиновниками, не превращаются в святых. Как и любые граждане на том же месте, они прежде всего думают о своем благополучии и удобстве, а уже во вторую очередь о благополучии других. Не удивительно, что забота о потребителе "жадного частника", становится прекрасной мечтой на фоне пренебрежения государства к этому потребителю. Взятничество, спихотехника, очковтирательство, отсутствовавшие в арсенале "жадного частника" становятся законом жизни, так же как и брак продукции и низкое качество услуг. Мораль "нейтрального государства" оказывается много хуже морали "жадного частника". Особенно ужасным свойством государственной морали является ее безличность: работник государства никогда не примет ответственность на себя за все неприятности, которые он способен причинить, и всегда сошлется на безликое государство. "Жадный частник" этой привилегии не имеет. Больше того, даже работа на государство, оказывается, не гарантирует беззаботной жизни. В декабре 1976 года произошло событие, почти не отмеченное социалистически настроенной мировой прессой. В Италии обанкротились две государственные фирмы и 18.200 человек не только стали безработными, но и не получили и декабрьской зарплаты и ежегодной премии (13-й месячной получки).

Расточительность и неэффективность государственного хозяйства достигает невиданных высот в СССР. Однако тех сведений, которые я привел здесь для Англии, в СССР получить невозможно. В Англии тоже, по мере развития "успехов" национализированной промышленности, это становится труднее и сложнее, но все еще можно. Судя по тому, насколько обслуживание населения в СССР хуже, чем в Англии, и по тому, насколько оно ухудшилось в Англии за последние 5 лет, можно догадываться о степени хозяйственного развала в СССР.

А.П. Федосеев

ЕВРАЗИЙСТВО КАК ПОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВАРИАНТ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА

У молодого поколения термин "Евразийство" вызывает смутную ассоциацию с какой-то неудачной историософской концепцией, вернее -- с неудавшейся концепцией, причем неудача эта, действительно имевшая место в организационной области, заслоняет собой все то, что евразийская идеология имела в себе ценного. В связи с возрождающимися среди русских национальными интересами, небесполезно будет припомнить, какие идеи легли в основу евразийского мировоззрения, воодушевившего в двадцатых годах многих выдающихся представителей русской зарубежной мысли.

Для основной ориентации -- поставим сперва наши собственные историософские координаты, выражающиеся в схеме: тезис -- национализм, антитезис -- интернационализм, катасинтезис -- нацизм и анасинтезис -- мессианизм.

Теме национализма, истинного и ложного, кн. Н. С. Трубецкой, главный идеолог евразийства, посвятил статью, знакомство с которой необходимо при изучении евразийства.

Изложим ниже основные мысли, выраженные в этой статье.

Национализм можно определить, как положительное отношение к своему народу и его культуре. Это формальное определение может наполняться разнообразным аксиологическим содержанием. Трубецкой сперва рассматривает примеры ложного национализма, эгоистического и эгоцент-

рического направления и считает, что это настроение весьма характерно для романо-германских народов. Оно идет от сознания отдельной личности, рассматривающей себя в качестве *центра* вселенной. И выражается в мнении или чувстве, что все то, что этой личности полезно -- благо, а все то, что ей вредно -- зло. При такой эгоцентрической установке за личностью, о которой идет речь, идут его ближние, т. е. семья, затем -- класс, затем -- общество, затем -- народ, затем соседние и родственные народы, затем раса...

Народы, попавшие в орбиту западно-европейской цивилизации, но находящиеся на ее периферии, испытывают искушение двоякого рода: либо, в подражание романо-германским народам, раздуть в себе национальный шовинизм, либо -- за счет отречения от всего самобытного -- подражать во всем западным европейцам. У нас, в России, это выразилось в двух соответственных ориентациях или, по крайней мере, тенденциях -- в славянофильстве и в западничестве. Отвлечемся на мгновение от статьи Трубецкого и вспомним, что об этом говорил уже Вл. Соловьев в "Трех разговорах".

Г-н Зэт -- один из участников беседы, духовный предок евразийцев, говорит, что в России в восьмидесятых и девяностых годах прошлого столетия возник взгляд, что "совокупность германо-романских народов есть действительно один солидарный в себе культурно-исторический тип, но что мы-то (русские) к нему не принадлежим, а составляем свой особый, греко-славянский. Другой участник разговора, Политик, признает, что ему знакомы эти идеи, но что он находит их необоснованными, ибо такие россияне, оттолкнувшись от Запада, не удерживаются в разгоне и "с головой уходят в исповедание... всякой индейско-монгольской азиатчины". На самом деле, утверждает он, *Россия* есть *окраина* Европы и русские суть "бесповоротные европейцы". "Понятие *европеец* или, что то же, понятие *культура* содержит в себе твердое мерило для определения сравнительного достоинства или ценности различных рас, наций, индивидов" и придет время, когда "Европа или культурный мир действительно сойдет по объему со всем населением земного шара..."

Кн. Н. С. Трубецкой, идеолог евразийства, как видно из вышеизложенного, преодолел позицию Политика и приблизился

к позиции, занимаемой г-ном Зэт, т. е. — в какой то степени — самим Соловьевым. В своей статье он тоже отмечает, что носители европейской культуры (и их имитаторы) создают неправильную историософскую интерпретацию своей культуры и ставят знак равенства между, скажем, германской культурой и культурой общечеловеческой ("культуртрегерство"), переходя от историософского эгоцентризма к эксцентризму (европоцентризму), вернее — излучая второй из первого.

Эта ядовитая тенденция, присущая и некоторым народам неромано-германским должна быть преодолена: они должны вылечиться от собственного эгоцентризма и оградить себя от обманного чувства призванности к осуществлению "общечеловеческой цивилизации". Здесь, как мы видим, Трубецкой бросает камень и в огород традиционных славянофильских толков... Вместо того он предлагает осуществление двух слоганов в национальном масштабе: "познай самого себя" и "будь самим собой".

"Борьба с собственным эгоцентризмом, — пишет Трубецкой, — возможна лишь при самопознании. Истинное самопознание укажет человеку (или народу) его настоящее место в мире, покажет ему, что он — не центр вселенной, не пуп земли. Но это же самопознание приведет его и к постижению природы людей (или народов) вообще, к выяснению того, что не только сам познающий себя субъект, но и ни один другой из ему подобных не есть центр или вершина. От постижения своей собственной природы человек или народ путем углубления самопознания приходит к сознанию равноценности всех людей и народов. А выводом из этих постижений является утверждение своей самобытности, стремление быть самим собой. И не только стремление, но и умение".

Самопознание — вещь нелегкая, даже в индивидуальной области, а тем более — в национальной. Но осознание его, как долга, уже есть великое достижение, ибо обретается цель, на которую можно равняться.

Способность самопознания — это уже христианская добродетель, т. е. мессианическая черта, ибо "при истинном самопознании прежде всего с необычайной ясностью познается голос совести, и человек живущий так, чтобы никогда не вступать в

противоречие с самим собой и всегда быть перед собой искренним, непременно будет нравственен. В этом есть и высшая достижимая для человека духовная красота, ибо самообман и внутреннее противоречие, неизбежные при отсутствии истинного самопознания, всегда делают человека духовно-безобразным. В том же самопознании заключается и высшая доступная человеку мудрость, как практическая, житейская, так и теоретическая, ибо всякое иное знание призрачно и суетно. Наконец, только достигнув самобытности, основанной на самопознании, человек (и народ) может быть уверен в том, что он действительно осуществляет свое назначение на земле, что действительно является тем, чем и для чего был создан. Словом, самопознание есть единственная и наивысшая цель человека на земле. Это есть цель, но в то же время и средство”.

Результатом самопознания является проведение в жизнь принципа гармонической троечности ума, сердца и воли личности, а в национальном масштабе — развитие самобытной культуры. Эта гармоничность выражается в непротиворечии частей по отношению друг к другу и их совокупности — к целому.

Неповторимость индивидуальных черт личности должна быть в гармонии с национальной своеобразностью. Человек рождается и входит в жизнь с национальными, так сказать, генами (потенциями и предрасположениями). Оставаясь в гармонии с национальной средой, он развивает их, актуализирует... Если же судьба с детства занесет данного человека в национально чуждую ему среду, то его врожденные потенции и задатки останутся недоразвитыми, невыявленными, и в таком рудиментарном состоянии могут пребыть всю его жизнь; с другой стороны, он разовьет в себе возможности, нетипичные для его нации. Если данный человек находится в родной среде и если он обладает творческими способностями, то его творчество будет иметь национальный характер (в узком смысле слова — фольклор). Если же у него творческих способностей нет, то впитывая в себя плоды творчества соплеменников, он будет составлять ту среду, из которой вырастают национальные гении.

Исходя из постулата, что ”высшим земным идеалом человека является полное и совершенное самопознание”, Трубец-

кой говорит, что истинной национальной культурой будет та, которая способствует всецело самобытному самоопределению личности, т. е. культура прежде всего духо-направленная, а не материально-центрированная. Разные народы *должны* иметь разные культуры. Но народы родственные или соседние могут иметь культуры в некоторых аспектах сходные, так как могут впитывать в себя их конгениальные элементы. Взаимопроникновение культур, однако, ограничено. Мечтать о так называемой "общечеловеческой культуре" могут только утописты, но такие мечты с фактической и антропологической точки зрения реальных оснований не имеют. Уравнение культур, вернее — цивилизаций, может происходить только в плане материальном, а не религиозном, или философском, или художественном.

Будучи определенным противником космополитизма и интернационализма, Трубецкой, однако, производит национализмам оценку весьма строгую: национализм национализму рознь... Истинным национализмом, "морально и логически оправданным может быть признан только такой национализм, который исходит из самобытной культуры или *направлен к такой культуре*" (выделено нами).

"Чаще всего, — пишет он, — приходится наблюдать таких националистов, для которых самобытность национальной культуры совершенно неважна. Они стремятся лишь к тому, чтобы их народ во что бы то ни стало получил государственную самостоятельность, чтобы он был признан "большими" народами, "великими державами", как полноправный член "семьи государственных народов" и в своем быте во всем походил именно на эти "большие народы". Этот тип встречается у разных народов, но особенно часто проявляется у народов "малых", притом неромано-германских, у которых он принимает особенно уродливые, почти карикатурные формы. В таком национализме самопознание никакой роли не играет, ибо его сторонники вовсе не желают быть "самими собой", а наоборот, хотят именно быть "как другие", "как большие", "как господа", не будучи по существу подчас ни большими, ни господами".

Государственная независимость или, в случае больших народов, великодержавность являются ценностями относительными и формальными: абсолютизация их очень вредна для жизни

народа. Но, если отвести им подобающее место в иерархии ценностей, они могут иметь огромное влияние на жизнь народа и его культуры.

В этой связи отметим явление, весьма характерное для нашего века. Интернациональный коммунизм всячески подавляет национальное сознание там, где он господствует, и поощряет его везде там, где сепаратистские тенденции могут расколоть более сложное национальное целое. Самостийничество охотно идет на эту приманку, не учитывая, что раздробленные осколки этого целого, окрашенные до времени в национальные цвета, неминуемо погибают в заливающей их позже интернациональной стихии.

Ложным также является национализм, который выражается в воинствующем шовинизме: он стремится расширить свою культуру силой на гетерогенные культурные системы, и тем самым калечит их и извращает себя.

Но ложным национализмом будет и тот, который выражается в культурном консерватизме, ретроградстве: "он отождествляет национальную самобытность с какими-нибудь уже созданными в прошлом культурными ценностями или формациями быта и не допускает изменения их даже тогда, когда они явно перестали удовлетворительно воплощать в себе национальную психику".

Итак, все рассмотренные типы ложного национализма губельны для национальной культуры: *"первый"* приводит к национальному обезличению, *второй* — к утрате чистоты расы носителей данной культуры, *третий* — к застою, предвестнику смерти". Эти чистые типы ложного национализма на практике могут выступать в смешениях различной степени.

Истинный же национализм основан на самобытной живой народной культуре; он лишен национального тщеславия, ложной спеси, шовинизма; он братолюбив и толерантен к другим национальным культурам; он открыт благотворным влияниям конгениальных культур.

Под этим углом зрения Трубецкой строго, но справедливо, расценивает и рассматривает наше историческое прошлое. По его мнению, после Петра Великого в России не было истинного национализма. "Большинство образованных русских совер-

шенно не желали быть "самими собой", а хотели быть "настоящими европейцами". А так как не все стремились к этому и Россия, как таковая, все-таки не могла стать вполне европейским государством, то наши западники презирали свою "отсталую" родину. Другие же, считая себя националистами, по существу, стремились только к великодержавности, к государственной экспансии — территориальной и политической, к русификации занятых территорий (Польша!)..."

Как общественное и государственное явление широкого охвата истинный национализм (и мессианизм) должен быть еще построен. Первой пореволюционной, наиболее серьезной и научно обоснованной попыткой выработать теоретические основы русского национализма нового типа, была евразийская идеология, основателем которой, как мы упомянули, следует считать кн. Николая Сергеевича Трубецкого.

Уже в 1920 году он напечатал книгу "Европа и человечество", в которой изложил основы евразийского мировоззрения. К нему примкнул ряд лиц, принадлежащих к интеллектуальной элите эмиграции, либо в качестве членов евразийской группировки, если можно так выразиться, либо в качестве сочувствующих. В сравнительно короткое время было издано несколько сборников.

Не называя себя мессианизмом, евразийство через славянофильство включило в свою идеологию много мессианских элементов. Мы находим их во вступительной, программной статье в "Исходе к Востоку".

"Культура романо-германской Европы отмечена приверженностью к мудрости систем, стремлением наличное возвести в незыблемую норму... Мы чтим прошлое и настоящее западно-европейской культуры, но не ее мы видим в будущем. С трепетной радостью, с дрожью боязни предаться опустошающей гордыне, — мы чувствуем, вместе с Герценом, что ныне "история толкается в наши ворота". Толкается не для того, чтобы породить какое-либо зоологическое наше "самоопределение", — но для того, чтобы в великом подвиге труда и свершения Россия так же раскрыла миру некую общечеловеческую правду, как раскрывали ее величайшие народы прошлого и настоящего... Созерцая

происходящее, мы чувствуем, что находимся посреди катаклизма могущего сравниться с величайшими потрясениями известными в истории, с основоположными поворотами в судьбах культуры, вроде завоевания Александром Македонским Древнего Востока или Великого Переселения Народов. Такие повороты не могли и не могут совершаться мгновенно... Но мы знаем, что историческая спазма, отделяющая одну эпоху мировой истории от следующей, — уже началась. Мы не сомневаемся, что смена западно-европейскому миру придет с Востока... Здесь нельзя требовать доказательств. И думающие по-иному вправе назвать нас безумцами, как и мы их — слепорожденными. Для нас важнее взглянуть в черты того культурного переворота, который предносится нам в бурях и содроганиях современности” (стр. IV). “Всякое размышление о грядущих судьбах России должно определенным образом ориентироваться относительно уже сложившихся в прошлом способов решения, или, точнее, самой постановкой русской проблемы: “славянофильской” или “народнической”, с одной стороны, “западнической”, — с другой. Дело здесь не в тех или иных отдельных теоретических заключениях или конкретно-исторических оценках, а в субъективно-психологическом подходе к проблеме. Смотреть вслед за некоторыми западниками на Россию, как на культурную “провинцию” Европы, с запозданием повторяющую ее зады, — в наши дни возможно лишь для тех, в ком шаблоны мышления превозмогают власть исторической правды: слишком глубоко и своеобразно врезалась судьба России в мировую жизнь, и много из национально-русского получило признание романо-германского мира. Но утверждая, вслед за славянофилами, самостоятельную ценность русской национальной стихии, воспринимая тонус славянофильского отношения к России, мы отвергаем *народническое* отождествление этой стихии с определенными конкретными достижениями, так сказать, сложившегося быта”. (стр. V).

Евразийская идеология начинает звучать несколько фанфарно в изложении Л. Карсавина. Так, в полемике с Н. Бердяевым, он писал:

“С своей стороны, мы, не отвергая нисколько родства нашего с некоторыми славянофилами, особенно с А. С. Хомяковым, вовсе

не считаем евразийство "*воспроизведением*" мыслей старых славянофилов и, в частности, Н. Я. Данилевского, хотя и ставим его очень высоко. От Данилевского евразийство отличается уже тем, что несравнимо сильнее подчеркивает религиозный момент. Евразийство исходит из понимания православия, как единственной непорочной Церкви... Далее, евразийство утверждает, что в православии корень и душа национально-русской и евразийской, идущей к православию, но частью еще не христианской, культуры. Конечно, утверждение равноправности и равноценности всех христианских исповеданий для нас неприемлемо. Православие не только "*восточная форма* христианства, но и *единственная вселенская Церковь*". Если это партикуляризм, — мы его предпочитаем "*соглашательству*". Но это не партикуляризм, а — единственный истинный универсализм. Ибо тем самым исключается абстрактно-общее, тем самым утверждается не только множественность самобытных культур, но и их иерархия, ныне венчаемая православной евразийско-русской. Мы вернем упрек в "*номинализме*". Ибо номинализм заключается в признании какого-то абстрактнообщего христианства или в признании равноценности исповеданий".

"Номинализм и отрицание иерархии слышится нам и в призывах к "*русской всечеловечности и всемирности*", практически сводящейся к лозунгу: "*европеизуйтесь*". Для нас Православие универсалистично, но только в том смысле, что православная Евразия и православная Россия будет гегемоном культурного мира, если она всецело раскроет *себя*".

"Для евразийца точка необходимого приложения сил — в развитии самобытно-евразийского, каковое развитие является предусловием культурного расцвета мира. Здесь в евразийстве совпадают теоретическая и практическая тенденции. И нам важно говорить прежде всего о русском, делать прежде всего русское дело. Чтобы не расплываться в бездейственном теоретизировании необходимо выбрать исторически реальный и важный момент. Еще будет время подробнее развить евразийскую общеисторическую концепцию. Сейчас необходимо говорить о России. Напрасно отсюда делают выводы, что Европа для евразийцев не существует. Она — дай ей Бог здоровья — должна быть координирована с Евразией"...

”Несправедливо обвинять евразийство в том, что оно будто бы тяготеет к язычеству евразийских народов и готово соединиться с ними против христианской культуры Запада. Во-первых, оно ценит в евразийских народах не язычество, а потенциальное православие их, вовсе однако не понимая их христианизации в смысле насильственного подчинения их русской форме православия, напротив — стремясь к тому, чтобы они стали православными из себя и на основе своей специфической культуры. Во-вторых, евразийство не мыслит евразийского мира иначе, как под водительством *православной* России. В-третьих, евразийство не считает правильным отождествление западно-европейской культуры с христианской. Впрочем, на почве христианства, как одна из его исторических форм, западная культура, в существе своем, давно уже отреклась от христианства, в то же самое время притязая на то, что ее исповедание есть единственная общеобязательная форма христианства”.

Появление евразийства вызвало много толков и пересудов: его атаковали справа и слева. Об этом подробно писал Г. Флоровский в статье ”Окамененное нечувствие”, упрекая оппонентов в том, что они не желают понять основную установку евразийцев, ищущих решения историософской проблемы не в возврате к прошлому, как голой реставрации, и не в согласии с трагической реальностью коммунистического СССР, а в попытках динамического, нового решения, вдохновленного возвышенным старым. От псевдо-западников, упрекавших евразийцев в желании уйти в Азию, Г. Флоровский защищался словами: ” говорить об европейском закате, это не значит отвергать Европу, отрицать ее достижения и подвиги. Евразийцы не менее старых славянофилов и Достоевского готовы уважать много трудный подвиг Европы и соскорбеть ее тоске и падению. Они (евразийцы) говорят о болезни Европы, а не о ее ничтожестве. И последовательность мысли вовсе не требует от того, кто говорит о кризисе европейской культуры, чтобы он отвергал и Данте, и Шекспира, и Гегеля, и Канта и считал их ничтожествами. Однако, с другой стороны, признание их значительности еще не означает возведения их в канон и безоговорочного согласия с ними. В культурной истории Европы сочетаются и свет и тени. Мы видим историю Европы в перспективе истории Христова

дела на земле и, уважая искренность страстного подвига Европы, именно из уважения к нему, не закрываем глаз на безнадёжные тупики западного пути и не замалчиваем европейского провала”.

Дальше Г. Флоровский подчеркнул, что ”учтение” русской революции евразийцами никаким образом не является ”принятием ее”. К великому сожалению, однако, не все идеологи евразийства оказались того же мнения, или, вернее сказать, не все ”идеологи”, считавшие себя таковыми, заслужили это наименование. Об этом незадолго до своей смерти писал В. Н. Ильин в парижской ”Русской Мысли”.

”Насколько было блистательно восхождение евразийского солнца в начале XX в. в Софии Болгарской, настолько печален был его закат — надеемся, временный — в Париже в 1929 г.”, — писал В. Н. Ильин. — ”Всякая значительная идея или, лучше сказать, всякое внешнее выражение значительной идеи губится или деградируется большей частью двумя путями. Носители большой идеи могут либо соблазниться или пасть через дух компромисса, так сказать, сглаживания кому-нибудь не нравящихся острых углов, без которых не обходится ни одно значительное творческое начинание. Носители значительной творческой идеи могут войти во внешнее или, что гораздо хуже, внутреннее соглашение с какой-либо чужеродной идеей-силой по соображениям как теоретическим, так и практически-”деловым”... Это есть падение через шаткость, неустойчивость, которые обнаруживаются либо в самой идее, являясь ее внутренним пороком, либо в силу моральной порочности и беспринципности некоторых ее носителей, взявших на себя ”деловую сторону” проблемы”... ”Судьба евразийства характерна как для первого, так и для второго пути”.

Среди идеологов евразийства нашлась группа людей, сумевшая отвести русло этого течения в антимессианскую сторону. Именно таким антимессианистом оказался один из основателей евразийства, П. Сувчинский, провозгласивший лозунг: ”наша близость к Богу заключается в нашем отдалении от Него”. К нему присоединились просоветски настроенные кн. Д. Святополк-Мирский, В. Сеземан, С. Эфрон, Родзевич, П. Арапов — им удалось свести на нет высокие и благородные начинания. Евра-

зийская группировка, как евангельская соль, потерявшая свою соленость, выродилась в политическую (и соглашательскую) ориентацию. Из евразийства ушли: организатор кн. Н. С. Трубецкой и все профессора -- основные представители этого течения. Оставшиеся политически ориентированные лица стали в 1929 году издавать в Париже газету "Евразия", что вынудило В.Н. Ильина и П. Н. Савицкого выступить в печати с дезавуированием этой газеты, как не-евразийского органа. Так, когда сеются зерна пшеницы, дьявол подсеивает семена плевел!

В 1932 году еще состоялся съезд евразийцев, но это была уже чисто политическая, с левым уклоном, организация, чахнувшая еще несколько лет и окончательно рассыпавшаяся с началом Второй мировой войны.

Евразийство распалось на более мелкие группировки эпигонского характера: младороссов, национал-большевиков, пореволюционный клуб, утвержденцев, Союз нового поколения... некоторые из них подчеркивали свою связь с Православной Церковью, но все они оставались *вне* мессианских настроений.

Игумен Геннадий

МАРШАЛ ВАСИЛЕВСКИЙ И СТАЛИН

Когда А. М. Василевский, сын деревенского священника и ученик старшего класса Костромской духовной семинарии, движимый патриотическим чувством, по окончании семинарии вступил добровольно в царскую действующую армию, он вероятно никак не предполагал завершить свою военную карьеру со званием маршала Советского Союза.

В феврале 1915 года семинарист Василевский поступил в Алексеевское военное училище. Четырехмесячный ускоренный курс, и Василевский в чине прапорщика отправился из Москвы на фронт.

Боевое крещение Василевский получил осенью 1915 года на Юго-Западном фронте, командуя полуротой 409-го Новохоперского пехотного полка. Летом 1916 года он участвовал в знаменитом брусиловском наступлении. Старательный и исполнительный, в 1917 году, уже в чине штабс-капитана, он командовал батальоном.

Революция 1917 года разрушала старую армию. Братание солдат с немцами под влиянием большевицкой пропаганды, неподчинение офицерам, массовое дезертирство. В эти дни имя Василевского не было отмечено в революционных анналах. После развала фронта Василевский решил, что его военной карьере пришел конец. В ноябре 1917 года он уехал в родные края с твердым намерением отдаться любимому делу — труду на земле.

Но отдых в родных местах был непродолжителен. Началось формирование красной армии, и по распоряжению из Москвы были взяты на учет все военные специалисты и офицеры. Попал на учет и Василевский, ставший инструктором всеобща в

Углицкой волости.

В своей книге* Василевский пишет, что Кинешемский уездный военный отдел "не привлекал меня к более активной работе по защите Советской Родины. Видимо, сказывалось некоторое недоверие ко мне, как выходцу из семьи служителя культа, офицеру царской армии, имевшему чин штабс-капитана".

В августе 1918 года Василевский прочел в газете сообщение о наборе учителей в сельские школы Тульской губернии. Как окончивший духовную семинарию, он имел право преподавать в начальных школах. Подал заявление в военкомат, получил разрешение и в сентябре начал учительствовать в начальной школе села Верховье Новосильского уезда. Василевскому казалось, что в школе он обрел тихую житейскую пристань. Был он доволен и своей работой. Но настоящего покоя не было. Волна "кулацких мятежей" прокатилась по Тульской губернии, и советская власть вовлекла учителей в работу по политическому "просвещению" бунтовавших крестьян.

Столь желанная учительская карьера прервалась в апреле 1919 года, когда Новосильский военкомат призвал его на службу в РККА. Искренне или неискренне Василевский пишет: "И вот наконец осуществилась моя мечта, которую я вынашивал чуть ли не с первых дней Великой Октябрьской социалистической революции. В мае 1919 года я был зачислен в Красную армию, стал ее командиром. Отныне мой дальнейший жизненный путь был для меня прост и ясен".

Задним числом в прошлое Василевского было вписано, что в конце декабря 1917 года "общее собрание 409-го полка, в соответствии с действовавшим тогда в армии приципом выборного начала, избрало меня командиром полка", кстати, тогда уже разбежавшегося по домам.

"Простота и ясность" жизненного пути проявилась в рабской службе советской власти. Начав с 4-го запасного батальона в Ефремове, Василевский в первый же месяц службы возглавил воинский отряд из 100 человек. С ним он выполнил первое боевое задание большевицкой партии, расправившись с "кулаками", убившими в Ступинской волости губернского предста-

*Василевский А. М. Дело всей жизни. Москва. Политиздат, 1975.

вителя продразверстки. Пройдя с отрядом по селам волости, Василевский отобрал у крестьян многие тысячи пудов зерна и привел в Ефремовский ревком тысячи молодых парней, уклонявшихся от призыва в красную армию.

В октябре Василевский был назначен уже командиром 5-го стрелкового полка Тульской дивизии. В 1920 году Василевский дрался с поляками, нанеся им сокрушительное поражение армиям Тухачевского.

Переход красной армии от войны к миру, отмеченный изгнанием из нее многих царских офицеров и радикальным обновлением командного состава, на Василевском не отразился. С декабря 1924 года в течение четырех лет он командовал 143-им стрелковым полком. Успел в это время пройти стрелково-тактические курсы "Выстрел", непрерывно "совершенствовал свои военные знания". Весной 1931 года его перевели в Управление боевой подготовки РККА. Был принят кандидатом в члены ВКП(б), в конце 1933 года благополучно прошел партийную чистку. И стал "беспредельно преданным" делу партии большевиков.

В Москве он встречался с выдающимися деятелями РККА — Шапошниковым, Триандафилловым, Тухачевским и др. Прочно вошел в верхний слой командного состава. С увлечением штудировал капитальный трехтомный труд Шапошникова "Мозг армии" — о роли генерального штаба, как органа верховного главнокомандования.

В 1936 году полковник Василевский был откомандирован в заново созданную Академию генерального штаба. По прохождении 18-месячного курса, состоялся первый выпуск 137 генштабистов, изучивших оперативное искусство. Василевский занимал в РККА различные командные и штабные должности. В октябре 1937 года, в разгар кровавой чистки в армии, Василевский был назначен начальником отделения, ведавшего в Генштабе оперативной подготовкой высшего командного состава. Работал под непосредственным руководством Шапошникова. В 1939 году, по совместительству, был назначен заместителем начальника оперативного отдела Генерального штаба. После войны с Финляндией Василевский, в звании

комдива, был назначен первым заместителем начальника Оперативного управления Генштаба.

Весной 1940 года Шапошников и Василевский делали доклад в Политбюро ЦК ВКП(б). После доклада Сталин пригласил их на обед в Кремле. За столом произошел знаменательный разговор, в немалой степени объясняющий доверие хорошо осведомленного Сталина к Василевскому:

— Один из очередных тостов И. В. Сталин предложил за мое здоровье, и вслед за этим он задал мне неожиданно вопрос: почему по окончании семинарии я "не пошел в попы"? Я, несколько смутившись, ответил, что ни я, ни отец не имели такого желания, что ни один из его четырех сыновей не стал священником. На это Сталин, улыбаясь в усы, заметил:

— Так, так. Вы не имели такого желания. Понятно. А вот мы с Микояном хотели пойти в попы, но нас почему-то не взяли. Почему, не поймем до сих пор.

Беседа на этом не кончилась.

— Скажите, пожалуйста, — продолжал Сталин, — почему вы, да и ваши братья, совершенно не помогаете материально отцу? Насколько мне известно, один ваш брат — врач, другой — агроном, третий — командир, летчик и обеспеченный человек. Я думаю, что все вы могли бы помогать родителям, тогда бы старик не сейчас, а давным-давно бросил бы свою церковь.

Я ответил, что с 1926 года я порвал всякую связь с родителями. И если бы я поступил иначе, то, по-видимому, не только не состоял бы в рядах нашей партии, но едва ли бы служил в рядах Рабоче-Крестьянской Армии и тем более в системе Генерального штаба.

За несколько недель до этого впервые за многие годы я получил письмо от отца. (Во всех служебных анкетах, заполняемых мною до этого, указывалось, что связи с родителями не имею.) Я немедленно доложил о письме секретарю своей партийной организации, который потребовал от меня, чтобы впредь я сохранял во взаимоотношениях с родителями прежний порядок.

Сталина и членов Политбюро, присутствовавших на обеде, этот факт удивил. Сталин сказал, чтобы я немедленно установил

с родителями связь, оказывал бы им систематическую материальную помощь и сообщил бы об этом в парторганизацию Генштаба”.

Василевский помоглад Шапошникову составлять план войны с Германией. Шапошников вполне основательно считал, что наиболее выгодным для Германии было бы развертывание ее основных сил к северу от устья реки Сан. Поэтому он предлагал развернуть главные силы РККА от побережья Балтийского моря до Полесья.

В сентябре 1940 года проект Шапошникова рассматривался Сталиным на заседании Политбюро. На заседании был и нарком обороны маршал Тимошенко, новый начальник Генштаба генерал Мерецков, его помощники генералы Ватутин, Анисов и Василевский. Но главного автора проекта не было — “великий вождь народов” отстранил Шапошникова потому, что тот был прав, предлагая свой план нападения на Финляндию. Сталин же принял неудачный план Мерецкова, тогда командовавшего войсками Ленинградского военного округа, со всеми скандальными и позорными для РККА последствиями.

Василевский и другие генералы искренне сожалели об отстранении Шапошникова. Они считали его наиболее авторитетным начальником Генштаба, редкостным знатоком военного дела, человеком огромной трудоспособности, отличным организатором и мастером оперативного искусства.

Сталин, никаких военных академий не кончавший, навязал Мерецкову свой “гениальный” план отражения агрессии. По мнению “вождя”, основной удар германская армия должна была нанести не на московском направлении, а на юго-западе с целью захвата наиболее богатых промышленных, сырьевых и сельскохозяйственных районов страны. На генералов Василевского, Маландина и Анисова свалилась колоссальная работа по подготовке развертывания главной группировки РККА на юго-западе, а с 1 января 1941 года должны были составлять свои планы штабы военных округов.

Тем временем немцы полным ходом готовились к осуществлению плана “Барбаросса”. Своим “внезапным” нападением Гитлер спутал карты Сталина и планы советского Генштаба. После нападения Германии Сталин вернул Шапош-

никова на пост начальника Генерального штаба. Одновременно Василевский был назначен начальником Оперативного управления и заместителем Шапошникова. Все чаще и чаще встречался Василевский со Сталиным, иногда по несколько раз в день, сопровождая Шапошникова с докладами о бедственном положении на фронтах.

Будучи в течение всей войны в непосредственном окружении Сталина, Василевский, как никто другой из советских маршалов, мог свидетельствовать о "вожде народов", возложившем на себя "бремя" верховного главнокомандующего.

После стратегически благополучного исхода двухмесячного Смоленского сражения, сорвавшего блицкриг, Гитлер занялся югом СССР. Генерал Жуков, тогда командовавший армиями Резервного фронта, своевременно известил ставку Сталина о готовившемся ударе. Под диктовку Сталина, Шапошников и Василевский записали директиву Юго-Западному и Южному фронтам, требовавшую упорно оборонять линию реки Днепр, прочно удерживая Киев.

Но в ближайшие дни выяснилось, что танковые дивизии Гудериана создали серьезную угрозу правому флангу и тылу Юго-Западного фронта с севера. Попытки Шапошникова и Василевского убедить Сталина в серьезности положения успеха не имели. Затеянный Сталиным контрудар группы генерала Еременко, обещавшего Сталину разгромить Гудериана, совершенно провалился. Резко ухудшилась обстановка и на юге. После разгрома 6-й и 12-й советских армий под Уманью, немцы быстро и легко достигли среднего и нижнего течения Днепра, глубоко охватив левый фланг армий Юго-Западного фронта. 7 сентября командование Юго-Западного фронта сообщило об угрозе окружения всех пяти армий, несших большие потери и не имевших никаких резервов. Шапошников и Василевский вновь пытались убедить Сталина в необходимости отвести армии за Днепр, оставить Киев и отойти на восток. Но Сталин упорствовал, никакие доводы на него не действовали. При одном только упоминании об оставлении Киева он терял самообладание и жестко нападал на своих лучших стратегов. Ни Шапошников, ни Жуков, ни Василевский, ни тем более лучше всех знавшее о

критическом положении командование Юго-Западного фронта, не смогли преодолеть тупого упрямства главковерха.

13 сентября начальник штаба Юго-Западного фронта генерал Тупиков докладывал Шапошникову, что "начало понятной вам катастрофы — дело пары дней". Шапошников еще раз пытался уговорить Сталина, но и на этот раз виноватым оказался "паникер Тупиков". Сталин сам продиктовал ответ Тупикову, требуя прекратить отступление. И лишь 17 сентября, когда положение стало совершенно безнадежным, Сталин разрешил оставить Киев и выходить из окружения. В отчаянных условиях раздробленные группы из окруженных 5-й, 37-й, 26-й, 21-й и 38-й армий пробивались на восток. 20 сентября в бою погибли командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник М. П. Кирпонос, его начальник штаба генерал-майор В. И. Тупиков и член военного совета, секретарь ЦК КП(б) Украины М. А. Бурмистенко.

Не лучше командовал Сталин и при наступлении немцев на Москву осенью 1941 года. Но проявил исключительное упорство в отражении немецкого наступления непосредственно на Москву. Положившись, наконец, на Шапошникова, Жукова и Василевского, Сталин выиграл битву за Москву.

Все же уроки окружения под Киевом были для него недостаточны. Победа под Москвой вызвала необоснованный оптимизм в оценке как собственных возможностей, так и возможностей противника. Командующий Юго-Западным направлением маршал Тимошенко и его штаб предложили Сталину разбить харьковскую группу немцев и взять Харьков. Учитывая рискованность наступления из барвенковского оперативного мешка, Шапошников советовал Сталину отказаться от такой операции. Но Сталин не послушался. В результате три армии и армейская группа, попав в окружение, были разбиты наголову. В боях погибли командующий 57-й армией генерал-лейтенант К. П. Подлас, его начальник штаба генерал-майор А. Ф. Анисов, командующий 6-й армией генерал-лейтенант А. М. Городнянский, командующий армейской группой генерал-майор Л. В. Бобкин и заместитель командующего Юго-Западным фронтом генерал-лейтенант Ф. Я. Костенко. Из "котла" пробились лишь немногочисленные группы, и на юге образовалась большая

дыра. В нее устремились крупные силы немцев, дошедшие до Сталинграда и захватившие Северный Кавказ.

В это время Василевский был уже начальником Генштаба, сменив заболевшего в апреле Шапошникова. Вся тяжесть оперативной работы легла на плечи Василевского и его помощников. При участии Жукова, заместителя Сталина по верховному главнокомандованию, Василевский составил план окружения и разгрома немцев под Сталинградом. Затем пошла одна за другой победы РККА над армиями Гитлера.

И с этого момента, благодетельствованный Сталиным, Василевский не скупится на прославление своего главковерха. Он полностью оправдывает возглавление Сталиным вооруженных сил СССР. По его, явно сервильному, мнению, со второй половины войны Сталин стал "самой сильной и колоритной фигурой стратегического командования". В памяти Василевского Сталин запечатлен суровым, волевым военным руководителем, "вместе с тем не лишенным личного обаяния".

Работать со Сталиным было трудно. Крайне требовательный и грубый, он расточал угрозы всем, если что-либо не отвечало его желаниям. Нередко от него доставалось представителям ставки, командированным из Москвы для координации действий двух-трех фронтов. К определенному часу у него на столе должны были находиться донесения координаторов. Как-то раз, по вполне уважительной причине, Василевский задержался с доставкой донесения. Не спрашивая о причинах, Сталин отписал ему: "...если вы хоть раз еще позволите забыть о своем долге перед Ставкой, вы будете отстранены от должности начальника Генерального штаба и будете отозваны с фронта".

Василевский приписывает Сталину многие, якобы им самостоятельно и грамотно составленные директивы, до сих пор неизвестные, но доказывающие "первостепенный стратегический талант вождя".

Чем ближе были победный конец войны, чем больше росла слава Жукова и Василевского, тем больше отдалял их от себя Сталин. Мелочно опекая командующих фронтами, нередко вмешиваясь в дела командующих армиями, Сталин изобрел свой собственный стиль руководства — координацию действий двух-трех фронтов, причем часто назначал Василевского, начальника

Генштаба, координатором, а равно и Жукова, своего заместителя, тем принижая их роль в управлении армией.

По-видимому, недоверчивый по природе, Сталин опасался бонапартизма: "И. В. Сталин не любил, когда мы "засиживались" в столице. Он полагал, что для руководства повседневной работой в Генштабе и наркомате обороны людей достаточно. А место его заместителей и начальника Генштаба — в войсках, чтобы там, прямо на месте, претворять в жизнь замыслы Ставки, согласовывать боевую работу фронтов и помогать им. Стоило мне или Жукову ненадолго задержаться в Москве, как он спрашивал:

— Куда поедете теперь? — и добавлял: — Выбирайте сами, на какой фронт отправитесь. Иногда сразу давал соответствующее указание".

Неестественность такого положения Василевский, конечно, понимал. Но Василевский приписывает Сталину необычайную скромность, он, якобы, никогда не говорил о своих заслугах. Кстати, в этом и не было нужды. Культ личности делал свое дело. Звание Героя Советского Союза и генералиссимуса Сталин получил по письменному представлению командующих фронтами и армиями.

О скромности Сталина лучше судить по его собственной лукавой речи, произнесенной в Кремле 24 мая 1945 года на приеме в честь командующих войсками РККА:

"У нашего правительства было не мало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо верил в правильность политики своего правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии".

Скромности ради, Сталин умалчал о своей "игре в поддавки", начавшейся разгромом 3-й и 10-й армий между Белостоком и Минском; о пленении немцами 6-й и 12-й армий под

Уманию; о кошмаре ленинградской блокады; о киевском окружении; о гибели 2-й Ударной армии Власова в топях болот, и о многих других своих "славных" делах.

В историю советско-германской войны Василевский внес заметный и во многих отношениях интересный вклад, описав структуру ставки Сталина и роль Генерального штаба при ней. Но в то же время, за два года до своей смерти под руководством Политиздата, он не только реабилитировал Сталина, но и возвеличил его.

Б. Прянишников

НОВОЕ О ТРЕСТЕ

СТАТЬЯ А. В. ПЕТРОВА

Мюнхенский журнал "Зарубежье" опубликовал в сентяб্রে-октябре 1966 и в феврале-апреле 1977 года большую статью А. В. Петрова, озаглавленную "Грест". Ее тема — история той псевдомонархической, якобы тайной организации, которая была создана в Москве чекистами и просуществовала с 1922 до апреля 1927 года, называя себя вначале Монархическим объединением Центральной России, а затем — короче — Монархическим объединением России. Слово "Грест" было ее "конспиративным" обозначением в сношениях с обманутыми этой коммунистической провокацией русскими эмигрантами и иностранными разведками.

Автор статьи не раскрыл своего псевдонима, но сообщил, что в 1927 году был "руководителем Кутеповской группы в Гельсингфорсе", а в 1942 году побывал в оккупированном германскими войсками Смоленске, где ему удалось получить связанные с историей Греста сведения. Назвав чекиста Виктора Стецкевича "фактическим изобретателем и основоположником Греста", он прибавил, что узнал это от "другого работника Греста" — Опперпута.

Опытный советский провокатор, чекист Александр-Эдуард Оттович Опперпут-Упелинец, по происхождению — латыш, установил в 1921 году, по поручению О. Г. П. У., под псевдонимом Селянинова, связь с основанным Б. В. Савинковым в Варшаве Народным союзом защитны родины и свободы и стал виновником гибели многих членов этого Союза, арестованных

и расстрелянных большевиками в России. В годы существования Треста он жил в Москве, где, под фамилией Стауниц, поддерживал связь с проникшими в Россию участниками созданной за рубежом генералом А. П. Кутеповым антисоветской боевой организации. В первой половине апреля 1927 года он "бежал" в Финляндию с принадлежавшей к этой организации неприимимой противницей советчины Марией Владиславовной Захарченко, а спустя полтора месяца переступил финляндскую границу в обратном направлении с нею же и с молодым кутеповцем Георгием Петерсом, пользовавшимся в организации псевдонимом Вознесенский, якобы для совершения террористических актов. В итоге этого "похода" Захарченко и Петерс были убиты, а Опперпут вопреки противоречивым и лживым первоначальным сообщениям О.Г.П.У. о его смерти — уцелел и был в 1943 году расстрелян немцами в оккупированном ими Киеве, где он, под псевдонимами Александра Коваленки и барона фон Мантейфеля, был одним из возглавителей коммунистического подполья. Основываясь на информации, полученной им в Смоленске, А. В. Петров верит первому советскому сообщению о гибели Опперпута в 1927 году, в окрестностях этого города, но не объясняет что побудило чекистов от первоначальной версии отказаться.

*

Участники Кутеповской организации и Опперпут перешли границу из Финляндии в Россию 31-го мая 1927 года. О следующих семи днях автор статьи в "Зарубежье" написал:

"Первая тройка (В. А. Ларионов, Д. Мономахов, С. Соловьев) произвела 7 июня 1927 года в 21 час 02 минуты взрыв Ленинградского партклуба. Во время взрыва пострадало 26 человек из числа видных коммунистов, из них 14 тяжело, по советским данным. Другая группа в составе М. Захарченко, Опперпута и Петерса-Вознесенского наносила главный удар — в ночь на 3 июня 1927 года эта группа, пробравшись в Москве в дом №3/6 по Малой Лубянке, населенный сотрудниками КРО О.Г.П.У., подложила мелинитовую бомбу весом в 4 кг на черной лестнице. В этом доме проживали (чекисты) В. Стецкевич, Стырне, Ланговой и др. Кроме бомбы, были подложены

баллоны с ядовитым газом, зажигательные бомбочки, ползалит керосином. По советскому сообщению, взрыв был предотвращен за четверть часа, благодаря счастливому случаю. Террористы скрылись затем из Москвы”.

*

Советские сообщения о “белогвардейском терроре” полностью подтверждают то, что А. В. Петров написал об удачном ударе кутеповцев по коммунистическому Деловому и дискуссионному клубу в Петрограде. Существует, кроме того, написанное В. А. Ларионовым и изданное в 1931 году в Париже журналом “Борьба за Россию” яркое описание этой “боевой вылазки в СССР”, но советская информация о попытке террористов взорвать здание на Малой Лубянке и о постигшей их затем судьбе противоречива. Она не дает основания считать Опперпута — как это сделал А. В. Петров, раскаявшимся чекистом и участником эмигрантской боевой организации, поплатившимся жизнью за этот подвиг.

“19 июня (1927 года) — сказано в статье сотрудника “Зарубежья” — на шоссе Витебск-Смоленск двое неизвестных мужчин и женщина остановили автомобиль Белорусского военного округа, управляемый шоферами Гребенюком и Голенковым. Неизвестные предложили шоферам повернуть на Витебск. Когда те отказались, то были застрелены. Организованной Г.П.У. облавой неизвестные были застигнуты в районе станции Дре-тунь и убиты в перестрелке. Это оказались М. Захарченко — “племянница Кутепова — и Вознесенский”.

Кем же был, в таком случае, третий террорист, участвовавший в попытке Захарченко и Петерса-Вознесенского овладеть автомобилем? Опперпут им быть не мог, так как — по мнению А.В. Петрова, высказанному им со ссылкой на “первое сообщение советской прессы”, он был “убит в райне Смоленска 16 июня”, то есть за три дня до совершенной Петерсом и Захарченко попытки захвата советского автомобиля. Приходится, к сожалению, сказать, что память автору статьи изменила, а ссылка на первое сообщение О. Г. П. У. оказалась неточной.

Это сообщение, подписанное В. Менжинским, появилось, в советских газетах 5 июля 1927 года. О попытке взрыва на Малой Лубянке в нем сказано, что "злоумышленниками, совершившими попытку взрыва, являются трое террористов: Захарченко-Шульц, Опперпут и Вознесенский". Об Опперпуте сообщение утверждало, что 19 июня, в 10 верстах от Смоленска, он был "застигнут крестьянской облавой, организованной О. Г. П. У., при задержании оказал вооруженное сопротивление и был убит в перестрелке", причем на нем "был найден дневник с описанием приготовления взрыва и всего маршрута террористов от границы".

Захарченко и Петерс утверждало сообщение "наткнулись 23 июня на красноармейскую заставу в районе Дретуни, высланную Белорусским особым отделом О. Г. П. У., в перестрелке с которой оба были убиты". Об эпизоде с автомобилем было сказано коротко только то, что "террористами убит шофер машины штаба Белорусского военного округа Сергей Гребенюк и ранен его помощник Борис Голенков — оба за отказ везти террористов", имена которых названы не были.

*

Во втором сообщении, напечатанном 6 июля московской "Правдой", О. Г. П. У. написало, что "после провала покушения" на Малой Лубянке "террористы немедленно двинулись из Москвы к западной границе, в район Смоленской губернии" и что "вызывалось это тем, что у группы не оставалось никакой базы, никакого пристанища в Москве", а "в Смоленском районе Опперпут рассчитывал использовать свои старые связи и знакомства среди бывших савинковцев".

Как оно могло узнать это намерение Опперпута, О. Г. П. У. не указало, а о его судьбе написало: "Белогвардейцы шли в разных направлениях. В селах они выдавали себя за членов каких-то комиссий и даже за агентов уголовного розыска. Опперпут, бежавший отдельно, едва не был задержан 18 июня на Яновском спирто-водочном заводе, где он показался подозрительным. При бегстве, он отстреливался, ранил милиционера Лукина, рабочего Кравцова и крестьянина Якушенко... Руково-

дивший розыском в этом районе зам. нач. особого отдела Белорусского округа т. Зирнис созвал к себе на помощь крестьян деревень Алтуховка, Черниково и Брюлевка, Смоленской губернии. Тщательно и методически произведенное оцепление дало возможность обнаружить Опперпута, скрывавшегося в густом кустарнике. Он отстреливался из двух маузеров и был убит в перестрелке”.

*

”Остальные террористы гласило второе сообщение — двинулись на Витебск. Пробираясь по направлению к границе, Захарченко-Шульц и Вознесенский встретили на пути автомобиль, направлявшийся из Витебска в Смоленск. Беглецы остановили машину и, угрожая револьверами, приказали шоферам ехать в указанном ими направлении. Шофер т. Гребенюк отказался вести машину и был сейчас же застрелен. Помощник шофера т. Голенков, раненый белогвардейцами, все же нашел в себе достаточно силы, чтобы испортить машину. Тогда Захарченко-Шульц и ее спутник бросили автомобиль и опять скрылись в лес. Снова удалось обнаружить следы беглецов уже в районе станции Дретунь. Опять-таки при активном содействии крестьян удалось организовать облаву. Пытаясь пробраться через оцепление, шпионы-террористы вышли лесом на хлебопекарню Н-ского полка. Здесь их увидела жена краскома полка т. Ровнова. Опознав в них по приметам преследуемых шпионов, она стала призывать криком красноармейскую заставу. Захарченко-Шульц выстрелом ранила т. Ровнову в ногу, но рейс английских агентов был закончен. В перестрелке с нашим кавалерийским разъездом оба белогвардейца покончили счеты с жизнью. Вознесенский был убит на месте. Захарченко-Шульц умерла от ран через несколько часов”.

*

Существует документальное доказательство того, что смерть шофера не была измышлением чекистов. Оно хранится в архиве Смоленского губернского Г. П. У., оставленном в 1941 году в этом городке бежавшими от германского вторжения

коммунистами. Их агент — бывший местный помещик — которому они поручили спасение архива, поспешил передать его немцам. Они вывезли его в Австрию. Там — после поражения Германии — он достался американцам. В 137-ой папке архива находится сделанная смоленским Г. П. У. в октябре 1927 года запись о более раннем исчезновении жителя деревни Осиновка, Лешканского сельсовета, Руднянской волости Александра Федоровича Шевелева, скрывшегося "в тот момент, когда было совершено убийство шофера террористами".

Свою уверенность в том, что чекист и провокатор Опперпут стал белым террористом, А. В. Петров связал в своей статье со следующим сообщением: "Уже в 1942 году, в Смоленске, автору этого отчета удалось на месте установить факт гибели одного из членов группы Захарченко у Смоленска. В 1927 году Смоленский суд осудил на 10 лет заключения в трудовой лагерь стрелочника, пустившего к себе переночевать "белогвардейца", который был убит на следующий день около Смоленска в перестрелке".

По мнению автора статьи, этим "белогвардейцем" мог быть только Опперпут, так как "другой спутник М. Захарченко — молодой Георгий Петерс-Вознесенский — не мог оставаться с ней по многим причинам". Мне кажется, что при всем значении, для истории Треста, известия о судьбе железнодорожного стрелочника, приютившего на ночь неизвестного ему человека, оказавшегося белым террористом, им ни в коем случае не мог быть Опперпут. Слишком многое — в первых сообщениях О.Г.П.У., упомянувших его имя — странно и неправдоподобно. Трудно поверить в то, что бывший чекист, ставший белым террористом и вернувшийся из Финляндии в Россию для террористического акта на Лубянке, мог вести дневник, описывающий его "поход". Есть во втором сообщении О. Г. П. У. загадочная фраза о "нитях", которые привели чекистов "от Лубянской площади к белорусским лесам". Совершенно неправдоподобно приписанное Опперпуту намерение "использовать старые связи с бывшими савинковцами" — после разгрома Союза защиты родины и свободы и опубликованных в 1921 году Народным комиссариатом по иностранным делам показаний Опперпута об этой антисоветской организации любой бывший савинковец,

чудом уцелевший, боялся бы его, как огня. К тому же возникает вопрос, как могло О. Г. П. У. это намерение узнать?

*

В 1928 году тот же народный комиссариат издал в Москве брошюру Н. Кичасова "Белогвардейский террор против СССР". Опперпут в ней ни разу не упомянут. Отсутствует он, в частности, в описании состоявшегося 31-го мая 1927 года перехода кутеповцами границы из Финляндии в Россию, хотя его участие в этом переходе несомненно. Кичасовым, однако, оно изображено так:

"Когда формирование (террористических) групп закончилось, постановлено было в конце мая перебросить на советскую территорию первую партию. В нее входили: М. В. Захарченко-Шульц, Ларионов, Соловьев, Мономахов, Петерс, Сольский и Болмасов. В последний момент Сольский и Болмасов были отставлены по чисто техническим причинам, так как проводники (финляндского) капитана Розенстрема указывали на рискованность переброски большой партии. Таким образом, в СССР пошли только первые шесть из перечисленных лиц".

Естественно возникает вопрос: почему Народный комиссариат по иностранным делам не включил в этот список седьмое имя, Опперпута? Оно отсутствует и в описании событий после удачного перехода границы. "Перейдя ее — сказано в брошюре Кичасова — группа разделилась на две части: Ларионов, Соловьев и Мономахов направились в Ленинград, а Захарченко-Шульц и Петерс — в Москву". Удар, нанесенный Ларионовым и его соратниками — Соловьевым и Мономаховым — описан в брошюре подробно. Те русские эмигранты, которые — как А. В. Петров — верят в превращение Опперпута из чекиста и провокатора с белого террориста, ссылаются иногда на успех возглавленной В. А. Ларионовым группы, как на доказательство того, что Опперпут ее не предал. Они, однако, забывают, что — как отмечено брошюрой Народного комиссариата по иностранным делам — "ленинградская группа определенного объекта покушения не имела: было предоставлено ее усмотрению выбрать

подходящее партийное или иное собрание”, но “условлено было лишь, что группа должна действовать лишь тогда, когда в печати появятся сведения о взрыве в Москве”. Так как никаких сообщений об этом террористическом акте в советских газетах до 7-го июня не появилось, “ленинградцы решили действовать, не дожидаясь исхода работы московской группы”. Это, вероятно, способствовало их успеху и помогло благополучно вернуться в Финляндию.

*

Вторая группа — то есть М. Захарченко и Г. Петерс — по выражению Кичасова, “оказалась менее удачной”. Ее попытке взорвать дом на Малой Лубянке посвящены в брошюре четыре строчки. Об Опперпуте не сказано ни слова, но гибель Петерса описана подробно, причем это описание повторяет почти все то, что было сказано во втором сообщении О. Г. П. У. об Опперпуте, с той только разницей, что в нем его появление на Яновском спирто-водочном заводе отнесено к 18-му июня, тогда как — по версии Народного комиссариата по иностранным делам — неизвестный появился на территории завода 16 июня и преследованием, организованным О.Г.П.У., “был застигнут в 10 верстах от Смоленска, успевши тяжело ранить еще одного милиционера, и в перестрелке убит”. — Он по словам Кичасова — оказался Петерсом, одним из двух террористов московской группы.

В описании попытки захватить советский автомобиль Петерс, естественно, отсутствует. Сказано, что он “был остановлен около м. Рудня неизвестной вооруженной женщиной”, убитой затем в районе станции Дретунь и “оказавшейся М. В. Захарченко-Шульц, другим членом московской группы”.

*

Не подлежит сомнению, что содержание брошюры Кичасова было согласовано Народным комиссариатом по иностранным делам с О. Г. П. У. Только оно могло быть — по той или иной причине — заинтересовано в исключении имени

Опперпута из истории Треста. Наиболее вероятным побуждением было желание отвратить от него внимание в связи с той или иной новой, возложенной на него задачей.

Так или иначе, его имя исчезло из советской "литературы" надолго. В 1962 году московским Государственным издательством политической литературы были непечатаны "Записки старого чекиста" Ф. Г. Фомина. В них сказано, что "в июне 1927 года двум диверсантам удалось бросить бомбу в общежитие работников О. Г. П. У., которая, к счастью, не принесла большого вреда, и скрыться". Кроме того, автор "Записок" сообщил, что один из этих двух террористов был убит в 10 верстах от Смоленска, а женщина, застрелившая шофера военного автомобиля, была убита двумя днями позже недалеко от Витебска. Этим он как бы подтвердил то, что было написано Кичкасовым о смерти Г. Петерса и М. Захарченко.

Первоначальную версию О. Г. П. У. о бегстве Опперпута в Финляндию, о его возвращении в Россию для участия в борьбе с большевиками и его смерти под Смоленском воскресил в 1965 году советский писатель Лев Никулин, лживый роман которого — "Мертвая зыбь" — появился в ежемесячнике "Москва".



Три имени занимают с истории Треста ведущие места, если не в создании и возглавлении этой провокации, то в контактах с русскими эмигрантами. Бывший генерал-майор Н. М. Потапов и, особенно, бывший действительный статский советник А. А. Якушев бывали за границей, встречались с эмигрантами, вплоть до великого князя Николая Николаевича и генерала А. П. Кутепова. Называвший себя Стаунищем чекист Опперпут — насколько мне известно — в годы существования Треста не рискнул появиться за границей, опасаясь, очевидно, разоблачения в связи с гибелью многих участников савинковского Союза защиты родины и свободы. Он сделал это лишь в апреле 1927 года под предлогом "раскаяния" в своем прошлом.

Потапов мирно скончался в Москве. Якушев — как многие чекисты — был расстрелян в одну из сталинских "чисток". Судьба Опперпута до сих пор изображается не только неко-

торыми русскими, заграничными, но и иностранными авторами статей и очерков о Тресте так, как она была рассказана в июле 1927 года двумя сообщениями О.Г.П.У. Мне кажется, что его "бегство" из Москвы в Финляндию было продиктовано желанием советской разведки сохранить, хоть на короткий срок, своего наблюдателя в Кутеповской организации.

Тресту тогда угрожала неизбежная самоликвидация. Ее причиной была — как мне кажется — указанная польским эмигрантским историком Ричардом Врагой попытка снабдить варшавский генеральный штаб ложной информацией о провозоспособности советских железных дорог. Поляки настаивали на встрече с Якушевым. Он от приезда в Варшаву уклонился и из Парижа, где в последний раз встретился с русскими эмигрантами, вернулся в Москву через Берлин и Ригу. Заграничная "командировка" Опперпута стала срочно необходимой.

*

Мое разногласие с А. В. Петровым в вопросе об этой "командировке" и ее последствиях не означает отрицательной оценки того, что он назвал своим "отчетом" о Тресте. Его статья в "Зарубежье" содержит много ценных сведений об этой советской провокации и ее истории. Рассказ А. В. Петрова о том, что он назвал "Кутеповской группой в Гельсингфорсе" и о вскользь упомянутой им встрече с Опперпутом был бы очень желательным к ней дополнением.

С. Войцеховский

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ШОР

1 мая 1978 г. скончалась в Риме, где она прожила больше полвека, Ольга Александровна Шор. Известие об ее смерти поразило всех, кто знал ее: такова была внутренняя духовная сила в ее хрупком, маленьком теле, такая излучалась жизнерадостность и энергия, что --- казалось --- ни болезнь, ни смерть не смогут победить их.

О. А. Шор родилась в Москве 20 сентября 1894 г. Семья Шоров была одним из живых центров культурной жизни; в доме родителей Ольги Александровны встречались музыканты, поэты, писатели, философы. Мать ее была одним из деятельных членов «Общества свободной эстетики».

На вечера, где выступали знаменитые представители литературного и философского авангарда и зажигались достопамятные прения, она проводила контрабандой свою дочь Ольгу, которой, как подростку и гимназистке, посещение такого рода собраний официально воспрещалось. Там --- в те блестящие и волнующие годы, предшествующие Первой мировой войне, она --- с необычайной остротой ума и интуитивной силой --- начала свои философские и литературные *Lehrjahre*. Хотя балетные эксперты, друзья семьи, приметив ее исключительное дарование к танцу, и сулили ей блестящую артистическую карьеру, ее решение было принято сразу и навсегда: всю жизнь она посвятила работе духовной и исканию истины.

Путь к ней шел через все более и более глубокое --- но и крайне критическое и независимое --- изучение теории и истории философии и, в частности, эстетики и истории философии искус-

ства. Отсюда позже -- ее многолетние размышления о Египте и Греции, ее труд о Микельанджело. Во Фрейбурге, где она слушала Риккерта, О. А. сдружилась с Ф. А. Степуном, Сергеем Гессеном и с группой русских неокантианцев (положения которых она, однако, отнюдь не разделяла), -- началось ее суровое университетское ученичество.

Жизнь для О. А. никогда не была только поиском духовным; она должна была быть действием, постоянным актом любви и конкретной помощи. Когда началась война, лазареты -- где она работала как сестра милосердия -- сменили академические аудитории. А в первые страшные революционные годы постоянные усилия О. А. и ее семьи были направлены на то, чтобы всячески бороться против слепой и часто смертельной угрозы столь многим близким и далеким. И сколько раз -- иногда, казалось, чудом -- удавалось в последнюю минуту, благодаря неотрезанным связям, бесчисленным хлопотам спасти знакомых и незнакомых от ареста или расстрела.

Научная деятельность О. А. не прекращалась. В двадцатые годы она участвует в создании «Академии художественных наук» и становится ее ученым секретарем. В академии -- под председательством П. С. Когана -- ведется серьезная научная работа, собираются оставшиеся в Москве представители свободной интеллигенции. Но существовать академии все труднее и труднее, и через несколько лет она окончательно ликвидирована.

С самых первых философских исканий и опытов, знаменательной была для О. А. -- еще в юные годы -- встреча с творчеством поэта и мыслителя «реалистического» или «религиозного» символизма Вячеслава Иванова. В подходе поэта к проблеме познания, в его учении о художнике-теурге, умеющем "учиться понимать смысл форм и видеть разум явлений... прозревать и благовествовать сокровенную волю сущностей", О.А. признала -- еще до личного знакомства -- себе духовно родственную мысль. Много лет шла О. А. своим путем, а собственные размышления об онтологических и гносеологических началах познания выливались мало-помалу в большую оригинальную философскую систему.

В 1924 г. Вячеслав Иванов --- после четырехлетнего пребы-

вания в Баку -- приехал на короткий срок в Москву, до окончательного отъезда в Италию. Там он и О. А. много беседовали в гостеприимном доме Шоров; и поэт радовался, слушая мудрого экзегета своих произведений и «спутника» на той же духовной тропе.

В 1927 г. О. А. приехала в Рим, где продолжала свои работы по истории искусства. Там дружба ее с Вячеславом Ивановым, с его дочерью и сыном все больше углублялась. Вячеслав Иванов был для нее и учителем и художником, выразившим на своем языке истины, ей внутренне «созвучные». Однако установившееся постоянное сотрудничество с ним никогда не было пассивным. Это было ежечасное, общее дело, общее духовное искание

«Двух, сливших за рекой времен

Две памяти молитв созвучных, --

Двух спутников, двух неразлучных», --

как писал В. Иванов в "Римском Дневнике 1944 года".

В 1927 г. В. Иванов перешел в католичество -- после долгих размышлений о Церкви, начавшихся еще при свидании его с Владимиром Соловьевым в 1900 году. О. А. его примеру не последовала. Она осталась верной Православной Церкви, в которой родилась. Человек глубоко религиозный, вся ее жизнь была пронизана верой в Бога, постоянной, самозабвенной волей жить для других и глубокой любовью к Церкви, той же единой Церкви, которую -- по завету Соловьева -- любил и исповедовал Вячеслав Иванов.

После смерти поэта, в 1949 г. появился под редакцией О. А., пишущей под псевдонимом О. Дешарт, -- сборник последних стихотворений В. Иванова "Свет Вечерний", изданный Clarendon Press в Оксфорде (1962). А с 1971 г. началось печатание -- по инициативе издательства Foyer Oriental Chrétien в Брюсселе -- полное собрание сочинений В. Иванова, включающее много неизданных текстов.

О. А. выработала подробный план шеститомного издания и посвятила ему все свои силы.

Первые два тома появились в 1971 и 73 гг. Третий том находится в печати. Издание состоит не только из полного собрания сочинений, но и из богатейших критических и историко-литера-

турных комментариев.

Первый том открывается обширным биографическим "Введением" -- само по себе прекрасное литературное произведение О. А. Многочисленные примечания и посвященные главным темам подробные статьи дают точную и острую формулировку религиозных, философских и эстетических взглядов изучаемого автора, рисуют быстрые и четкие портреты современников. Издание будет -- по намеченному плану -- доведено до конца. Оно теперь уже стало -- по многочисленным отзывам зарубежных критиков и ученых в Советском Союзе -- незаменимым монументальным вкладом в историю современной литературы.

Погребена О. А. на старинном прекрасном римском кладбище у Авентина, около ворот св. Павла, среди древних кипарисов, благоухающих кустов роз, у самых стен античного Рима.

Д. Иванов

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

ГРИГОРИЙ СКОВОРОДА

В этом году исполняется 212 лет с того времени, как появились первые сочинения Григория Саввича Сковороды: "Проповедь --- Видеши славу Его", "Да лобжет Мя от лобзания уст своих", "Начальная Дверь" (которая вызвала в свое время бурю). Вслед за ними, вошедшими в сборник "Потоп Змиин", начали появляться почти ежегодно остальные 17 томов. Утверждают, что еще в 1750 году Сковорода написал "Рассуждение о поэзии и руководство к искусству оной", но этот труд потерян. Занимался Сковорода и переводами: Цицерона --- о старости, Плутарха --- о смерти, о Божьем правосудии, о спокойствии душевном, о вожделении богатства, ода об уединении Иезуита Сидрония Гозия (рукописи хранятся в петербургской Пуб. Библ.).

Мало кто знает о жизни и учении Григория Сковороды, мыслителя, богослова и поэта. Выдающаяся личность его останавливает на себе внимание. Его невозможно понять вне русской стихии, вне горячо любимой им Украины, и не случайный факт то, что ученье его, несмотря на внешнее одиночество самого автора, свободно и легко укладывается в рамки русской философской традиции.

Но не только ученье, замечательна сама жизнь этого мудреца-странника, с флейтой и Библией обошедшего пешком весь юг России, всегда жизнерадостного, исполненного не только книжной, но и глубокой житейской мудрости. Его жизнь и ученье -- одно неразрывное целое. И об этом, может быть, нелишне вспомнить в наш печальный век всяческого раздробления и разделения.

Сведения о молодых годах Григория Сковороды весьма скудны. Родился он в 1722 г. в селе Чернухи, Лубенского уезда, Полтавской

губернии в зажиточной казачьей семье. С детства проявлял склонность к наукам, чтению духовных книг, отличался также музыкальными дарованиями, пел на клиросе "отменно приятно". Отец отдал сына, по собственной его просьбе, в Киевское Училище, впоследствии Духовную Академию. Григорий учился успешно, и должен был проявить большую твердость духа против начальства, которое требовало от него принятия духовного сана. В 19 лет, благодаря голосу и музыкальному таланту, молодой Сковорода был зачислен в придворную "певческую музыку" и отправлен в Петербург на торжества восшествия на престол государыни императрицы Елизаветы Петровны (1741 г.). Но в капелле он недолго оставался; Киев его не удовлетворял, и он стал стремиться за границу. Знание языков и церковного пения помогли. Сковороде удалось устроиться в Австрии; потом он побывал в Венгрии и Италии. "Рим любопытству его открыл большое поле". Сковорода путешествовал пешком, как все студенты и ремесленники того времени. Всюду он старался совершенствоваться в науках и языках.

Культура его черпала свои идеи в платоновской традиции греческой философии и в святоотеческой литературе. У него была смелость мысли и свое "сковородинское" благочестие.

Сковорода был несомненно чрезвычайно образованным для своего времени человеком. Легко изъяснялся на нескольких языках и кроме современных знал латинский, греческий и древнееврейский языки.

Религии и мифотворчество древних привлекали к себе внимание Григория Сковороды, он находил в них нравоучительные примеры. В обожествлении сил природы он умел различать истинное благочестие, скрытое под своеобразной символикой: с этой точки зрения египетское "богословие" он называет матерью еврейского.

Григорий Сковорода --- крупная личность по своей значительности, по глубине своих духовных достижений. Одно из его изречений: "не разум от книг, а книги от разума родились" (из его книги "Разговор о душевном Мире", стр. 236).

Для обрисовки психологического облика Сковороды надо отметить тех мыслителей, которых он особенно чтит и которых чаще всего упоминает в своих творениях. Первые -- это Сократ и Платон. Последнего он даже называет Боговидцем (в предисловии к израильскому змию). Дальше встречаются у него имена: Пифагора, Эпикура, Фалеса, Цицерона, Плутарха, Филона, Горация и Лукиана. Отцы церкви

упоминаются реже: Сковорода считает, что лучшие наставники к изучению Св. Писания --- это Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов, а также Блаженный Августин.

Вернулся Сковорода из путешествия "наполненный ученостью", но "с пустым карманом и в крайнем недостатке всего нужнейшего". Он поступает домашним учителем, но остается им недолго, и снова в трудном материальном положении: без крова, без средств к существованию. Одно время он был в Москве, в Троице-Сергиевской Лавре, оставив по себе в Лавре добрую славу и "имя ученого", но его все время тянуло к родным местам, и он возвращается к себе, на Украину.

В продолжение последующих 10 лет Сковорода занимался педагогической деятельностью, вначале в семьях у помещиков, а потом был приглашен в Харьковский Коллегиум преподавания поэзии. (В своих произведениях Сковорода не всегда употреблял твердый и мягкий знаки: "отныне в письме моем изгоняются из числа букв сии буквы: ер и ерь". Без обоих знаков Сковорода написал несколько сочинений).

Язык Сковороды выразителен и красочен, даже в прозаических произведениях. Обладал он, несомненно и стихотворным талантом.

Сковорода любил распевать свои стихи, сопровождая пение игрой на скрипке, гусях или бандуре. Сочинял он и духовные концерты.

Современники, вспоминая его, рассказывают, что одевался он пристойно, но просто, мяса и рыбы не ел, питался раз в день, по заходе солнца, зеленью и молоком, спал не больше 4 часов.

Покинув Харьковское Училище из-за обстановки "бурсы", он "удаляется от злословия людского" и живет на пасеке в Земборском лесу (около села Гужвинского), где тишину нарушает только гуденье пчел и звуки его флейты. Вся библиотека его состояла из греческой и еврейской библии. Здесь, в лесной хижине, Григорий Сковорода пишет философский труд "Аскань" и "Нарцисс -- или узнай себя", ибо мудрый, подобно Нарциссу, созерцает отражение свое в чистом источнике. Самая бумага грубая, серая, на которой он писал трактат, была в соответствии со всей его обстановкой. Он мог в условиях лесной жизни работать только летом и в одном письме к священнику пишет: "Спешу произвести пока есть время, ибо наступает -- вернее стоит у дверей --- враждебная музам зима. Скоро надо будет уже не писать, а руки греть".

Философия Григория Сковороды была для него жизненным подвигом. Он стремился прозреть нечто новое, нестарееющее, чудное и вечное. "Пробуждение духа" было главнейшим стимулом его действий и

всей его жизни. Сковорода мыслит символами, а не точными философскими понятиями.

Учение о Человеке является краеугольным камнем всего его философского мировоззрения. Проповедь счастья и радости -- вот основная черта его прикладной философии. Он говорит, что путь к счастью открыт всем. Счастье не может быть достоянием одной страны, оно не может зависеть от богатства. Истинное счастье, заключающееся в мире душевном, открыто всем, оно обретается через исполнение воли Божьей.

Жизнь согласно воле Божьей: "Да будет Воля Твоя. Кто зовет в леса и сады род соловьев и дроздов, на поля жаворонков, а жаб в воды и болота? Кто ведет речные потоки к морю? Кто влечет к магниту сталь? --- Сей есть Бог над всеми царствующий (из книги "Алфавит Мира").

Бог, говорит Сковорода в другом труде своем, "богатому подобен фонтану, наполняющему различные сосуды по их вместимости".

"И что глупее, --- восклицает Сковорода, -- как равное равенство, которое глупцы в мир внести все покусаются?" Себя Сковорода называет в "Диалоге Сатаны и Архистратига Михаила", -- Варсавою. Вар -- по-еврейски сын. Вар Сава -- сын Савы.

Писал Сковорода басни, живя на пасеке близ Гужвинского. "Сборник Харьковских басен" и "Убогий Жайворонок" (1774 г.) представляют несомненный литературный интерес. Написаны они прозой, простым разговорным языком. Каждая содержит мораль. Сам Сковорода, по-видимому, смотрел на них как на удобный способ популяризировать свое учение. Он называет их в предисловии "благопристойными мудрыми игрушками". (Например, не то орел, что высоко летает, но что легко седает... или: много хитростей знает лиса, а еж --- одно великое; или: учитель, как и врач, --- только служитель природы, которая одна есть "истинная" учительница).

К 72 годам Сковорода стал болеть. В 1794 г. он говорит, что дух его бодр, но тело немощно. Просит похоронить его на возвышенном месте, над прудом "близ роши и гумна" где он любил по вечерам играть на своей заветной флейте.

Сам себе придумал эпитафию, просил начертать на могильной доске: "Мир ловил меня но не поймал". Силы медленно покидали Григория Саввича. 28 октября 1794 г. установилась ясная, тихая погода. Много народу наехало в Пан-Ивановку навестить и послушать чудного старца. И как будто уходившие силы снова вернулись. Григорий Сав-

вич с веселостью, красноречием рассказывал о прошлом, о своих странствованиях, о своей жизни.

А вечером, когда гости разъехались, он вышел в сад и под развесистой липой заступом вырыл яму, для себя могилу.

"Пора кончать блужданье. Пора уйти на покой", сказал он своему другу Ковалевскому, заставшему его за рытьем могилы.

На другой день Григория Сковороду нашли в его комнате мертвым. Лежал он на кровати в чистом белье, в серой свитке, с тетрадами своих творений и Библией под головой. Руки его были сложены крест - накрест.

Похоронили Сковороду в селе Ивановке, как он завещал, но через 20 лет, по непонятной причине, тело его было перенесено и похоронено "в вишневом садку" Ивановского священника рядом с семейным склепом его друзей Ковалевских. Сохранился портрет, написанный маслом за год до смерти Григория Саввича в селе Ивановке харьковским живописцем Лукьяновым по просьбе его друга Ковалевского. На портрете у Сковороды удлиненное, бритое лицо, с тонкими сжатыми губами, прямым чуть горбатым носом и взглядом, устремленным вдаль; в руках держит он книгу с заглавием "Алфавит Мира". Портрет овальный и в правом углу внизу подпись: Григорий Сковорода.

С портрета воспроизведены гравюры в прошлом столетии П. Мещеряковым и В.В. Машэ.

Н. Бурова

О СУДЬБЕ ТАЙВАНА

Глубокоуважаемый г-н Редактор!

С большим огорчением и возмущением я прочел в НРС от 27-го июня известие о том, что американская дипломатия, в целях установления "нормальных дипломатических отношений" с красным Китаем склоняется к разрыву отношений с Тайваном. Разрыв отношений, очевидно, означает отозвание от берегов Тайвана американских вооруженных сил, охраняющих ныне свободу и независимость дружественного и союзного государства, которое своими силами, конечно, не сможет защитить себя от превращения Тайвана в одну из провинций тоталитарно-террористической красной империи (как это случилось с Тибетом).

Что же выиграла бы Америка от такой дипломатии? Только то, что в Вашингтоне сидел бы китайский дипломатический представитель более высокого ранга. А в случае какого-либо конфликта с СССР, красный Китай не сможет (да и не захочет) оказать "капиталистической" Америке никакой помощи, ни стратегической, ни экономической.

Будучи совершенно ненужным и бесполезным, наш разрыв с Тайваном принес бы Америке и всему свободному миру огромный политический вред. После бегства американского флота и авиации от берегов Тайвана политический престиж США среди народов Азии упал бы до нуля. После "освобождения" Тайвана, коммунисты принялись бы "освобождать" Южную Корею и достигли бы этого легко (ибо наши миролюбцы не позволили бы серьезно защищать ее); попутно, и без особых трудностей, красные покорят другое дружественное США государство — Тайланд. А затем можно было бы подумать и о Японии, где домашние коммунисты с восторгом встретили бы "освободителей".

Я слишком стар и слаб, чтобы принимать активное участие в политической жизни, но я надеюсь, что мой голос не останется "гласом вопиющего в пустыне". Пусть вся многонациональная политическая эмиграция — русские, евреи, поляки и все прочие — возвысит громкий, решительный и настойчивый голос протеста против замышляемого нашей дипломатией злого дела — отказа от защиты 20 миллионов друзей и союзников, которые останутся под непосредственной угрозой превращения их в "граждан" коммунистической империи с хорошо известными последствиями этого.

С. Пушкарёв

Редакция "Нового Журнала" присоединяется к беспокойству, выраженному в письме проф. С.Г. Пушкарева, и вполне разделяет его взгляды.

БИБЛИОГРАФИЯ

ПОВЕСТИ В. Г. РАСПУТИНА

В 1977 году вышла объемистая — 652 стр. — книга с четырьмя повестями этого писателя-сибиряка, чудесного мастера и кудесника слова. Валентин Григорьевич Распутин родился в 1937 году в селе Усть-Уда Иркутской области. Окончил историко-филологический факультет в Иркутске в 1959 году. Написал несколько книг и очерков, начав печататься в 1961 году. Речь тут о повестях: "Прощание с Матёрой", "Живи и помни", "Последний срок" и "Деньги для Марии". Все повести трагичны, в трех верховодит смерть. И печалится Распутин, что не отличают в себе люди "своих собственных Богом данных им чувств от чувств общих, уличных". Не раз голос поведания правды дрогнет, внезапно раскроется. Дарья говорит внуку: "Сто-то годов назад в спокойе, подика, жили. Я про тебя, про вас толкую тебе... Пуп вы шас не надрываете — че говорить! Его-то вы бережете. А что душу свою потратили — вам и дела нету. Ты хошь слышал, что у его, у человека, душа есть?" "Смотрите, думайте!.. Истинный человек выказывается едва ли не только в минуты прощания и страдания — он это и есть, его и запомните." Есть три памяти: "верхняя скользкая", а есть ненадежная изнурившаяся, и есть память глубинная.

замечательно раскрывается писателем душа и разум человека, светлое или "застиранное лицо". Снег ли, лес ли, река ли, ветер, солнце, запахи... Животные и растения, все описаны точно и метко, и по-своему. Вчитайтесь, хоть в эту ночь: "Со струнным, протяжным шуршанием

Прим. ред. К восторгу Р. В. Плетнева добавим, что В. Г. Распутин несомненно талантливый писатель. Но свою литературную работу он как-то сочетает и с литературно-административной, состоя членом президиума Союза писателей РСФСР.

катилась Ангара. Ночь будто остановилась и не стекала уже поперек Ангары в свою закатную сторону, а набравшись до краев, творила над Матёрой слепое осторожное кружение. Слепо тыкался то с одной, то с другой стороны ветерок и, не натянувшись, засыпая на ходу, опадал и застревал в траве. Трава была влажной, пахучей, и по ней Хозяин (домовой) определил, что завтра к середине дня прольется недолгий дождь..." Но Хозяин учуял беду: решили для гидростанции спалить избы, убрать с острова колхоз и затопить Матёру. Тут и трагедия и боль неизбывная тех кто связан с трехсотлетним поселком на плодотворном острове. Бьются бабы старые за свое кладбище, снесенные в кучу рабочими кресты пытаются вернуть на дорожные холмики. Дарья обряжает, белит, украшает перед сожжением избы, — изба для нее, что дорогой покойник. Шумит еще, не стала озером, течет вольно звонко-струйная Ангара, но уже сатанинский огонь жжет дома. Сплетение и борьба разных волей описаны, переданы незабвенно. Чудесна и сага о старом листвене. И язык! Пахнет он то хвоей, то звенит вольной речной струей. В нем отображается золотое сердце: "Чтоб человеком быть, им остаться, надобно *благость* в себе иметь". Труженица Дарья думает, что "дьявол много успел натворить, покуль народ хлестался, есть Бог али нету". Бойтся она: "себя вы и вовсе скоро растеряете по дороге... Сильно большие дела творят, про маленькие забыли". И сожгли, изничтожили Матёру. "Мертво и страшно остывали вышедшие на простор и вид русские печи... Улетела Матёра. Царствие ей Небесное".

В языке повестей то и дело видишь диалектические блески, сверкание русских метко нацеленных слов. Вот, хоть шепотка: Август — месяц *Поспень*, не Зарев, не поспель. *Обвальный* дождь (= окладной, сильный). *Вяклый* (вяло-слабый). *Межжонье*. *Запарник* (чайник для заварки). *Надрябшие* ноги (устало опухшие). *Навалистая* поступь и т.д.

Ошеломляет повесть "Последний срок". Умирает истощенная старуха, старуня Анна. Приехало трое детей ее, ждут кончины матери. Подергал сын за плечо костистое и "откуда-то изнутри донесся стон не стон... будто, занятая своим делом, огрызнулась смерть". Любимая, самая добрая дочь Таня — Танчора не приехала из Киева. Ее и ждет с последними усилиями не умереть, дожидаться, Анна. Не дождалась, не приехала, не прилетела Танчора. И вот у ложа смерти матери сталкиваются деревенские и городские дети Анны. Разные они, разной судьбы и не подождав еще ночку, как умоляет мать, они уезжают: у них дела. В ночь их отъезда умерла Анна. На первый взгляд в повести мало движе-

ния, но в воспоминаниях, в разговорах, открываются до дна души всех собравшихся у постели Анны. Сыновья, оба пьющие. Прячутся от жен в бане-курятнике и пьют горькую. Напившись рассуждают: "Теперь такая необходимость появилась -- пить... Ничего впереди нету, сплошь одно и то же". А кругом в тайне слов, в ритме фраз, в шутке с грустью пополам -- "неслышная и легкая печаль" предсмертия.

В крепко сложенной повести "Живи и помни" все трагично, беспросветно. Забыл, совсем забыл ее автор о бесконфликтности в советской жизни и в литературе. Умно и осторожно уфимец Сергей Павлович Залыгин пишет в предисловии к повестям Распутина. В героях повестей он справедливо усмотрел "законченность и завершенность сложности... Тема жизни и смерти". Смерть не за горами, не спереди, за спиной, за плечами. Она к Андрею Гуськову "для верности сзади зашла". Воевал он храбро. Два раза ранен, контужен. К концу войны опять тяжело ранен. Обещались дать недельки две отпуска, ан нет! На фронт! И заныло от померкшей надежды сердце солдата. Ну и решился бежать домой, повидаться с женой, с родными местами, а там, что Бог присудит. Начинается повесть просто и напряженно: исчез из-под плахи из захоронки топор. Только домашние и знали, где он лежал, ну и пошло. Настена, жена Андрея, ей он открылся, крадет для него скудную еду, крадет у свекра порох, ружье. И тут новая трагедия: Настена в первый раз забеременела. Текут месяцы, подходит конец войне, а Андрей и этому не может обрадоваться. Уже его ищут. Идут по следу Настены. Настена топится в Ангаре. Андрея видно поймают, но повесть тут и останавливается. Додумай, читатель! И как тонко описан весь ход чувств Андрея-дезертира. Стыдно ему жену губить, срам большому честному человеку воровать и начать разбойничать, чтоб выжить. Кругом -- тайга. Катит весною свои струи Ангара. Темно, страшно в сердце. И не ему одному горько в душе от оторопи воровства, от вранья. Настена идет с ним к гибели...

Сколько на всех страницах повестей горя, тоски: голодный 1933 год. Голодные 1946-47 гг. Того раскулачили, этого расстреляли. Много, не подчеркивая, вспоминает писатель -- к слову пришлось. Кое-где словно тень от Чехова и Бунина на живом токе его творчества. Грустный, большой талант у В. Г. Распутина.

Р. Плетнев

АРХИЕПИСКОП ИОАНН ШАХОВСКОЙ. БИОГРАФИЯ ЮНОСТИ. Париж, ИМКАПресс, 1977 (419 стр.)

Новая книга архиепископа Иоанна необычайно насыщена материалом. Само название книги говорит, что повествование неизбежно приведет вначале к детству автора, родившегося в 1902 году, еще в спокойные годы России. И действительно, перед читателями встает "милая русская, тульская земля", имение Матово, раскинувшееся на просторах черноземной полосы России. Но в рассказе об этом радостном детстве звучат необычные ноты, переосмысливаются запомнившиеся моменты, от чего повествование приобретает особый смысл, редко присущий воспоминаниям детства.

Говоря о том, как он в детстве увлекся верховой ездой, автор не только любовно вспоминает своего коня, но и подчеркивает, что лошадь стала для него "дверью в мир, в природу, в свободу", его первой серьезной собственностью, похвала которой, казалось бы, является неожиданной в устах монаха: "Собственность хороша именно тем, что ее можно отдать, подарить, снять с себя. Человеку нужно что-то иметь, чтобы иметь *право и радость* этим поделиться, это подарить... Чувству собственности надо, конечно, учиться, как вообще всему. Учиться на ней благодетству, а не изменности".

Далее автор рассказывает, как под влиянием отца "чувство России" стало развиваться у него с десятилетнего возраста, особенно же когда он прочел в историческом повествовании, как действовал в Бородинском бою "корпус егерей Шаховского" -- его прадеда.

Страшные страницы посвящены убийству отчима полуграмотным террористом в 1916 году, а позже -- пореволюционному разгрому имения, убийству родственников и аресту матери.

"Участие мое в гражданской войне на юге России было эпизодическим ... не зрелое дело, а мальчишеское приключение", -- пишет археп. Иоанн. В первом же бою, в раскаленной солнцем Сальской степи, юноша оказался ни физически, ни душевно не подготовленным к ужасам войны. Контуженный, с душевным надломом, он попал в госпиталь, где ему исполнилось 16 лет. Почти чудом добравшись до дому, он едва успел соединиться с семьей, чтоб навсегда покинуть вместе с ней родные места.

В 1920 г. Дмитрия Шаховского, как еще не достигшего 18-летнего возраста, демобилизовали из Черноморского военного флота. он

поступил радистом на пассажирский пароход, на котором и прибыл в Константинополь. А в 1920 г. попал в Париж.

К этому времени относится первое соприкосновение автора с миром писателей и поэтов. Познакомившись с Буниным, Шаховской у него в доме встретился с Зайцевым и Алдановым. Перейдя в 1922 г. в университет в Лувене и в конце концов избрав для своих занятий "историческое отделение философско-словесного факультета", молодой человек начал испытывать тягу к писанию собственных стихов. Его первое, стихотворение, приведенное в отчетной книге, появилось в том же 1922 г. в журнале "Русская мысль", издававшемся П. Б. Струве. В 1923 г. вышел первый сборник стихов Дмитрия Шаховского, за ним в 1924 г. -- второй, а в 1926 -- третий, уже только для друзей.

Углубляясь в мир поэзии, молодой человек все более стал стремиться к самоуглублению -- "поэзия помогала мне отходить от мира внешнего в мир внутренний", -- а наряду с этим нарастала и религиозная настроенность. Вначале молодой князь решил, что ему надлежит издавать религиозно-философский журнал, но вскоре эта идея "перешла в мысль о журнале русской литературной культуры" -- определение не совсем ясное для пишущей эти строки. Для такого издания кн. Шаховской "не без романтической стилизации" остановился на уже использованном в истории русской литературы названии -- "Благонамеренный", хотя журнал, по словам редактора, "не был не подражанием Измайлову, ни началу XIX века, а связью с Пушкиным и Россией". Выбор названия вряд ли можно назвать удачным, да и далеко не все лица, согласившиеся сотрудничать в новом журнале, пришли в восторг от этой идеи -- кн. Д. С. Святополк-Мирскому и Георгию Иванову, как видно из их писем, название не пришлось по вкусу, К. В. Мочульский сообщил: "Название "Благонамеренный" я одобряю, хотя все вокруг удивляются ..."

Вышло всего два номера этого "независимого" журнала. Ценность его в значительной мере сводится теперь к переписке, сохранившейся у быв. редактора. Однако религиозная сторона жизни все более притягивала молодого редактора. О том, что испытывал он, внезапно, по зову своего духовника, решивший сменить светскую жизнь на иноческий путь, автор "Биографии юности" говорит скупно и неохотно: "Это область чрезвычайно трудная и хрупкая. Лучше тут сказать меньше, чем больше." Даже в письмах к матери с Афона, куда молодой Шаховской отправился в 1926 году и где был пострижен в монахи, он касается

только чисто внешних приготовлений к постригу: "В Карее — единственном в мире городе без женщин, — купил материи на монашеские одежды, шить мне будет монах-портной. Камилавку я уже купил ..."

О самом постриге — только сухая справка: "В 3 1/2 часа ночи, в ... храме Введения Пресвятой Богородицы во Храм, был пострижен в первый иноческий чин и наречен Иоанном".

Интересны включенные в книгу фотографии и словесные портреты встреченных автором в молодости людей. Занимающие больше половины книги (стр. 163-419) "Литературные письма" связаны с кратким периодом существования "Благонамеренного". Археп. Иоанн нашел нужным поместить их, правильно считая, что они — "человеческий документ русского зарубежья, той его начальной эпохи, когда русская эмиграция только начала осознать свою духовную миссию и свободу".

Хотя кн. Шаховской прожил в Грассе у Буниных, по его словам тепло относившихся к нему, часть лета 1924 года, именно тогда, когда И. А. Бунин писал "Митину любовь", письма писателя, открывающие упомянутый выше отдел, лишены, на мой взгляд, душевной теплоты и желания помочь неопытному редактору в задуманном им трудном деле. В этих письмах, обращенных к тому, кто с юношеской непосредственностью признается знаменитому писателю — "стараюсь и буду стараться как могу, своими силами, но неужели я не достоин минимальной поддержки?" — Бунин с предельной сухостью объявляет: "На меня особо не рассчитывайте, я должен сначала посмотреть Ваш журнал". Правда, он позже сдается, к тому же удостоверившись, что во время поездки по Италии Шаховской не виделся с Горьким, перестает отговариваться неимением материала, но деловито сообщает: "Моя цена такая: пятьдесят американских долларов (уплата *долларами*, а не франками) за 35000 знаков (то есть за обычный журнальный лист). И в этом случае могу дать вещь листа в три... Можно дать рассказик величиной около пол-листа чохом за 25 долларов." "Доминанта гонорара" звучит во всех письмах Бунина — в них нет ни советов молодому редактору, ни отзывов о журнале, в который он все же прислал свои "Воды многия".

Письма В. Ф. Ходасевича по своей искренней доброжелательности и внимательной литературно-критической оценке помещенного в "Благонамеренном" материала являются разительным контрастом к сухой требовательности и менторским "осаживаниям" в письмах

Бунина. Читаются они с большим интересом и познавательная ценность их несомненно значительна.

Переписка с кн. Д. П. Святополк-Мирским ясно показывает тенденцию этого известного критика увести молодого редактора, обладавшего "одинаковым отношением ко всем людям", именно в левую сторону, приблизив к тому пути, который повел самого Святополк-Мирского в РСФСР, а затем в концлагерь на Колыме.

Письма А. М. Ремизова дышат готовностью сотрудничать в новом журнале: "Мне очень хочется, чтоб "Благонам." жил и я бы из № в № рассказывал о России ..."

Весьма интересны приведенные письма К. В. Мочульского, пожалуй, самые теплые и лирически-дружеские. В своеобразном ключе написаны письма известного историка литературы, пушкиноведа и поэта Модеста Львовича Гофмана, о котором архп. Иоанн вспоминает: "С Гофманом я познакомился в парижской квартире-музее умиравшего в тяжких томлениях Александра Федоровича Онегина." Из всей переписки выделяется гневное и резкое письмо Ивана Наживина.

Размер журнальной рецензии не позволяет остановиться еще на ряде приведенных в "Биографии юности" писем, а также и других материалов, характерных для умонастроения автора этой книги в его ранние годы. Несомненно одно -- это интересная и просто написанная книга.

Татьяна Фесенко

ОЛЬГА ИВИНСКАЯ. В ПЛЕНУ ВРЕМЕНИ. Москва. 1977. Изд-во Файар. 1978 (437 стр.)

Воспоминания Ольги Всеволодовны Ивинской о Борисе Леонидовиче Пастернаке, несомненно, большое событие в русской литературе и значительнее многих современных романов.

"Доктор Живаго" лишь отчасти автобиографический роман и Ивинская верно замечает: я -- не "абсолютная" Лара, а Борис -- не "абсолютный" Юра. Ольга Ивинская -- последняя тютчевская любовь Бориса Пастернака. Она:

Недотрога, тихоня в быту,
Ты сейчас вся порыв, вся горенье.
Дай запру я твою красоту
В темном тереме стихотворенья.

Их любовь длилась 14 лет (1946 - 1960). Любовь мучительная, но и счастливая, вдохновенная. Обоих часто осуждали, и не только враги. И О. В. пришлось дорого расплатиться. Она дважды сидела в лагере: почти 5 лет (1949 - 1953) и еще 8, уже после смерти Пастернака (1960 - 68). Читая эти воспоминания, мы опять сопереживаем травлю Пастернака, вызванную получением им нобелевской премии в 1957 г. Его травили не только палачи от литературы, но и поэты (Б. Слуцкий, Л. Мартынов). Тем для них хуже.

Любовь не литературных героев, а живых людей -- частное дело, и не подлежит обсуждению. Скажем только, что некоторые страницы написаны на уровне "Доктора Живаго", а вся книга в целом ценный комментарий к пастернаковскому роману.

Ивинская не идеализирует Пастернака. Она не скрывает его слабостей: эгоцентризма, безволия и "рассеянности" к близким людям. Так ей, как и Марине Цветаевой, был непонятен отказ Б.Л. встретиться с родителями в Лондоне, где он побывал в 35 г. Очень уж был Пастернак "сложно-кроток", как сказала о нем Цветаева. Но без своих слабостей. Б.Л. не был бы самим собой и, главное: в воспоминаниях Ивинской он настоящий, живой, невыдуманный. Она сама укоряет себя за многое: за требовательность, вспыльчивость, за неправильные, по ее мнению, советы (угovarивала его отказаться от нобелевской премии). Кое-что новое мы узнаем о знаменитом телефонном звонке Сталина в 35 г. -- Ну, вот, ты не сумел защитить товарища..., (т.е. Мандельштама), сказал ему Сталин. Это, конечно было издевательство над обоими поэтами (и ясно, что Пастернак не мог спасти Мандельштама). Ольге Ивинской хорошо удалось выявить как житейские, так и литературные взаимоотношения Пастернака с Мандельштамом, Цветаевой, Ахматовой: их ведь было тогда четверо больших поэтов.

Какой он был? Спрашивала О.В. об обожаемом ею Мандельштаме. -- Задорный, шупленький, царственный, ребячливый, нежный, отчаянный человек, сказал Б.Л. Оба поэта ценили друг друга, но были очень разны и по-настоящему не сблизились. При этом, в годы ежовщины болезненный Мандельштам был, несомненно, куда мужественнее здорового и сравнительно неплохо устроенного Пастернака.

С Мариной Цветаевой все было сложнее. Пастернак стал героем её эпистолярного романа, и герой этот был романтический, вымышленный: великий поэт и чаемый возлюбленный. Напомним: себя и его она

раскрыла в мифе Нибелунгов --

Не суждено, чтобы сильный с сильным
Соединились бы в мире сем.

После самоубийства Цветаевой, Б. Л. постоянно укорял себя за то, что, не по той же ли своей "рассеянности", потерял из виду нищую, отчаявшуюся Марину и дал ей уехать в роковую Елабугу. Позднее, уже в 50-х гг. дочь Цветаевой -- Аля (А. С. Эфрон), после освобождения из 16-летней ссылки, вошла в жизнь Б. Л. и О. В. и стала их близким другом. Отметим ужасную ошибку: на обложке книги напечатан будто бы неопубликованный вариант стихотворения Пастернака "Магдалина". Это же стихотворение Цветаевой, включенное в её сборник "После России" (стр. 113-114), да еще в искаженном виде. Как могло это случиться?

Ивинская верно подметила: Пастернак видел поэзию всюду: она ведь "валяется в траве под ногой", присутствует в повседневной жизни, в быту. Добавлю: а Цветаева от всякой повседневности резко отталкивалась. Она многим, иногда слепо, восхищалась в жизни и поэзии, но умела и хулить, люто ненавидеть, бичевать. А "сложно-кроткий" Пастернак гневаться не мог. Сколько горечи в стихах его Юрия Живаго, но в них нет негодования.

Пастернак и Ахматова тоже ценили друг друга, но они встречались на периферии жизни и творчества. Ахматовой, сообщает О. В., не понравилось, что Пастернак стремился изобразить Живаго "средним человеком". Она сказала: -- Надо показывать и раскрывать только большие движения (как в трагедиях Шекспира) и подниматься над чеховской обывательщиной. Между тем, Пастернак так любил Россию Чехова и Левитана, но, к удивлению О. В., восхищенно соглашался со всем, что говорила Анна Андреевна. -- Не люблю быть правым, пояснил Б.Л. Но ему не понравилась ахматовская "Поэма без героя". Эти отталкивания поэтов друг от друга (как и увлечения) очень существенны для их понимания. Ивинская рассказывает и об отношениях Пастернака к Маяковскому (о чем он сам писал), а также к молодым поэтам. Он одобрил стихи еще очень юного Евтушенко, но все же относился к нему "двойко": -- Знаешь, он у них теперь страшно модный, но я ему не очень верю, надо присмотреться... Б.Л. выдвигал Вознесенского, но был равнодушен к Твардовскому.

Ценно всё, что О.В. говорит о работе Б.Л. над романом "Доктор Живаго". Она с ним соглашается: это был главный труд его жизни. Б. Л.

даже уверял, что не любит стихов! Многие (включая меня) с этим не согласятся. Явно: Пастернак, прежде всего, поэт. Его творческий зенит в двух сборниках, изданных в 20-х гг. Прекрасны многие стихи Юрия Живаго и поздние ("В больнице"). Потрясает описание похорон Пастернака: "его несли не хоронить, а короновать". Слышались голоса молодежи: Слава великому Пастернаку! слава!..Осанна!

В книге Ольги Ивинской запечатлена память любящего сердца о любимом спутнике:

И скажу я себе, вздыхая,
В беспощадном сверканье дня:
Пусть я грешная, пусть плохая,
Ну а ты ведь любил меня.

Юрий Иваск

С.М. СОЛОВЬЕВ. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА. Брюссель. Жизнь с Богом. 1977. 434 стр.

Владимир Сергеевич Соловьев был одним из самых замечательных и загадочных русских людей 19 века, философ и поэт, мистик и богослов, он стоит на пороге двух столетий. Воспитанный в категориях немецкой философии, он быстро вышел за ее рациональные пределы. В своих поисках истины он погрузился в изучение как эзотерических писаний восточных и западных мудрецов, так и в творения православных Отцов Церкви. За свою сравнительно короткую жизнь он перебыл как в стане консерваторов славянофилов, так и либералов-западников. Не было явления в общественной, литературной жизни России во второй половине XIX века, на которое не отозвался бы Соловьев.

Однако подлинное значение его для нашего времени раскрывается не столько в его критическом анализе современных ему событий, сколько в его исключительном пророческом даровании. Соловьев был предтечей того религиозного и художественного возрождения которое вспыхнуло в России в начале XX столетия. Оно питалось и вдохновлялось его творчеством. Блок и Андрей Белый были его учениками, Флоренский, Булгаков, Бердяев пошли по путям намеченным Соловьевым. Он умер накануне грозных событий нашей эпохи, предчувствуя и начало гонений на христианство, и экуменическое движение, и возвращение евреев в Палестину, и растущую угрозу Китая. В своем пред-

смертном творении "Повесть об Антихристе" он начертал образ грядущего "благодетеля" человечества, олицетворяющего современный тоталитаризм с его лживым обещанием мира и благополучия.

В конце прошлого года в Брюсселе издательство "Жизнь с Богом" напечатало новую биографию Соловьева. Ее история так же необычайна как необычаен сам Соловьев. Эта книга была написана 50 лет тому назад в Москве, сыном младшего брата Соловьева Михаила и только теперь эта рукопись, чудом уцелевшая, достигла Запада. Ее автору, Сергею Михайловичу Соловьеву, было 15 лет, когда умер его знаменитый дядя. С ранней молодости он стал собирать всевозможные материалы для этой биографии. Исключительная ценность этой книги в том, что она написана почти современником Соловьева, разделявшим его взгляды, близко знавшим всю обстановку его жизни, знакомым со многими людьми, имевшими большое для него значение. В то же время эта книга писалась уже при советской власти, когда столько предостережений Соловьева оправдались. Хотя полстолетия отделяет нас от написания этой рукописи, она ничего не потеряла в своей свежести и актуальности для нашего времени. Отличается она значительной объективностью и тщательной проверкой всех данных.

Автор стремится главным образом обрисовать характер Соловьева, он постоянно цитирует его поэзию и прозу, иллюстрирующие его сложную духовную эволюцию. Также умело использованы им письма Соловьева, а последние годы жизни освещены личными впечатлениями автора. Со страниц книги встает живой образ человека, оставившего столь глубокий след в истории русской культуры. Самая ценная черта Соловьева в глазах его племянника была его безбоязненная борьба за свободу и ценность человека. Он неустанно искал истину и был готов на любую жертву в своем служении ей. Единственным недочетом книги являются некоторые повторения, которые очевидно издатели не считали себя в праве упразднить. К книге прибавлена краткая биография автора и несколько стихотворений и статей, не вошедших в полное собрание сочинений В. Соловьева.

В заключение хочется сказать несколько слов о самом Сергее Михайловиче Соловьеве. Он родился в 1885 году, окончил Московский университет, был талантливым поэтом, другом А. Блока и А. Белого, выпустил ряд сборников стихов в годы первой мировой войны. В 1922 году он принял священство и вскоре присоединился к католической церкви. До своего ареста в 1931 году он окормлял русских католиков

восточного обряда. Допросы в Ч. К. и тюрьма надломили его силы, он умер в Казани в 1942 году.

Мне лично привелось встретиться с автором книги. Весной 1917 года я кончал Поливановскую гимназию в Москве. Наш учитель словесности умер незадолго до выпускных экзаменов. Его заместителем оказался молодой человек, произведший на нас, гимназистов, огромное впечатление. Он был вестником из нового мира, познакомил нас с поэзией символистов и с тем подъемом творческих сил в России, о которых мы до тех пор только смутно догадывались. Это был Сергей Михайлович Соловьев.

Николай Зернов

ВАДИМ АНДРЕЕВ. НА РУБЕЖЕ. ИМКА-Пресс, Париж, 1977, 105 стр.

Имя Вадима Андреева, к сожалению не встречалось в печати в последние два десятилетия. Им были изданы в Зарубежье четыре книги: "Свинцовый час", 1924; "Недуг бытия", 1928; поэма "Восстание звезд", 1923; "Второе дыхание", 1950; он участвовал в антологиях: "Якорь", 1936 и "Эстафета", 1948. Его имени нет в "Музе Диаспоры", 1960, и в "Содружестве" 1966. Поэтому надо приветствовать появление отчетного сборника, представляющего собой в первой части переиздание сборника "Второе дыхание" (стихи 1933-1948 гг.), и во второй — стихи 1948-1976 гг. В конце книги помещены две поэмы: "Ревекка" (1947) и "Возвращение" (1936).

Как уже видно из перечисленных выше дат, этот сборник представляет собой как бы сводку зрелого жизненного и творческого пути поэта, — прибавим: поэта опытного и одаренного, поэта "милостью Божьей".

В критических статьях Зарубежья иногда высказываются требования "авангардности" в поэзии и сетования, что зарубежная поэзия всё еще живет традициями и формами второй половины прошлого столетия. Но никто не будет иметь ничего против новых форм и новых широких смыслов, если то и другое талантливо. К несчастью, многим "авангардистам" это требование выполнить трудно, а иногда и невозможно. То, что старые формы загораются новым блеском, когда их касается рука настоящего поэта, показывает

творчество Вадима Андреева.

По общему направлению его поэзии Вадима Андреева можно поместить на дороге, отмеченной вехами Тютчева и Бунина: это продуманные и прочувствованные картины природы, данные в живых и смелых образах:

Туман рассеялся. Сгущаясь, влага
Впитала солнца утреннего свет.
Лохматый склон глубокого оврага
Серебряными бусами одет.

Но ярче всех, подвешенная к ветке,
Любуюсь собственной своей игрой,
Сияет паутиновая сетка,
Воздушной ставшая звездой.

Это природа. А где человек? А вот он: — "свой растрчивает век" поспешным дыханием мелочной жизни. И поэт говорит человеку:

Смотри, как дышит океан:
Ему чужда дневная суматоха —
За сутки только два огромных вздоха,
И полон жизни океан.

В стихах сборника отражены и Париж, и "Долина смерти" в Неваде, но через все образы видна та же Ока, та же Россия: поэт идет по следам революции, войн и пожарищ, "ведомый лишь мыслью — домой...". Но он — "от странствий устал...", и "что смолчал, то смолчал, но что сказано — сказано..."

Любитель истинной поэзии будет рад прочитать этот сборник.

Борис Нарциссов

ЭЙС КРИГЕ: "БАЛЛАДА О ВЕЛИКОМ МУЖЕСТВЕ". Перевод с африкаанс Е. Витковского. Москва, "Художественная Литература", 1977

Среди книг, полученных мною за последние месяцы из СССР "Баллада о великом мужестве" коммуниста Эйса Криге, переведенная с испорченного голландского языка потомков буров ("крестьян").

В стихах Эйса Криге живут его город, его страна, его соотечествен-

ники. Жалеет он черных, умеет прощать им пьянство, разврат, попрошайничество. Видит поэзию в их быту, в их первобытной грубости, в их безудержном весельи. Неожиданные ноты отчаяния явственно слышатся в заключительном стихотворении книги — "Ответ": нет в нем ничего от обязательного оптимизма, "веры в будущее". Здесь Эйс Криге становится как бы южно-африканским Георгием Ивановым.

Есть у Эйса Криге острая наблюдательность, есть свои краски, свои творческие и ремесленные приемы. И подстать ему переводчик Е. Витковский рифмует находчиво и точно, одинаково владеет и строгой формой и свободным стихом. Нечастые у него срывы объясняются молодостью и, конечно, влиянием среды — того неслыханного упадка языковой культуры, который сейчас наблюдается в СССР.

Несомненный признак повышения ремесленного уровня Е. Витковского — уменьшение (по сравнению с его прежними работами) числа тяжелых нагромождений согласных. Однако, "с" у него подчас сдваивается или срастается с "з" ("стремяСЬ СТРуей", "наС Спаси", "наС Связала"); то же случается с "к" и "г" ("вкруГ Корабля", "каК Голос", "каК Галера"). Встречаются и "слоговые близнецы": "тишиНА НАд полдневной землей", "НА НАшем родном языке", "ВсегДА ДАет совет".

▲ Неправильный синтаксис я заметил только в одной строфе: "Покуда она /не поднимет глаз /и удивленно /увидит нас". Ясно, что "пока она НЕ поднимет глаз и... НЕ увидит нас".

Эйс Криге — поэт тенденциозный, однобокий, но при всем том поэт щедро одаренный. Его стихи живут, ибо живы их персонажи, картины природы выписаны тщательно, умело и со вкусом.

Англичане бегут из Родезии. На очереди последняя твердыня "раздельности" — Южно-Африканская Республика потомков буров и англичан. Думает ли Эйс Криге, что для него и его единомышленников, коммунистов и либералов, будущие Амины-Дада сделают исключение? Неужели поэт и сегодня не понимает, что белые потомки голландцев с их кальвинизмом, с их старозаветным бытом при торжестве черного коммунизма тоже будут выброшены из Африки.

В. Перелешин

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ НОВАЯ КНИГА
РОМАНА ГУЛЯ

«Я УНЕС РОССИЮ»

(АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ)

Книга охватывает литературную, артистическую, церковную и общественно-политическую жизнь первой, второй и третьей эмиграций с 1920 г.г. по 1970-е г.г. (Берлин, Париж, Нью-Йорк). Даны зарисовки видных русских зарубежных писателей и общественно-политических деятелей: Бунина, Керенского, Зайцева, Церетели, Цветаевой, Степуна, Милюкова, А. Белого, Маклакова, Станкевича, Николаевского, Гучкова, Вишняка, Ключникова, Лукьянова, Абрамовича, Мельгунова, Карповича, Алланова, Г. Иванова, Вейдле, Адамовича и многих других. В книге — около 600 стр., много фотографий, факсимиле и текстов писем к автору. Также даются зарисовки советских писателей, бывших в Европе: Ал. Толстого, Эренбурга, Пильняка, Федина, Сейфуллиной, Никитина, Есенина, Кусикова, Слонимского, Груздева и др.

Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л

под редакцией

Г. АНДРЕЕВА, РОМАНА ГУЛЯ

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1978 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена на 1978 год 20 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 6 долларов
Во Франции — 20 франков



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно,
кроме праздников и суббот, от 10-ти до 12-ти час. дня
